
Настоящий исполин, великий, величайший писатель.
Джонатан Сафран Фоер
ГОВАРД ДЖЕЙКОБСОН
ВОПРОС ФИНКЛЕРА
РОМАН — ЛАУРЕАТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ 2010
Блестяще!.. Самый выдающийся из современных британских авторов.
Mail on Sunday
АЗБУКА

Вопрос Финклера
Говард Джейкобсон

Аннотация
Говард Джейкобсон. Вопрос Финклера
Часть первая
  Глава 1
  Глава 2
  Глава 3
  Глава 4
  Глава 5
Часть вторая
  Глава 6
  Глава 7
  Глава 8
  Глава 9
  Глава 10
  Глава 11
  Глава 12
  Глава 13
Эпилог

Аннотация

Впервые на русском — роман-лауреат Букеровской премии 2010 года!

Говард Джейкобсон — видный британский писатель и колумнист, популярный телеведущий, лауреат премии имени Вудхауза, присуждаемой за лучшее юмористическое произведение. Когда критики называли его «английским Филипом Ротом», он отвечал: «Нет, я еврейская Джейн Остен». Роман «Вопрос Финклера» — о мужской дружбе и трагических потерях, о искуплении любовью и чудодейственной силе заблуждения, о сбывающемся через десятилетия предсказании цыганки и обмотанных ветчиной дверных ручках — стал первой откровенно юмористической историей, получившей Букера за всю историю премии.

Объявляя победителя, председатель жюри, бывший придворный поэт британского королевского двора Эндрю Моушн, сказал: «Роль комедии в обществе изменилась — нам с ней, пожалуй, теперь живется проще, чем когда-либо… Это изумительная книга. Разу-

меется, очень смешная, но и очень умная, печальная и тонкая. В ней есть все, чего от нее ожидаешь, и гораздо больше. Совершенно заслуженная победа».

Говард Джейкобсон
Вопрос Финклера

Посвящается памяти трех дорогих
друзей и великих шутников:
Терри Коллитса (1940–2009),
Тони Эррингтона (1944–2009),
Грэма Риса (1944–2009).
И кто теперь оживит застолье?

Часть первая

Глава 1

1

Он должен был это предвидеть.

Вся его жизнь являлась чередой печальных казусов, так что уж к *этому* мог бы и подготовиться.

Он был их тех, кто предвидит события. Речь не о каких-то там смутных предчувствиях, посещающих перед сном или тотчас по пробуждении, а о картинах, до боли реалистичных, врывавшихся в его сознание средь бела дня. Он вдруг отчетливо видел, как поваленные столбы и деревья возникают перед ним словно ниоткуда, жестоко разбивая ему голени. Ему виделись автомобили, на полном ходу теряющие управление, чтобы вылететь на тротуар и превратить его тело в месиво из рваных мышц и ломаных костей. Виделись разные острые предметы, которые слетали со строительных лесов и раскалывали его череп.

Но хуже всего были женщины. Когда Джулиану Треславу жизненный путь пересекала женщина, которую он находил привлекательной, страдало уже не тело в видениях, а его рассудок наяву. Жен-

щина выбивала его из душевного равновесия.

Сказать по правде, этого самого равновесия не было и до появления женщины, но она нарушала гипотетическое душевное равновесие, которое он надеялся обрести в будущем. Ну а теперь *она* становилась его будущим.

Люди, предвидящие события, на самом деле путаются в хронологии, только и всего. Внутренние часы Треслава нещадно искажали время. Стоило ему положить глаз на женщину, как он тут же видел все последствия, с ней связанные: он делает ей предложение, она его принимает, в их доме-гнездышке лиловый свет уютно сочится сквозь шторы из плотного шелка, над постелью вздымаются облаками белые простыни, от камина тянет ароматным дымком (только когда засорится труба), тут же и красная черепичная крыша, и высокие фронтоны, и слуховые оконца, тут его счастье, тут его будущее — и все это обрушивалось на него за считаные мгновения, пока женщина проходила мимо.

В видениях она не бросала его ради другого мужчины и не говорила, что до чертиков устала от него и от их совместной жизни. Нет, она покидала сей бренный мир, идеально соответствуя его представлениям о красивом трагическом финале

— смертельно-бледная, с капельками слез на ресницах и с прощальными фразами, взятыми большей частью из популярных итальянских опер.

Детей они не заводили. Дети только портили историю.

В промежутках между возникающими из ниоткуда фонарными столбами и падающим с высоты строительным инструментом он ловил себя на том, что репетирует обращенные к ней предсмертные слова (большей частью взятые из тех же опер), — как будто время сложилось гармошкой, его сердце было загодя разбито вдребезги, а она начала тихо угасать еще до момента их знакомства.

Треслав испытывал своего рода изысканное удовольствие, представляя любимую испускающей дух у него на руках. Порой испускающим дух на руках у любимой представлялся он сам, но ему больше нравилось, когда дух испускала она. Именно так он понимал, что влюблен, — видение безвременной кончины было сигналом к предложению руки.

В этом и заключалась поэзия его жизни. А в прозаической реальности женщины обвиняли его в том, что он душит их прекрасные порывы, и

уходили прочь, банально хлопая дверью.

В прозаической реальности не обошлось и без детей.

Но за пределами этой реальности всегда было ожидание.

Давным-давно он со своим классом на каникулах ездил в Барселону и там заплатил цыганке за гадание по руке.

— Я вижу женщину, — объявила цыганка.

Треслав начал волноваться:

— Она красива?

— По мне, так вовсе нет, — сказала цыганка. — Но на твой взгляд… может быть. И еще я вижу опасность.

Треслав разволновался уже не на шутку:

— Как я при встрече пойму, что это та самая женщина?

— Ты сразу это поймешь.

— А можно узнать ее имя?

— За имя надо бы еще позолотить ручку, — раздумчиво молвила цыганка, оттибая назад его большой палец. — Но тебе, молодой, уж ладно, скажу за так. Я вижу имя Джуно — ты знаешь какую-нибудь Джуно?

Она произносила «Хуно», по-другому у нее не получалось.

Треслав прикрыл один глаз. Джуно? Знает ли он какую-нибудь Джуно? Знает ли кто-нибудь вообще какую-нибудь Джуно? Нет, увы, он не знал. Но он знал одну Джун.

— Нет-нет, это больше, чем просто Джун. — Цыганку, похоже, начала раздражать его неспособность представить себе нечто большее, чем просто Джун. — Джуди… Джулия… Джудит. Ты знаешь Джудит?

В ее устах это была «Худит».

Треслав покачал головой. Но ему понравилось созвучие: Джулиан и Джудит. Хулиан и Худит Треслав.

— В общем, она тебя ждет, эта Джулия, или Джудит, или Джуно… Мне все же лучше видится Джуно.

Треслав прикрыл второй глаз. Джуно, Джуно…

— И как долго она будет ждать? — спросил он.

— Пока ты ее не найдешь.

Треслав представил себя бродящим по белу свету в бесконечных поисках.

— Ты сказала, что будет опасность. Чем таким опасна эта женщина?

Мысленно он уже видел ее подбирающейся к нему сзади с занесенным для удара ножом:

«Addio, mio bello, addio».[1]

— Я не говорила, что опасна именно она. Просто я вижу опасность. Может, это ты будешь опасен для нее. Или еще какой-то человек будет опасен для вас обоих.

— Тогда, может, мне лучше избегать этой женщины? — спросил Треслав.

Она пожала плечами так, как обычно пожимают плечами гадалки:

— Тебе ее не избежать.

Сама цыганка была красива. Во всяком случае, так показалось Треславу. С налетом трагической изнуренности, с большими золотыми кольцами в ушах и с акцентом, отчасти напоминающим бирмингемский. Не будь этого акцента, он бы в нее влюбился.

В сущности, она не сообщила ему ничего нового. Информация эта давно уже хранилась в дальнем закоулке его сознания.

И это было куда важнее, чем видения печальных казусов.

Судьба назначила ему в удел несчастья и страдания, но до поры до времени и те и другие его миновали, самую малость промахиваясь. Как-то

---

[1] Примечания: 1

«Прощай, мой милый, прощай» *(ит.).*

раз внезапно рухнувшее дерево прибило человека в паре шагов позади него. В другой раз убийца-психопат расстрелял пассажиров лондонской подземки, избрав для бойни вагон по соседству с тем, в котором ехал Треслав. Полицию он не интересовал даже в качестве свидетеля. А девчонка, которую он безнадежно любил в подростково-прыщавую пору, — дочь одного из отцовских друзей, воистину ангельское создание с кожей нежнее лепестков осенних роз и с неизменно влажным взором — скончалась от лейкемии тринадцати лет от роду, как раз когда Треслав находился в Барселоне и выслушивал предсказания гадалки. Его родители не стали вызывать сына из-за границы, чтобы он повидал ее перед смертью или хотя бы поприсутствовал на похоронах. По их словам, они не хотели портить ему каникулы, но в действительности они опасались ненужных эксцессов, не веря в стойкость его духа. Люди, хорошо знавшие Треслава, предпочитали не приглашать его к смертному одру или на похороны.

Итак, все обещанные судьбой невзгоды еще ждали его впереди. К сорока девяти годам он был в хорошей физической форме, не получил ни единого синяка с той поры, как в младенчестве

упал с маминых коленей, и даже не мог назваться вдовцом. Насколько он знал, ни одна из женщин, с которыми у него когда-то была связь или хотя бы мимолетная интрижка, не отбыла в лучший мир; впрочем, лишь немногие поддерживали с ним отношения достаточно долго, чтобы их смерть можно было худо-бедно представить как трогательный финал большой любви. Это затянувшееся ожидание жизненной трагедии странным образом сказывалось на внешности, придавая ему неестественно моложавый вид. Подобный вид порой имеют люди, крепко утвердившиеся в своей вере.

2

Был теплый вечер в конце лета; луна стояла высоко над горизонтом, но легкая облачность делала ее свет неверным и зыбким. Треслав возвращался домой после меланхолического ужина в компании двух давних друзей, один из которых был его ровесником, а другой гораздо старше, оба — новоиспеченные вдовцы. Невзирая на опасности, подстерегающие одинокого прохожего на пустынных улицах, он решил немного прогуляться по хорошо знакомому району Лондона, предаваясь тихой ночной грусти, а потом доехать

до дому на такси.

Именно на такси, а не подземкой, хотя он жил рядом со станцией метро. Человек, с такой осторожностью и опаской шагающий по поверхности земли, не станет без крайней необходимости спускаться в ее недра. Тем более что ему уже довелось побывать в близком подземном соседстве с озверевшим убийцей.

— Как это все невыразимо печально, — произнес он вполголоса, имея в виду смерть жен его друзей и смерть женщин вообще.

Но при этом он думал и о мужчинах, оставшихся в одиночестве, в том числе о себе. Это так ужасно — потерять любимую женщину; но не менее тяжко было вовсе не иметь любимой, которую он мог бы с великой грустью проводить в последний путь…

— А иначе какой от меня толк в этой жизни? — уныло спрашивал себя Треслав, не умевший быть самодостаточным человеком.

Он прошел мимо штаб-квартиры Би-би-си[2] — раньше он работал в этой корпорации, лелея

---

[2] Примечания: 2

Здание в северном конце Ридасент-стрит, известное как Дом вещания (Broadcasting House), в котором размещаются руководство корпорации Би-би-си, радиотеатр и три ее радиоканала (из десяти): «Радио-3», «Радио-4» и «Радио-7». — *Зд. и даже прим. перев.*

идеалистические надежды, о которых сейчас вспоминал с иррациональной ненавистью. Будь его ненависть хоть чуточку рациональной, он принял бы меры к тому, чтобы не появляться так часто вблизи этого здания. Он тихо выругался по его адресу.

— Куча говна, — сказал он.

Ругательство вышло по-детски беспомощным.

Вот за что Треслав ненавидел Би-би-си: эта контора сделала его инфантильным. Нация любовно называла Би-би-си «Тетушкой». Но любимая тетушка — образ весьма неоднозначный; эти тетушки зачастую эгоистичны и своенравны, они притворяются любящими только до тех пор, пока сами нуждаются в ответной любви, но если такая нужда вдруг исчезает, вместе с ней из вашей жизни легко исчезает и тетушка. Би-би-си подсаживала слушателей на свою волну, как подсаживают на иглу наркомана, формируя у людей психологическую зависимость. Точно так же корпорация поступала и с собственными сотрудниками. Хотя нет — с сотрудниками она поступала гораздо хуже, заковывая их в кандалы должностных продвижений и привилегий, опутывая сетями тщеславия и дутого самомнения, делая их непригодными для иной, внекорпора-

тивной жизни. Здесь Треслав мог бы послужить примером — не в плане продвижений-привилегий (за отсутствием таковых), но в том, что касалось дальнейшей непригодности.

Сейчас здание было окружено строительными кранами — высокими, как луна, и зыбкими, как лунный свет. «Это может стать логичным завершением жизненного цикла, — подумалось ему. — Здесь вначале мне напрочь промыли мозги, а под конец башенный кран Би-би-си в падении вышибет их остатки». Погребенный под кучей говна. Ему отчетливо представился треск собственного черепа, раскалывающегося, как земная кора в каком-нибудь фильме-катастрофе. А чем не фильм-катастрофа вся эта жизнь, когда любимые женщины одна за другой уходят в небытие? Он ускорил шаг. И вдруг перед самым его носом словно ниоткуда возникло дерево. Резко свернув, он едва не налетел на поваленный поперек тротуара столб со знаком ремонтных работ: «ОПАСНО». Его голени заныли — воображаемая боль от несостоявшегося столкновения. Этим вечером его душа была исполнена дурных предчувствий.

«Реальная беда приходит не с той стороны, откуда ее ждешь, — сказал он себе. — Реальная

беда непредсказуема». И сей же миг темная тень под козырьком ближайшего подъезда материализовалась в нечто агрессивное, больно сдавила ему загривок и ткнула лицом в стекло витрины, а чуть погодя растворилась в ночи, унося его часы, бумажник, авторучку и мобильник.

Прошло еще какое-то время, прежде чем он перестал трястись и смог проверить свои карманы. Не обнаружив там искомого, он только теперь осознал, что все это произошло на самом деле.

Ни бумажника, ни телефона.

Исчезла авторучка из нагрудного кармана.

Часов на запястье и след простыл.

И в душе пустота, как в карманах, — ни желания бороться, ни инстинкта самосохранения, ни *amour de soi,*[3] ни как там еще именуются ингредиенты пресловутого скрепляющего состава, который предохраняет нашу личность от распада и помогает нам стоически переносить лишения.

Да и откуда им взяться сейчас, этим ингредиентам, если их у него никогда не было?

В университете он учился многому понемногу, то есть не специализировался на каком-то конкретном предмете, а комбинировал эле-

---

[3] Примечания: 3
Любовь к себе *(фр.).*

менты разных дисциплин («полудисциплин», «недодисциплин» и тому подобных), более или менее связанных с искусством, — как собирают нестандартную игрушку из обычных деталей «Лего». Археология, конкретная поэзия,[4] СМИ, фестивальный и театральный менеджмент, сравнительное религиоведение, сценография, русская новеллистика, политология, проблема равенства полов… По завершении учебы — хотя никто в университете не смог бы точно сказать, когда он ее завершил, учитывая неопределенное количество «кусочков», составивших мозаику его образовательного профиля, — Треслав получил диплом с такой расплывчато-туманной записью в графе «специальность», что ему ничего не оставалось, как согласиться на предложенную стажировку в Би-би-си. Корпорация, в свою очередь, не нашла ничего лучше, как задвинуть его режиссером в ночную программу об искусстве на «Радио-3».[5]

---

[4] Примечания: 4

Конкретная поэзия (тж. конкретизм, фигурные стихи) — поэтические произведения, в которых графическое расположение строк образует рисунок. Термин возник в 1950-х гг., но подобные произведения создавались еще в эпоху Античности.

[5] Примечания: 5

Общенациональный радиоканал Би-би-си, в основном транслирующий классическую и этническую музыку, а также передачи о культуре и искусстве.

Очень скоро он ощутил себя чахлым кустиком в тени могучего строевого леса. Сплошь и рядом другие стажеры с поразительной быстротой — за считаные недели — пробивались к свету. Они шли в рост просто потому, что это было единственное направление, в котором можно было двигаться, если только вы не хотели уподобиться какому-нибудь Треславу, остававшемуся там, где он был, поскольку никто и не знал, что он там есть. Его ровесники становились руководителями программ, главами каналов, членами правления и даже генеральными директорами. Никто из них не ушел. Никто не был уволен. Корпорация требовала от своих сотрудников безоговорочной лояльности, культивируя характер служебных отношений сродни тесным связям внутри мафиозного клана. Как следствие, все «члены семьи» были близко знакомы (кроме Треслава, который никого не знал) и понимали друг друга с полуслова (исключая Треслава, чье унылое брюзжание не понимал никто).

— Выше нос! — порой говорили ему коллеги в буфете.

В ответ ему хотелось заплакать. Какое тоскливое, депрессивное выражение: «Выше нос!» Оно не только намекало на его неспособность по-на-

стоящему задрать нос, но и косвенно указывало предел его амбициям, которые не могли простираться дальше и выше кончика собственного носа, пусть даже нацеленного в потолок.

Он получил выговор на фирменном бланке, подписанный кем-то из творческого совета (он так и не разобрал имя): за излишнюю склонность к болезненно-мрачным темам и трагической музыке в его программе. «Оставьте эту тематику для „Радио-3“», — рекомендовалось в заключение. Он написал в ответ, что его программа как раз на «Радио-3» и выходит. Никакой реакции на это не последовало.

После дюжины лет призрачных блужданий по ночным коридорам Дома вещания, прекрасно сознавая, что никто не слушает его передачу, в которой живые поэты обсуждали мертвых собратьев по перу — с таким же успехом мертвые могли бы обсуждать живых, — он подал в отставку. «Заметит ли кто-нибудь исчезновение моей программы из эфира? — написал он в увольнительном заявлении. — Заметит ли кто-нибудь мое отсутствие, если я перестану появляться на рабочем месте?» И на сей раз ответа не последовало.

«Тетушка» его не замечала, как и все осталь-

ные.

По газетному объявлению он устроился помощником режиссера в только что запущенный проект — фестиваль искусств на южном побережье. Состояние «только-что-запущенности» подразумевало помещение школьной библиотеки (где не было книг, но имелись компьютеры), троицу приглашенных лекторов, поочередно бубнящих в микрофон, и никакой публики. Это напомнило ему Би-би-си. Дамочка-режиссер переводила на упрощенный английский все составленные им тексты, заодно придираясь и к его манере говорить. Окончательный разрыв произошел при обсуждении рекламного буклета.

— Зачем писать «волнующий чувства», если можно просто написать «сексуальный»? — поинтересовалась она.

— Потому что фестивали искусств по своей сути не сексуальны.

— А знаешь, почему они не сексуальны? Потому что такие, как ты, обзывают их «волнующими чувства».

— Чем тебе не нравятся эти слова?

— Они слишком обтекаемы.

— Не вижу тут ничего обтекаемого.

— У тебя это звучит именно так.

— Может, сойдемся на формулировке «возбуждающий»? — предложил он.

— Может, сойдемся на другой: «по собственному желанию»?

А перед тем они успели сойтись как любовники. Все равно больше нечем было заняться. Они совокуплялись на полу в спортзале после очередного пустого дня — никто не проявлял интереса к их фестивалю. Она не снимала сандалии даже во время секса. Он понял, что влюблен в нее, лишь после того, как она его уволила.

Ее звали Джулия, но и эту деталь он отметил только после увольнения.

«Хулия».

Впоследствии он отказался от попыток сделать карьеру в сфере искусства и переменил ряд несообразных профессий и столь же несообразных женщин, влюбляясь на каждом новом месте и теряя любовь вслед за работой — всякий раз не по своей воле. Он водил мебельный фургон — и влюбился в первую же заказчицу, освобождая ее дом от старой мебели; он развозил молоко на электрокаре — и влюбился в кассиршу, выдававшую получку по пятницам; он работал на подхвате у плотника-итальянца, который заменял раздвижные окна в викторианских домах и попутно

заменил Треслава в постели и в сердце упомянутой выше кассирши; он заведовал обувным отделом в престижном лондонском магазине — и влюбился в заведующую отделом декоративных тканей этажом выше; в конце концов он нашел непостоянную и скудно оплачиваемую работу в театральном агентстве, поставлявшем двойников знаменитых людей на корпоративные гулянки и тому подобные сборища. Треслав не был похож на какую-то конкретную знаменитость, но в общих чертах напоминал сразу многих известных людей и пользовался относительным спросом в силу не столько правдоподобия, сколько многообразия имитируемых лиц.

Ну а как же та женщина из магазина? Она оставила Треслава, когда он заделался двойником-многостаночником.

— Мне надоело каждый раз гадать, кого ты из себя корчишь, — сказала она. — Это плохо отражается на нас обоих.

— А ты воображай кого угодно, на твой выбор, — предложил он.

— Я не хочу выбирать. Я хочу знать наверняка. Мне нужна определенность. Мне нужен человек, который верен себе, невзирая ни на что. Я целый день вожусь с тряпками и, приходя домой, нуж-

даюсь в надежной опоре. В твердой скале, а не в хамелеоне.

У нее были рыжие волосы и очень раздражительная кожа. И характер ее был под стать коже, так что Треслав старался не попадать под горячую руку.

— Я твердая скала, — заверил он ее, сохраняя безопасную дистанцию. — И я буду с тобой до конца.

— Ну хоть здесь ты оказался прав, — сказала она, — потому что это уже конец. Я от тебя ухожу.

— И все потому, что я пользуюсь спросом в агентстве?

— Все потому, что ты не пользуешься спросом *у меня.*

— Не уходи, пожалуйста! Если я не был твердой скалой раньше, то стану ею с сегодняшнего дня.

— Не станешь. Кишка для скалы тонковата.

— Разве я о тебе не заботился, когда ты болела?

— Это верно. Тогда ты был очень заботлив. Но когда я здорова, в тебе нет нужды.

Он умолял ее не уходить. Он даже рискнул приблизиться, обнять ее и поплакать, уткнувшись носом ей в шею.

— Да уж, скала та еще… — сказала она.

Ее звали Джун.

Спрос — понятие относительное. Треслав не был настолько загружен имитацией кого ни попадя, чтобы не иметь свободных часов на раздумья о том, что произошло — или, скорее, *не* произошло — в его жизни; о женщинах, оставивших в его сердце тоску, о своем одиночестве, об отсутствии в нем чего-то такого, чему он не мог подобрать точного определения. Его недоформированная, нецельная личность пребывала в ожидании конца — или это конец дожидался начала? — а его история все еще не обрела сюжет.

Нападение случилось ровно в половине двенадцатого вечера. Треслав мог утверждать это с уверенностью, поскольку что-то побудило его свериться с часами буквально мгновением ранее. Если у него и было предчувствие, что он видит свои часы в последний раз, осознать это он просто не успел. При всем том улица была ярко освещена и некоторые заведения поблизости еще работали — в частности, парикмахерская, китайский ресторанчик и газетный киоск, как раз пополнявший ассортимент периодики, — так что в целом не создавалось ощущения позднего часа. Были и прохожие; как минимум десяток человек могли бы прийти на помощь Треславу, но никто

этого не сделал. Возможно, свидетелей нападения обескуражила его дерзость — все произошло в какой-то сотне шагов от вечно оживленной Риджент-стрит, на расстоянии хорошего плевка до Би-би-си. Возможно, они подумали, что участники этой сцены просто шутят или же повздорили после совместного похода в ресторан либо театр. Если уж на то пошло, их вполне могли принять за семейную пару.

Вот что было самым досадным и оскорбительным для Треслава. Не тот факт, что постороннее вмешательство грубо прервало сладостно-печальные грезы несостоявшегося вдовца. И не шокирующая внезапность нападения — в мгновение ока лицо его было припечатано к витрине скрипичного магазина Гивье,[6] и он услышал, как инструменты за потрясенным стеклом издали звенящий стон (если только источником этого звука не был его собственный расквашенный нос). И даже не похищение часов, бумажника, ручки и телефона, при всей его сентиментальной привязанности к первым и при всех неудобствах из-за потери трех остальных. Нет, более всего он был расстроен тем обстоятельством, что человек,

[6] Примечания: 6

Старейшая из британских фирм, торгующих скрипками; основана в 1863 г. французом Жаном Проспером Гивье.

обобравший, унизивший и, надо признать, ужасно его напугавший, — этот грабитель, которому он даже не попытался оказать сопротивление, был… женщиной.

3

Вплоть до момента нападения этот вечер для Треслава был полон грустных впечатлений и мыслей, но в целом его нельзя было назвать тягостным. Во время ужина все трое — два вдовца и Треслав в ранге «третьего-не-лишнего» — вволю посетовали на судьбу, но, помимо того, обсудили экономические проблемы и международное положение, припомнили старые шутки и анекдоты, в конечном счете едва не убедив самих себя, что они перенеслись обратно во времена, когда их жен еще не нужно было оплакивать. Все это показалось лишь сном — любовь, браки, дети (Треслав непреднамеренно дал жизнь как минимум двоим), горечь и боль расставаний. И никто из любимых их не покидал, ибо они еще не успели влюбиться.

Хотя кого они пытались обмануть?

После ужина Либор Шевчик — на чьей квартире, между Домом вещания и Риджентс-парком, происходила встреча — сел за рояль и исполнил

Экспромт соль-бемоль мажор Шуберта, который так любила играть его жена Малки. Слушая эту музыку, Треслав чувствовал, что вот-вот умрет от горя. Он с трудом представлял себе, как Либор смог пережить смерть Малки. Их брак продлился более полувека, и сейчас Либору было под девяносто. Что удерживало его на этом свете?

Быть может, любимая музыка Малки. При ее жизни Либор никогда не садился за рояль — занять это священное для нее место было все равно что вломиться в туалет, когда она там находилась, — но имел привычку стоять за ее спиной во время исполнения. В молодые годы он аккомпанировал ей на скрипке, но потом ее тихие, но настойчивые требования *(«Tempo,* Либор, *tempo!»)* побудили его оставить свой инструмент и переместиться на позицию за стулом жены, где он мог вволю восхищаться ее мастерством, вдыхать запах алоэ и аравийских благовоний, исходивший от ее волос, и любоваться красотой ее шеи — «лебединой», как он ее назвал в первый день их знакомства. Правда, тогда его подвел ужасный акцент, и Малки послышалось слово «блядина», что на порядок понизило ценность комплимента.

Согласно семейным мифам, если бы Малки Гоф-

мансталь не вышла за Либора, она, безусловно, снискала бы славу в качестве концертирующей пианистки. На одном светском приеме в Челси ее исполнение Шуберта услышал и одобрил Горовиц.[7] По его словам, она играла именно так, как играл бы сам Шуберт, — словно сочиняя музыку в процессе игры и закладывая в импровизации «глубокий интеллектуальный подтекст». Ее родные не одобряли этот брак по множеству причин, не последними среди которых были недостаток в Либоре той самой интеллектуальности, какая в избытке имелась у Шуберта, а также его вульгарный журналистский жаргон и сомнительные знакомства; но более всего они сокрушались по ее загубленной музыкальной карьере.

— Почему ты не выйдешь за Горовица, если тебе так уж хочется замуж? — спрашивали они.

— Но он вдвое старше меня, — возражала Малки. — С таким же успехом вы можете сосватать меня за Шуберта.

— А кто сказал, что муж не может быть вдвое старше жены? Музыканты живут вечно. Ну а если ты его переживешь, что ж…

---

[7] Примечания: 7

Горовиц Владимир Самойлович (1904–1989) — один из лучших пианистов XX в.; родился в семье украинских евреев, в 1925 г. уехал из СССР и в 1944-м получил американское гражданство.

— С ним не повеселишься, — сказала она, — а Либор всегда меня смешит.

В качестве дополнительного аргумента она могла бы сослаться на то, что Горовиц уже состоял в браке с дочерью Тосканини.

И что Шуберт давно умер от сифилиса.

Сама она никогда не сожалела о своем решении. Ни в тот день, когда Горовиц давал концерт в Карнеги-холле и родители отправили ее в Нью-Йорк (заодно подальше от Либора), оплатив место в первом ряду, чтобы Горовиц наверняка ее заприметил; ни позднее, когда Либор, уже ставший известным кинокритиком и светским хроникером, ездил без нее в Канны, Монте-Карло и Голливуд; ни в периоды его дремучих чешских депрессий; ни даже в ночи вроде той, когда забывшая о часовых поясах Марлен Дитрих в полчетвертого утра звонила из Калифорнии в их лондонскую квартиру, называла Либора «мой милый» и долго рыдала в трубку.

— Я полностью реализовалась *в тебе,* — говорила Малки Либору.

По слухам, то же самое говорила ему и Марлен Дитрих, но все же он выбрал Малки с ее изумительной шеей, способной вынести любые комплименты. Он настаивал, чтобы она про-

должала играть, и купил на аукционе в Южном Лондоне пианино — превосходный «Стейнвей» — с парой позолоченных канделябров.

— Я буду играть, — пообещала она. — Я буду играть каждый день. Но только если ты будешь рядом.

Позже, когда его финансы это позволили, он приобрел концертный рояль «Бехштейн» в корпусе черного дерева. Вообще-то, она хотела «Блютнер», но он заявил, что не потерпит в своем доме вещей, произведенных за железным занавесом.

Уже в старости она взяла с Либора обещание не умирать раньше ее, чувствуя себя неспособной прожить и часа, если его не станет, — и это обещание он добросовестно сдержал.

— Ты можешь смеяться, — сказал он Треславу, — но я давал ей обещание, встав на одно колено, совсем как в тот день, когда просил ее руки.

Не найдя слов, Треслав сам опустился на одно колено и поцеловал стариковскую руку.

— Мы даже думали вместе броситься с Блядомеса, если один из нас смертельно заболеет, — сказал Либор, — но Малки посчитала меня слишком легким, чтобы долететь до моря одновременно

с ней, а перспектива болтаться на поверхности воды, ожидая моего прилета, ее не вдохновляла.

— Блядомес? — растерянно переспросил Треслав.

— Ну да. Мы даже ездили туда однажды. Чтобы заранее настроиться. Милое местечко. Высоченный обрыв, чайки летают внизу, засохшие венки на колючей проволоке — один, помнится, даже был с ценником — и еще плита с цитатой из Псалтыри про глас Господень, что сильнее волн морских, а из травы торчат деревянные крестики. Вот из-за этих крестиков мы, наверное, и передумали.

Треслав никак не мог взять в толк, о чем говорит Либор. Колючая проволока? Может, они с Малки готовили совместное самоубийство в Треблинке?

В то же время чайки… И крестики в траве… Поди догадайся.

Они так и не совершили роковой прыжок. Первой смертельно заболела Малки, но они не поехали снова в то место.

Через три месяца после ее смерти Либор бросил вызов безысходности и нанял учителя музыки, пропахшего старыми нотными листами, табаком и «Гиннесом», чтобы тот научил его играть

те самые экспромты, при исполнении которых Малки воображала, будто Шуберт находится вместе с ними в комнате (и сочиняет в процессе); и потом он играл их снова и снова, поставив перед глазами четыре свои любимые фотографии Малки. Она была источником его вдохновения, его наставницей, его судьбой и его судьей. На одной фотографии она выглядела невыносимо юной, когда с улыбкой подставляла лицо солнцу, облокотившись на перила брайтонского пирса. На другой — она была в подвенечном платье. И со всех фото ее взгляд был устремлен на Либора, только на него одного.

Джулиан Треслав не скрывал слез, слушая эту музыку. Будь *он* женат на Малки, он плакал бы от счастья каждое утро, просыпаясь рядом с ней. А потом, однажды утром не обнаружив ее рядом в постели, что бы он сделал тогда? Кинулся вниз с этого… Быдломеса, или как оно там… почему бы и нет?

Как ты будешь жить дальше, понимая, что никогда больше — никогда-никогда — не увидишь любимого человека? Как ты переживешь хотя бы один час, одну минуту, одну секунду этого понимания? Как ты сможешь постоянно держать себя в руках?

Он хотел спросить об этом Либора. «Какова была первая ночь без нее, Либор? Смог ли ты уснуть? И спал ли с тех пор вообще? Или как раз сон — это единственное, что тебе осталось?»

Но он не спросил. Возможно, ему и не хотелось услышать ответ.

Впрочем, Либор сам затронул эту тему чуть погодя.

— Когда ты думаешь, что справился со своим горем, — сказал он, — тебя начинает душить одиночество.

Треслав попытался представить себе одиночество еще большее, чем у него. «Как только ты справишься со своим одиночеством, — подумал он, — вот тут горе и возьмет тебя за глотку».

Но он и Либор были слеплены из очень разного теста.

Он был шокирован, когда Либор поведал ему секрет: в последнее время они с Малки разговаривали, не стесняясь в выражениях. Крыли друг друга почем зря.

— Вы с Малки?

— Ну да, мы с Малки. Пускали в ход крепкие словечки по поводу и без повода. Таким способом мы защищались от пафоса.

Треслав не мог этого понять. Зачем кому-то

нужно защищаться от пафоса?

Либор и Малки принадлежали к поколению родителей Треслава, давно уже покойных. Он любил родителей, хотя и не был с ними особо близок. Они могли бы то же самое сказать о сыне. Наручные часы, которых ему предстояло лишиться тем же вечером, были подарком от его вечно тревожившейся мамы. «Часули для Джуля», — было выгравировано на задней крышке корпуса. Но в жизни она никогда не называла его Джулем. Чувство цельности (увы, им утраченное) было в высшей степени свойственно его отцу — вот уж кто был твердой скалой, чтоб не сказать монументом, вокруг которого сама собой создавалась «зона тишины». Отец всегда держался так прямо, что по нему можно было сверять линию отвеса. Но в тот вечер у Либора причиной его слез были не воспоминания о родителях. Он плакал от пронзительного осознания непрочности этого мира — и за все надо было в итоге расплачиваться, причем плата за счастье взималась по самой жесткой таксе.

Так, может быть, лучше вовсе не знать счастья, учитывая огромность последующей потери? Быть может, лучше пройти по жизни, все время ожидая чего-то несбыточного, и тогда в конце

будет нечего так уж горько оплакивать?

Не потому ли Треслав столь часто оказывался в полном одиночестве? Не было ли это подсознательной защитой от вроде бы желанного счастья, поскольку в глубине души он боялся того, что последует за неизбежной утратой?

Или сама эта утрата, так его пугавшая, как раз и была желанным счастьем?

Попытки разобраться в причине своих слез привели лишь к тому, что он расплакался еще сильнее.

Третий участник встречи, Сэм Финклер, за все время, пока Либор играл, не пролил ни слезинки. Ошеломляюще внезапная кончина собственной супруги — они с Либором овдовели в один и тот же месяц — оставила его не столько скорбящим, сколько разгневанным. Тайлер никогда не говорила, что она «реализовалась в нем». Но это не мешало ему глубоко любить жену, все время оставаясь настороже, — как будто он надеялся, что однажды она наконец одарит его изъявлением ответных чувств, и боялся пропустить столь долгожданный миг. Увы, ожидание было напрасным. Сэм просидел у ее постели всю последнюю ночь. Была минута, когда она попросила его наклониться поближе, и он поднес ухо к ее иссохшим губам.

Но если она и хотела изъявить какие-то чувства, это ей не удалось. Он услышал лишь стон, да и тот мог исходить из его собственной груди.

Их брак тоже был заключен по любви, и пусть его нельзя было назвать безоблачным, зато с детьми им повезло больше, чем Либору и Малки. Немало мучений доставлял Сэму замкнутый и скрытный характер жены. Он подозревал, что Тайлер была ему неверна. Возможно, он смирился бы с этим, если бы узнал. Но ему так и не довелось «проверить себя на смиренность». А теперь все ее тайны ушли в могилу вместе с ней. Сэму Финклеру хотелось плакать, но к своим слезам он относился так же настороженно, как и к своей жене. Он хотел быть уверен, что если заплачет, то это будут слезы любви, а не слезы гнева. А пока такой уверенности не было, он старался не плакать вообще.

Тем более что у Треслава хватало слез за всех троих.

Джулиан Треслав и Сэм Финклер вместе учились в школе. Они были скорее соперниками, нежели друзьями, но соперничество также может длиться всю жизнь и связывать людей не менее тесно, чем дружба. Из них двоих Финклер был умнее. В ту пору он настаивал, чтобы его

именовали Сэмюэлом.

— Меня зовут не Сэм, а Сэмюэл, — говорил он. — Сэм — это имя какого-нибудь частного сыщика, а Сэмюэл напоминает о пророке Самуиле.

Самуил Эзра Финклер — как можно не быть умным при таком-то имени?

Именно Финклер оказался первым, кому взволнованный Треслав там же, в Барселоне, поведал о предсказании гадалки. Они тогда жили в одном номере.

— Еще и Джуно приплела какую-то, — жаловался Треслав. — Ладно там Джудит или Джулия, это хоть нормальные имена, но на кой же тут Джуно?

— *На гой жиду жены?* — переспросил Финклер в своей гнусаво-невнятной манере.

Треслав не понял.

— На гой жиду жены? — повторил Финклер.

Треслав по-прежнему не понимал. Тогда Финклер написал эту фразу на бумажке.

Треслав пожал плечами:

— По-твоему, это смешно?

— *Меня* это забавляет, — сказал Финклер, — а твое мнение меня не колышет.

— И что забавного, если еврей напишет слово «жид»? В чем тут фишка?

— Забудь, — махнул рукой Финклер. — Тебе все равно не понять.

— Почему это мне не понять? Я знаю, что значиг «гой». Но если я напишу проще, например: «Женясь на нееврейках, евреи плодят неевреев», я хотя бы смогу объяснить, что в этом забавного.

— Как раз *в этом* ничего забавного нет.

— Вот именно что нет. Меня, как нееврея, вряд ли позабавит написанное слово «нееврей». Мы не ищем подтверждения своей самобытности в словесных вывертах.

— А на гой оно жидам? — хмыкнул Финклер.

— Да отьебись ты с причмоком! — вышел из себя Треслав.

— Это типа пример нееврейского юмора?

До знакомства с Финклером Треслав не имел никаких дел с евреями, по крайней мере сознательно. Абстрактный еврей представлялся ему похожим на само слово «еврей» — маленький, чернявый и суетливый. А еще хитрый и скрытный. Но Финклер имел почти оранжевую шевелюру и внушительные габариты. У него были крупные черты лица, массивная челюсть, длиннющие руки, а что касается ног, то уже в пятнадцать лет ему было сложно найти подходящий размер ботинок (Треслав, надо заметить, всегда

обращал внимание на чужие ноги, притом что его собственные были изящны, как у танцора). Более того — а у Финклера *всего* было более, — он имел привычку задирать нос, из-за чего казался еще выше ростом, и выносить вердикты по любому поводу самым безапелляционным тоном, так что слова срывались с его губ, как плевки. «Жуй, да не плюй», — говорили мальчишки, сокращая это в «жидоплюй», но не слишком этим увлекались, понимая, насколько рискуют здоровьем. «Если все евреи такие, — думал Треслав, — то плевательно-фыркальное название „финклеры“ подходит им больше, чем их нынешнее чернявовертлявое имя». Так он про себя и называл евреев — финклерами.

Ему очень хотелось рассказать об этом своему другу. Такая смена терминов, по его мнению, устраняла негативный, заведомо клеймящий подтекст. В результате появлялась возможность спокойно, без предвзятости и злопыхательства, рассуждать о таких вещах, как «финклерский вопрос» или «всемирный финклерский заговор». Но он так и не решился поднять эту тему в разговорах с самим Финклером.

Отцы того и другого занимались торговлей. Треслав-старший владел табачной лавкой, где,

помимо сигар и тому подобного, продавались всякие курительные принадлежности, а отец Сэма Финклера держал аптеку и прославился своими чудо-пилюлями, которые только что не возвращали людей с того света. После приема финклерских пилюль у лысых отрастали волосы, горбуны обретали стройность, а бицепсы дохляков бугрились, наливаясь немереной силой. Сам Финклер-старший, в прошлом страдавший раком желудка, являл собой живое доказательство чудодейственной силы пилюль. Бывало, он приглашая какого-нибудь посетителя аптеки (не важно, чем страдавшего) ударить его, Финклера, кулаком в живот — в то самое место, где находилась раковая опухоль.

— Бейте сильнее, — говорил он. — Еще сильнее. И все равно мне не больно.

А когда посетители удивлялись этому обстоятельству, он гордо демонстрировал коробочку с пилюлями:

— Три раза в день во время еды, и вы тоже не будете чувствовать боли.

При всех этих цирковых фокусах, он был религиозным человеком, носил черную шляпу хасидского фасона и регулярно посещал синагогу, где молил Господа о даровании ему долгой

жизни.

Джулиан Треслав сознавал, что никогда не будет умником на финклерский манер. «На гой жиду жены?» Все эти словесные кривлянья были не для Треслава. Его мозг работал в другом режиме. Он дольше настраивался на определенную мысль и порой уставал от нее уже в процессе настройки, стремясь переключиться на что-то другое. В то же время Треслав был убежден, что из них двоих он обладает более ярким и богатым воображением. Он приходил утром в школу, бережно неся в памяти груз недавних сновидений, как акробат несет на плечах человеческую пирамиду. В большинстве своем это были сны об одиноких блужданиях по пустынным залам, стоянии на краю разверстых могил или созерцании горящих домов. «Что бы это могло значить?» — спрашивал он у своего друга. «Без понятия», — неизменно отвечал Финклер с таким видом, словно у него была масса других, более важных тем для размышления. Финклер никогда не видел снов — из вредности, как полагал Треслав.

Или он просто был слишком высок для таких мелочей, как сновидения.

Так что Треславу приходилось разбираться со своими снами без посторонней помощи. В них он

всегда был не к месту и не ко времени. В них он всегда опаздывал или появлялся слишком рано. В них он видел занесенный топор, летящую бомбу или опасную женщину, сжимающую в руке его бедное сердце. Джулия, Джудит, Джуно…

«Хуно».

Он также видел во снах разные вещи, которые клал не туда, куда следует, а после никак не мог найти, хотя искал везде, где только можно, в том числе под гладильной доской, внутри отцовской скрипки и между страницами книг, даже если искомый предмет никак не мог бы поместиться в таких местах. Иногда чувство, что он затерял что-то очень ценное, преследовало его на протяжении всего дня.

Либор, на момент знакомства бывший втрое их старше, объявился в их классе словно с неба упал: в своем бордовом бархатном костюме и галстуке-бабочке он выглядел случайно вошедшим не в ту дверь — точь-в-точь как в сновидениях Треслава. Он считался преподавателем европейской истории, но в его изложении вся эта история сводилась лишь к ужасам коммунистической тирании (от которой ему посчастливилось бежать в 1948 году), героизму гуситской Богемии

и судьбоносности чешских дефенестраций.[8] Треславу послышалось «чешских дегенератов», и он заинтересовался:

— А что сделало этих дегенератов такими судьбоносными, сэр?

— Кидание из окон, *chlapec,*[9] кидание людей из окон!

У себя в стране он был известным журналистом, кинокритиком и автором колонки светских новостей, а позднее под псевдонимом Эгон Слик работал корреспондентом в Голливуде, увивался за красивыми актрисами в барах на бульваре Сансет[10] и снабжал тамошними сплетнями изголодавшуюся по гламуру английскую прессу. Теперь же он подвизался учителем средней школы на севере Лондона, забивая детские головы

---

[8] Примечания: 8

Дефенестрация (от *лат.* de — «из», fenestra — «окно»; букв, «выбрасывание из окна») — старинный чешский метод расправы с неугодными народу представителями власти. Особо прославились две дефенестрации: 30 июля 1419 г., ставшая сигналом к народному восстанию, за которым последовали затяжные Гуситские войны, и 23 мая 1618 г., положившая начало общеевропейской Тридцатилетней войне.

[9] Примечания: 9

Мальчик *(чеш.).*

[10] Примечания: 10

Букв. «закатный бульвар» — одна из главных улиц Лос-Анджелеса, пересекающая Голливуд; так же называется известный фильм (1950; режиссер Билли Уайлдер) о трагической судьбе «закатившейся кинозвезды».

нелепостями и абсурдами чешской истории. Если что и могло потягаться абсурдностью с историей Чехии, так это история его собственной жизни.

От Голливуда он отказался из-за Малки. Она никогда не сопровождала его в заграничных поездках, предпочитая поддерживать огонь в семейном очаге.

— Мне нравится тебя ждать, — говорила она. — Я всегда с такой радостью предвкушаю твое возвращение.

Однако даже радостные предвкушения со временем выдыхаются, и он не мог этого не почувствовать. Кроме того, имелись некоторые материальные вопросы, решение которых он не хотел взваливать на плечи жены. Посему он разорвал свой контракт и разругался с главным редактором. Отныне ему нужно было больше свободного времени, чтобы писать книгу о том, где он побывал, и о людях, с которыми он встречался. Преподавание в школе оставляло достаточно такого времени.

Из Пасифик-Палисейдс[11] в Хайгейт,[12] от Греты Гарбо к Сэму Финклеру — едва подумав о такой карьерной траектории, он начинал хохотать прямо в классе, чем быстро завоевал симпатию учеников. И каждый раз он повторял им один и тот же урок: для начала гневно клеймил Гитлера и Сталина, потом переходил к гуситам и Первой пражской дефенестрации, иногда — «если вы хорошо себя вели» — добираясь и до Второй. Периодически он вызывал к доске кого-нибудь из учеников, и тот бойко пересказывал все от начала и до конца, благо не запомнить материал после стольких повторов было просто невозможно. Но когда в их экзаменационных билетах не оказалось ни первой, ни второй, ни какой-либо из последующих пражских дефенестраций, класс посетовал на это Либору.

— Не ждите, что я буду готовить вас к каким-то там экзаменам, — сказал он, презрительно кривя губы. — Есть много других учителей, которые помогут вам получить хорошие отметки. А я вижу

---

[11] Примечания: 11

Пригород Лос-Анджелеса на берегу Тихого океана, место жительства многих голливудских знаменитостей.

[12] Примечания: 12

Северный пригород Лондона, отделенный от центра лесопарковой зоной.

свою задачу в том, чтобы открыть перед вами окно в большой мир.

Либор охотно рассказал бы им о мире Голливуда, но Голливуд никак не вписывался в школьную программу по истории. Прагу с ее дефенестрациями он еще мог сюда притянуть, но кинозвезд с их эскападами — никак.

Долго он в школе не продержался. Оно и неудивительно — такое редко удается учителям, которые носят бабочку и рассуждают об окнах в большой мир. Через полгода он уже работал в чешском подразделении Всемирной службы Би-би-си, а по ночам писал биографии голливудских звезд.

Малки была не против. Малки обожала мужа, находя его чрезвычайно забавным. Быть забавным куда лучше, чем нелепым или чокнутым. Мысль о том, что она считает его забавным, помогала Либору не свихнуться.

— О многих чехах этого не скажешь, — бывало, шутил он.

Время от времени он встречался с двумя мальчишками, чья простодушная невинность помогала ему развеяться (сам он никогда, даже в детстве, не был простодушно-невинным). Он водил ребят в бары, посещать которые самостоятельно они

не могли, угощал их напитками, о которых они ранее и не слышали, не говоря уже о том, чтобы пробовать, в деталях описывал им свои эротические приключения — слово «эротические» он всегда коверкал и произносил с придыханием, как будто возбуждаясь от самого его звука, — и много рассказывал о Богемии, из которой он так удачно сбежал и которую уже не рассчитывал увидеть вновь.

По мнению Либора, из всех свободных стран жить стоило только в Англии или в Америке. Он любил Англию и старался делать покупки «в чисто английском стиле», как он это себе представлял: ароматизированный чай и анчоусную пасту — в «Фортнум и Мейсон»,[13] рубашки и блейзеры — на Джермин-стрит,[14] где он вдобавок баловал себя бритьем и пропитанными соком лайма горячими полотенцами так часто, как только мог себе позволить. Еще он хвалил Израиль (сам будучи из финклеров) — в том смысле, что его существование является славным при-

[13] Примечания: 13

Универсальный магазин на улице Пиккадилли (основан в 1707 г.), славящийся старинным дизайном и «истинно британским духом».

[14] Примечания: 14

Лондонская улица, на которой расположены фешенебельные магазины мужской одежды, обуви и прочих «товаров для джентльменов», а также мужские парикмахерские и т. п.

тягательнораздражающим фактором, но из его речей не создавалось впечатления, что лично он хотел бы там жить. Слово «Израиль» Либор произносил с раскатисто утроенным «р» и выпадением последних букв «ль», как бы подчеркивая, что это святое место принадлежит Всевышнему и он, Либор, не считает себя достойным произносить его название полностью. Обычные финклерские выкрутасы с языком, — Треславу это уже было знакомо. Они либо безбожно коверкали слова, либо приписывали им божественные свойства. Причем они могли делать это с одним и тем же словом. К примеру, Сэм Финклер обычно выплевывал слова, имеющие отношение к Израилю («сионизм», «Тель-Авив», «кнессет» и тому подобные), так, словно это были грязные ругательства.

Однажды Либор поведал им великую тайну. Он, видите ли, был женат. И состоял в браке уже более двадцати лет. Жена его выглядела, как Ава Гарднер,[15] если не лучше. Сказать по правде, она была настолько хороша, что он боялся приводить к себе домой гостей, чтобы их не ослепила ее неземная красота. Треслав удивился, почему

[15] Примечания: 15

Гарднер Ава Лавиния (1922–1990) — голливудская звезда, блиставшая в 1940–1950-х гг. и в ту пору прозванная «женщиной с лицом ангела и телом богини».

он вдруг решил рассказать о ней сейчас, если прежде скрывал от них эту тайну.

— Потому что вы готовы, как мне кажется, — прозвучало в ответ.

— Готовы ослепнуть?

— Готовы рискнуть своим зрением.

Настоящей причиной было то, что у Малки имелись две племянницы в возрасте Треслава и Финклера и эти девчонки никак не могли обзавестись парнями. В конечном итоге ничего путного из этого сводничества не вышло — даже влюбчивый Треслав не польстился на племянниц Малки, которые не имели ни малейшего сходства со своей тетей; хотя он, разумеется, сразу влюбился в саму Малки, годившуюся ему в матери. Либор не преувеличивал — Малки и правда так походила на Аву Гарднер, что ребята между собой всерьез обсуждали: а не Ава ли это Гарднер на самом деле?

Вскоре после того их дружба с Либором начала угасать. Показав им свою ослепительную жену, он теперь мало чем еще мог их впечатлить. В дальнейшем каждому из них предстояло искать собственную Аву Гарднер.

А потом была опубликована первая из написанных им биографий, за которой последовали

другие — пикантно-занимательные, с легким налетом фатализма. Либор снова стал знаменит, и даже более прежнего, поскольку некоторые из описанных им женщин были уже мертвы, а молва гласила, что они в свое время поверяли Либору больше секретов, чем кому-либо еще. Глядя на фотоснимки, где Либор танцевал с ними щека к щеке, нетрудно было себе представить, как они изливают ему свою душу. Он внушал им доверие, потому что был таким забавным.

Несколько лет Сэм и Джулиан следили за успехами Либора исключительно по его публикациям. Джулиан ему завидовал. Сэм тоже, но в меньшей степени, будучи себе на уме. Блескучий мир Голливуда чурался пустых полуночных коридоров Дома вещания, ставших домом — насколько ад может считаться домом — для Джулиана Треслава. Карьера Либора казалась ему прямой противоположностью его собственной, и он постоянно воображал себя на его месте.

Что до Сэма Финклера — в ту пору все еще звавшегося Сэмюэлом, — то он был не из тех, кто прыгает по вершкам дисциплин в заштатном университетишке на побережье. По его словам, он четко знал, откуда дует ветер и с какой стороны намазан маслом его хлеб насущный. Треслав

невольно восхищался его финклерским чутьем и мечтал о чем-то подобном для себя, устав наблюдать свои бутерброды стабильно падающими маслом вниз.

— Ну и что ты выберешь? — спросил он. — Медицину? Право? Финансы?

— Ты знаешь, как это называется? — сказал Финклер.

— Что называется?

— То, что ты делаешь.

— Проявление интереса?

— Подгонка под стереотип. Ты хочешь подогнать меня под стереотип.

— Ты сам только что говорил про дующий ветер и намазанный хлеб — это разве не стереотип?

— Я имею право подгонять под стереотип самого себя.

— Вот оно как, — сказал Треслав и в очередной раз задался вопросом: сможет ли он когда-нибудь уяснить, какие именно вещи финклеры запросто могут говорить о себе, при этом не допуская, чтобы то же самое говорили о них другие.

Отрешившись от стереотипов — что само по себе было стереотипно, — Финклер стал изучать этику в Оксфорде. На первый взгляд это могло показаться не бог весть каким ловким карьерным

ходом; еще менее убедительными в этом плане выглядели последующие пять лет, в течение которых он вел семинары по риторике и логике там же, в Оксфорде. Но затем проницательный Финклер подтвердил свою репутацию в глазах друга, выпустив в свет бестселлер по практической философии самосовершенствования, а вскоре продолжил его целой серией книг, сколотив на этом недурное состояние. Первый опус назывался «Экзистенциалист на кухне». Второй — «Самоучитель бытового стоицизма». Следующие книги из этой серии Треслав покупать не стал.

Еще во время учебы в Оксфорде Финклер отказался от имени Сэмюэл в пользу Сэма. «Означало ли это, что ему вдруг захотелось походить на частного сыщика?» — гадал Треслав. Крутой Сэм Железные Яйца. Или же он старался *не походить* на финклера — но тогда логичнее было бы отделаться от фамилии Финклер, а не от имени Сэмюэл. Возможно, он просто хотел казаться свойским парнем. Каковым, разумеется, не был.

В действительности правильной была догадка Треслава насчет нежелания Финклера выглядеть финклером в глазах окружающих. Его отец к тому времени уже умер, напоследок мучась страшными болями, — какие там, к черту, чудо-пилюли!

А отец был главным связующим звеном между ним и сообществом финклеров. Мать его всегда слабо разбиралась во всех этих финклерских вещах, а после смерти мужа и подавно перестала обращать на них внимание. Теперь Финклер был волен сам выбирать свой путь. И он решил, что с него довольно всяких иррациональных верований. Треслав не понимал, почему он при этом цеплялся за фамилию Финклер, но для Финклера она сохраняла определенную значимость даже после того, как он повернулся спиной к финклерству как таковому. Пока Финклер именовался Финклером, он не давал прерваться глубинной связи с верой своих отцов. А избавление от «Сэмюэла» было, скорее, символическим жестом, обозначая его выбор в пользу нефинклерского будущего.

На волне успеха самоучителей житейской мудрости Финклер — при его-то нескладной фигуре, плевательно-фыркальной манере речи и неуважительном отношении к любому собеседнику — умудрился прорваться на телеэкран и приобрел известность как ведущий цикла передач, в которых с помощью Шопенгауэра просвещал людей в искусстве любви, с помощью Гегеля организовывал их досуг и с помощью Витгенштейна

учил их запоминать банковские PIN-коды («А заодно и уродские рожи всяких финклеров», — в раздражении думал Треслав, выключая телевизор).

— Я знаю, что вы обо мне думаете, — при гворно сокрушался Финклер в компании старых знакомых, когда последних уже начали коробить его успехи, — но мне нужно огрести побольше денег, чтобы выглядеть достойно в глазах Тайлер, пока она от меня не ушла.

Втайне он надеялся когда-нибудь услышать от Тайлер, что она слишком его любит, чтобы помышлять об уходе, но так и не дождался этого признания. Возможно, потому, что она все время только об уходе и мечтала.

Сам же Финклер, если предположение Треслава было верным, не растрачивался на пустые мечтания и сны.

Хотя их жизненные пути разошлись, они никогда не теряли из виду друг друга и семьи друг друга — если недолговечные сожительства Треслава можно было назвать семьями, — а также Либора, который и в зените славы, и позднее, когда болезнь жены стала его главной заботой, периодически вспоминал о своих бывших учениках, приглашая их то на вечеринку, то на

новоселье, а то и на премьеру какого-нибудь фильма. В первый раз, когда Треслав посетил их новую шикарную квартиру на Портленд-Плейс и услышал, как Малки исполняет Экспромт соль-бемоль мажор Шуберта, он расплакался, как дитя.

Понесенные утраты сгладили возрастные и карьерные различия между ними, возродив былую дружбу. Именно тяжесть этих утрат стала причиной того, что за последнее время они общались больше, чем в предыдущие тридцать лет.

Теперь, оставшись без своих женщин, они могли хоть ненадолго вновь почувствовать себя молодыми.

В случае с Треславом «остаться без женщины» означало не смерть, а всего лишь укладку чемоданов и хлопок дверью — иногда с упоминанием о ком-то «более твердом и менее впечатлительном» — или просто паузу перед тем, как новая женщина пересечет его путь на опасных улицах жизни, чтобы выбить его из душевного равновесия.

4

Распрощавшись в тот вечер с друзьями, Джулиан прогулялся до Риджентс-парка и постоял

у его запертых ворот.[16] Финклер предлагал подвезти его до дому, но он отказался. Ему не улыбалась перспектива всю дорогу сгорать от зависти на мягком кожаном сиденье в роскошном «мерседесе» Сэма. Хотя Треслав терпеть не мог автомобили, он всегда завидовал Сэму с его черным «мерсом» и личным шофером, особенно в те вечера, когда надо было добираться до дома в подпитии. Ну и где же тут логика? Хотел ли он иметь такой же «мерседес»? Нет. Хотел ли он иметь личного шофера, который отвозил бы его домой с ночных гулянок? Нет. Что он хотел бы иметь, так это любимую жену, а у Сэма теперь жены не было. Так что же такого имел Сэм, чего недоставало Треславу? Ничего.

Исключая разве что самоуважение.

И это было более чем странно. Судите сами: может ли человек, разглагольствующий на телеэкране об оральном сексе с притягиванием

[16] Примечания: 16

Популярное место отдыха лондонцев и гостей города, открыт для посетителей с 5 часов утра, а время его закрытия меняется в зависимости от сезона. В августе, когда происходит действие этого эпизода, парк закрывается в 9 часов вечера.

за уши цитат из Блеза Паскаля,[17] сохранять какое-то самоуважение? Напрашивается ответ: не может.

Но Финклер его сохранял.

Хотя, возможно, это было вовсе не самоуважение. Возможно, это чувство не было связано с собственным «я» Финклера, а, напротив, означало освобождение от того, что Треслав понимал под собственным «я»: ничтожно малое местечко во вселенной, выделенное человеку для существования и огражденное колючей проволокой из прав и обязанностей. Как и его папаша, аптекарь-циркач, Сэм умел быстро забывать свои неудачи и обладал той расчетливой наглостью, которую называют «вторым счастьем» и которая, по мнению Треслава, была частью финклерского генетического наследия. Если ты родился финклером, это было в твоих генах вместе с некоторыми другими финклерскими атрибутами, упоминать о которых считалось невежливым.

И все эти финклеры — не исключая Либора — вечно совали свой нос туда, куда нефинклеры

---

[17] Примечания: 17

Паскаль Блез (1623–1662) — французский математик, физик, литератор и религиозный философ, автор фундаментального труда «Мысли о религии и других предметах» и полемических «Писем к провинциалу», о цитатах из которых может идти речь в данном случае.

совать его не считали нужным без особой необходимости. Тем вечером, уже после музыки, они принялись обсуждать ближневосточную проблему; в этом разговоре Треслав участвовал чисто символически, не считая себя вправе судить о вещах, его не касающихся, по крайней мере не касающихся так, как Сэма и Либора. Но знали ли они об этой проблеме больше, чем знал Треслав? А если знали, то почему они умудрялись разойтись во мнениях по всем ее аспектам? Или их просто ничуть не смущало собственное невежество?

— Ну пошло-поехало: опять «холокост, холокост»! — говорил Финклер, хотя Треслав был уверен, что Либор перед тем о холокосте и не заикался.

Возможно, подумал он, евреям необязательно упоминать о холокосте вслух, чтобы упомянуть холокост. Быть может, они могут передавать друг другу мысль о холокосте взглядом. Однако по виду Либора было непохоже, чтобы он в тот момент транслировал холокостные мысли. В свою очередь он восклицал:

— Ну пошло-поехало: опять эта еврейская ненависть к себе!

И это притом, что Треслав не встречал ни одного еврея — да и вообще никого, — кто ненавидел

бы себя в меньшей степени, чем Финклер.

Далее они пошли-поехали опровергать аргументы друг друга с такой горячностью, будто спорили в первый раз, хотя Треслав слушал этот их спор на протяжении десятилетий, как минимум с той поры, как Сэм поступил в Оксфорд. В школьные годы Финклер был ярым сионистом и во время Шестидневной войны даже пытался записаться добровольцем в израильскую авиацию, будучи всего семи лет от роду.

— Ты все перепутал, — сказал Финклер, когда Треслав напомнил ему об этом случае. — На самом деле я хотел записаться в палестинскую авиацию.

— Но у палестинцев нет авиации, — возразил Треслав.

— Так ведь меня и не взяли, — сказал Финклер.

Либор относился к Израилю, произнося это название с тремя «р» и без «ль» — «Изр-р-раи», — как к «последней спасательной шлюпке».

— Я никогда там не был, да и не стремлюсь побывать, — говорил он. — Но даже в моем возрасте я могу столкнуться с ситуацией, когда мне будет некуда больше податься. Это урок истории.

Финклер вообще избегал употреблять слово «Израиль». Для него Израиль не существовал,

была только Палестина. Изредка он именовал эту землю Ханааном. Термина «израильтяне» он, однако, избежать не мог, обозначая «несправедливую сторону конфликта». Но если у Либора «Израиль» звучал как священное слово, вроде кашля Господня, то Финклер впихивал между звуками «а» и «и» оттяжное «й» — «израйильтяне» — и произносил это слово так, будто оно было названием одной из болезней, от которых его отец прописывал свои чудо-пилюли.

— Урок истории! — фыркал он. — Урок истории заключается в том, что после каждой битвы с израйильтянами их противники становятся все сильнее. Урок истории в том, что рано или поздно агрессоры сами устроят себе разгром.

— Почему тогда не подождать спокойно их саморазгрома? — неуверенно предложил Треслав, который не очень понимал, за что именно Финклер клеймит Израиль: за одержанные победы или за близость к поражению?

Хотя Финклер только что с отвращением говорил о неоправданном единодушии своих собратьев-евреев в поддержке Израиля, он не мог не возмутиться наличием собственного мнения у «постороннего».

— Потому что прольется еще много крови, пока

мы все будем сидеть в бездействии! — излил он презрение на Треслава, после чего обернулся к Либору. — И потому, что я стыжусь этого, как еврей.

— Только посмотри на него, — сказал Либор Треславу. — Выставляет напоказ свой стыд перед нееврейским миром, как будто нееврейский мир можно всерьез этим заинтересовать. Что скажешь, Джулиан?

— Ну, я… — начал было Треслав и замолк, видя, что мнение нееврейского мира в его лице ничуть их не интересует.

— По какому праву ты утверждаешь, будто я что-то «выставляю напоказ»? — возмущался Финклер.

А Либор гнул свое:

— Разве они недостаточно тебя любят за твои книги? Ты хочешь, чтобы тебя любили еще и за показной стыд?

— Я не ищу чьей бы то ни было любви! Я ищу справедливости.

— Справедливости? И он еще называет себя философом! На самом деле тебе нужна уютная фарисейская самоуспокоенность, которая скрывается за этим словом. Послушай меня: я был твоим учителем, и я по возрасту гожусь тебе в

отцы, так вот, стыд — это сугубо личное для каждого. Его надо держать при себе.

— Это уже смахивает на семейный спор.

— А чем тебе не нравятся семейные споры?

— Когда член твоей семьи совершает ошибку, разве ты не должен сказать ему об этом?

— Сказать ему — да. Но не бойкотировать его. Разве можно бойкотировать собственную семью?

И в таком духе они спорили до тех пор, пока всех троих не развели обычные потребности мужчин, лишенных женского общества, — еще один бокал портвейна, визит в уборную и желание вздремнуть после застолья.

Будучи скорее пассивным наблюдателем, чем участником спора, Треслав дивился их финклерскому апломбу и уверенности в своей правоте, что бы там ни говорил Либор насчет стремления каждого финклера заслужить одобрительную реакцию нефинклеров.

Хотел того Сэм Финклер или нет, но при общении с ним Джулиан Треслав всегда чувствовал себя не в своей тарелке, как будто его не принимали за равного. И напрасно он пытался убедить себя, что это не так. В школе было то же самое — рядом с Финклером он начинал ощущать себя

кем-то, кем не являлся. Каким-то шутом гороховым. Объяснить этого он не мог.

Треслав обладал, что называется, приятной внешностью. При этом описать в деталях его внешность затруднительно — он просто был «типично симпатичным». Скажем, симметрия: у него было симметричное лицо. И еще правильность: черты его лица были тонкими и правильными. И он хорошо одевался, при этом не слишком выделяясь на фоне других. Между тем Финклер — чей отец подставлял свой живот клиентам для битья — не следил за фигурой, позволяя круглому пузу нависать над брючным ремнем, брызгал слюной в телекамеру, а в длинных кадрах своей программы на редкость неуклюже ковылял по улице, на которой фургон сбил Ролана Барта,[18] или по усадьбе, где закончил свои дни Гоббс.[19] В студийном кресле он сидел развалясь, как торгаш на восточном базаре. И при всем том из них двоих не он, а Треслав чувствовал себя шутом

---

[18] Примечания: 18

Барт Ролан (1915–1980) — французский философ, литературовед и критик; скончался от последствий травм, полученных на парижской улице, когда его сбил прачечный фургон.

[19] Примечания: 19

Гоббс Томас (1588–1679) — английский философ-материалист, автор теории общественного договора, один из родоначальников современного рационализма; скончался в поместье Хардвик-Холл, графство Девоншир.

гороховым!

Может, это было как-то связано с философией? Треслав неоднократно, с перерывами в несколько лет, пытался вплотную заняться ее изучением. Не считая нужным углубляться в прошлое вплоть до Сократа или сразу лезть в дебри современной эпистемологии,[20] он покупал книги, обещавшие доступное введение в предмет, — кого-нибудь вроде Роджера Скратона[21] или Брайана Мейджи,[22] но только не Сэма Финклера, по вполне понятным причинам. Эти попытки самообразования всегда начинались успешно. Предмет не казался таким уж сложным, и Треслав уверенно продвигался вперед. Но в какой-то момент продвижение застопоривалось, уткнувшись в понятие или в цепочку рассуждений, уяснить которые ему никак не удавалось, сколько бы часов он над этим ни бился. Реакцию отторжения в его

---

[20] Примечания: 20

Раздел философии, исследующий знание как таковое, его природу, источники и развитие. Традиционно отождествляется с гносеологией (теорией познания).

[21] Примечания: 21

Скратон Роджер Вернон (р. 1944) — британский философ, автор трудов по эстетике, философии и политологии, а также нескольких романов и оперных либретто.

[22] Примечания: 22

Мейджи Брайан Эдгар (р. 1930) — британский тележурналист и писатель, популяризатор философии.

мозгу могла спровоцировать какая-нибудь фраза, сама по себе не так чтобы уж очень замысловатая, типа «идея, вытекающая из подхода к онтогенезу как к ускоренному повторению филогенеза».[23] Порой для этого было достаточно одного только обещания автора «рассмотреть данный вопрос с трех точек зрения, каждая из которых включает пять основных пунктов, первый из которых подлежит оценке, основывающейся на четырех различных аспектах». Для него это было сродни ужасному открытию, когда вроде бы разумный человек, с которым вы только что поддерживали вполне нормальную беседу, вдруг на поверку оказывается совершенным безумцем. А если не безумцем, то моральным извращенцем.

Случалось ли Финклеру сталкиваться с подобными затруднениями? Однажды Треслав спросил его об этом. Ответ был: не случалось. Финклеру все это было яснее ясного. И люди, читавшие его книги, находили, что он излагает все яснее ясного. А иначе откуда бы у него взялось так много читателей?

Только после того, как они распрощались на

[23] Примечания: 23

Онтогенез — индивидуальное развитие организма от его зарождения до смерти. *Филогенез* — историческое развитие организмов, эволюция органического мира.

улице, Треславу пришло в голову, что его старый друг просто нуждался в компании. Либор был прав: Финклер действительно искал любви. Мужчина, лишившийся своей женщины, был одинок в большом черном «мерседесе», не важно, сколько читателей и почитателей у него имелось.

Треслав смотрел на луну, пока у него не закружилась голова. Ему нравилось побыть одному в такие теплые поздние вечера. Он крепко ухватился за решетку парковых ворот, как будто хотел сорвать их с петель, но не предпринял никаких дальнейших действий, а только стоял и наслаждался успокоительным дыханием парка. С другой стороны ограды он мог выглядеть как заключенный или пациент психбольницы, отчаявшийся выбраться на волю. Впрочем, его позу можно было истолковать и в обратном смысле: как будто он отчаянно стремится попасть внутрь.

В конце концов, решетка была нужна ему просто для поддержания равновесия, настолько он был опьянен, но не вином — хотя у Либора трое горюющих друзей выпили немало, — а запахом листвы. Он широко открыл рот и заглатывал этот воздух с жадностью, как в разгар любовных утех.

А когда он в последний раз так открывал рот,

реально занимаясь любовью? Открывал, чтобы вдохнуть побольше воздуху, чтобы издать благодарный вопль, чтобы взвыть от восторга и от страха. Неужели он исчерпал отпущенный ему лимит женских ласк? Но ведь он каждый раз по-настоящему влюблялся, он не был легкомысленным волокитой и все еще надеялся обрести свою главную и единственную любовь. Однако новые женщины больше не входили в его жизнь, а его прежние возлюбленные утратили способность к состраданию. Идя по улице, он замечал красоту встречных девушек, восхищался их энергией и вполне понимал других мужчин, которых притягивала их дерзкая чувственность, но сам он уже не застывал столбом от такого зрелища. Он не мог представить этих девушек умирающими у него на руках. Он не смог бы оплакивать их уход. А там, где он не смог бы плакать, он не мог и любить.

Не мог даже испытывать влечение.

Для него меланхолия являлась неотъемлемой спутницей страсти. «Разве это так уж необычно?» — думал он. Разве он был единственным мужчиной, изо всех сил цеплявшимся за женщину в страхе перед ее уходом? Впрочем, его мало беспокоили другие мужчины. Не в том смысле,

что он умел избавляться от соперников, — ему до сих пор было больно вспоминать, как легко и небрежно увел у него женщину тот итальянский плотник, — просто он не был ревнив по натуре. Он мог завидовать, это верно, — в частности, завидуя «моногамно-эротическому» счастью Либора («элотишрескому», как выговаривал это слово старый чех), — но не ревновать. Смерть — вот кто был его единственным соперником.

— У меня «комплекс Мими»,[24] — говорил он своим приятелям в университете.

Те считали это шуткой или выпендрежем, хотя он был абсолютно серьезен. Он посвятил этой теме курсовую работу на семинаре «Всемирная литература в переводах» (куда он перекинулся с «Защиты окружающей среды»), взяв роман Анри Мюрже как литературный первоисточник оперы «Богема». Преподаватель поставил ему «отлично» за качество перевода и «неудовлетворительно» за низкую эмоциональную зрелость.

— С возрастом это пройдет, — сказал он, когда Треслав попросил объяснить ему такой разброс оценок.

---

[24] Примечания: 24

Героиня оперы Дж. Пуччини «Богема» (1895), сюжетно основанной на романе А. Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1851). Больная чахоткой Мими в финале умирает на руках у своего возлюбленного.

В конечном счете оценка была повышена до полноценного «отлично». Так происходило во всех случаях, когда студенты просили разъяснений. А поскольку студенты *всегда* просили разъяснений, Треслав удивлялся, почему преподаватели сразу не ставили высший балл, тем самым экономя время. Что касается «комплекса Мими», то он не избавился от него и к сорока девяти годам, — видно, таков удел всех оперных любовников.

Случай Треслава усугублялся еще и «комплексом Офелии», характерным для поклонников живописи прерафаэлитов и поэзии Эдгара По. Преждевременная смерть красивой женщины — что может быть поэтичнее?

Всякий раз, когда Треславу случалось проходить мимо плакучей ивы или журчащего ручейка, а еще лучше — ивы над ручьем, хотя такое в Лондоне встречается нечасто, — ему виделась под водой Офелия в струящихся одеждах и слышался ее печальный напев. Много воды Офелии не требовалось — волшебная сила искусства гарантировала ей утопление при любой глубине водоема, — но Треслав не упускал случая пополнить гибельный ручей потоками собственных слез.

Казалось, что ему назначено богами (он не мог сказать «Богом», поскольку в Него не верил) обладать женщиной столь полно и безраздельно, оберегать ее столь надежно, что смерти будет не под силу отнять у него возлюбленную. Именно такое чувство он испытывал, занимаясь любовью (в ту пору, когда он еще этим занимался). Он не жалел себя и выкладывался без остатка, как будто надеясь тем самым обратить вспять любые злые силы, могущие покуситься на его женщину. Объятия Треслава гарантировали ей безопасность, и она наконец засыпала — измотанная, но спасенная.

Зато как тихо и крепко спали обожаемые им женщины! А Треслав, охраняя их сон, временами пугался, что они не проснутся.

Для него оставалось загадкой, почему все они от него уходили либо вынуждали его уйти от них. В этом было главное разочарование его жизни. Он мог бы стать новым Орфеем, который вызволяет любимую из царства смерти или, на худой конец, проводит остаток своих дней в горестных стенаниях после того, как она скончается у него на руках: «О моя любовь! Моя единственная любовь!» А кем он был вместо этого? Кем угодно, только не самим собой; универсальным двойни-

ком, не умеющим чувствовать, как чувствуют другие, и способным лишь одиноко вдыхать запах листвы у ворот закрытого на ночь парка да оплакивать чьи-то чужие утраты.

Вот еще одна вещь, из-за которой он завидовал Либору, — его невосполнимая утрата.

5

Он простоял у ворот парка около получаса, а затем размеренным шагом двинулся обратно, в сторону Вест-Энда, мимо ненавистного здания Би-би-си и Нэшевой церкви,[25] где он однажды влюбился в женщину, увидев, как она крестится и зажигает свечу. У нее большое горе, догадался он. Это *chiaroscuro,*[26] это сумерки души. Совсем как у него. Она безутешна. И он попробовал ее утешит!

— Все будет хорошо, — сказал он. — Я беру вас под защиту.

У нее были четко очерченные скулы и почти прозрачная кожа. Сквозь нее можно было видеть

---

[25] Примечания: 25

Имеется в виду церковь Всех Душ на Риджент-стрит, построенная по проекту британского архитектора Джона Нэша (1752–1835).

[26] Примечания: 26

Светотени *(ит.).*

свет.

После двух недель интенсивных утешений она спросила его:

— Почему ты все время твердишь: «Все будет хорошо»? У меня и так все вроде бы неплохо.

Он покачал головой:

— Я видел, как ты зажигала свечу. Дай я тебя обниму.

— Мне нравятся свечи, — сказала она. — Они так красиво горят!

Он пропустил ее волосы между пальцами:

— Тебя привлекает их слабый трепещущий свет, их зыбкость и недолговечность. Я это понимаю.

— Я должна тебе кое в чем сознаться, — сказала она. — У меня легкая форма пиромании. Но я в тот раз не собиралась поджигать церковь, просто хотела посмотреть на пламя. Меня приятно возбуждает его вид.

Он рассмеялся и поцеловал ее.

— Успокойся, — сказал он. — Успокойся, любовь моя.

Пробудившись утром, он мигом осознал две вещи. Первая: что она от него ушла. Вторая: что по его простыням расползается пламя.

Он не продолжил движение по Риджент-стрит,

а свернул налево, прошел под колоннадой церкви, скользнув плечом по чувственной округлости колонны, и очутился среди магазинчиков, тянувшихся рядами вдоль Райдинг-Хаус-стрит и Литл-Тичфилд-стрит, — Треслав не уставал удивляться тому, с какой непосредственностью в Лондоне чередуются разные виды культурной и коммерческой деятельности. Среди прочих здесь раньше находилась и лавка его отца — «Бернард Треслав: табачные изделия», — так что он хорошо знал этот район и мог с гордостью считать его своим. Для него тот навсегда остался связан с запахом сигар — отцовским запахом. Между тем витрины с недорогими ювелирными побрякушками, аляповатыми дамскими сумочками и кашемировыми шалями настроили его на романтический лад. Он дважды повернул направо, таким образом снова выйдя к Риджент-стрит, благо причин спешить домой не было, и остановился у витрины «Ж. П. Гивье и К°», старейшей в Англии компании по продаже и реставрации скрипок. Отец Джулиана играл на скрипке, и он же не позволил сыну освоить этот инструмент.

— От скрипки одни расстройства, — заявил он. — Забудь это всё.

— Что «всё»? — не понял Джулиан.

Бернард Треслав, лысый и прямой как палка, дохнул сигарным дымом в лицо отпрыску и ласково похлопал его по макушке.

— Забудь музыку, — пояснил он.

— Виолончель тоже нельзя?

В магазине Гивье продавались и превосходные виолончели.

— Виолончель вгонит тебя в тоску смертную еще быстрее скрипки. Лучше играй в футбол.

Но Джулиан вместо футбола пристрастился к романтической литературе и операм девятнадцатого века. Отец не одобрял и это его увлечение, хотя все книги и пластинки, которые так нравились Треславу-младшему, были им обнаружены в его же, отцовской, коллекции.

Выдав серию нравоучительных сентенций, Бернард Треслав обычно запирался в своей комнате и там играл на скрипке — под сурдинку, чтобы не подавать дурной пример семейству. Одному ли Джулиану казалось, что его отец горько плачет, водя смычком по струнам?

Вследствие такого воспитания Джулиан Треслав не освоил ни одного музыкального инструмента, о чем жалел всякий раз, проходя мимо витрины «Ж. П. Гивье и К°». Разумеется, после смерти отца он мог бы преспокойно брать уроки

музыки, стоило только захотеть. Чем не пример тот же Либор, который научился играть на фортепиано, когда ему перевалило далеко за восемьдесят?

Но у Либора было *для кого* играть, пусть даже *она* покинула этот мир. Тогда как у Треслава…

Это произошло в ту самую минуту, когда он стоял у витрины, глядя на скрипки и предаваясь печальным воспоминаниям. Чьи-то пальцы вдруг впились ему в загривок — так злонамеренный бродяга хватает неосторожно вылезшего на крылечко породистого кота, чтобы потом сбыть его в притоне за бутыль дрянного пойла. Треслав вздрогнул от неожиданности и нагнул голову в попытке освободиться. Примерно так же на его месте поступил бы и пойманный кот, но только в первую ошеломительную минуту, а далее кот начал бы царапаться, кусаться и всеми прочими доступными ему средствами бороться за свою свободу. Треслав бороться не стал. Он знал этих «людей с улицы» — нищих, бездомных, отчаявшихся — и легко мог представить себя на их месте. Улица таила угрозу — и Треслав чувствовал ее, как никто другой.

Несколькими годами ранее он уже поварился в этой каше. Его в ту пору только что уволили с

очередной работы, а новую он еще не нашел и посвящал большую часть времени ухаживаниям за одной красоткой с небритыми подмышками и кольцом в носу, которая работала в благотворительной организации и с которой (как считал Треслав) ему суждено было обрести счастье — или несчастье, что не суть важно, раз уж это было *суждено.* Чтобы быть поближе к любимой, он стал участвовать в благотворительных акциях для бездомных, составлять прошения и предъявлять претензии от их имени. Но если кто-то из них вдруг предъявлял претензии *ему,* у него не находилось достойного ответа. И вот теперь он также дал слабину, допустив, чтобы его прижали к витрине и обчистили как липку.

«Допустив»? Это слово непозволительно приукрашивало его роль в конфликте. Все произошло слишком быстро, и он просто не имел возможности допустить или не допустить происходящее. Он был схвачен, размазан по стеклу и выпотрошен.

Женщиной.

Но и это было еще не все.

Впоследствии, заново переживая этот эпизод, он припомнил, что грабительница с ним заговорила. Конечно, он мог ошибаться. Налет был

слишком внезапным и быстротечным, чтобы отчетливо сохраниться в памяти. Он не был уверен даже насчет себя — произнес он сам что-нибудь или нет? Принял ли он все это в молчании, не пытаясь протестовать или хотя бы звать на помощь? Что же до слов, якобы произнесенных нападавшей, то они могли ему просто померещиться в смачном звуке разбиваемого о витрину носа, в хрусте хрящей или в ударах его сердца, чуть не выпрыгнувшего из груди. И тем не менее эта комбинация звуков не выходила у него из головы, пытаясь оформиться во что-нибудь вразумительное…

Наконец он пришел к выводу, что женщина крикнула: «Ах ты, жулик!» — или нечто вроде этого.

Странное обвинение, если только не предположить, что она была раньше знакома с Треславом и заимела на него зуб. Или же она имела зуб на мужчин в целом и теперь мстила за какую-то обиду первому попавшемуся представителю мужского племени.

В университете он посещал семинар «Патриархат в политике», в ходе которого неоднократно звучала фраза: «Теперь вы понимаете, каково быть женщиной». Возможно, этим возгласом она

хотела выразить то же самое.

С другой стороны, фраза «ах ты, жулик!» могла прийти ему в голову просто как отражение подспудного чувства вины перед женщинами. Что, если она его опознала и потому воскликнула: «Ах, ты Джуль?!» — употребив материнское прозвище?

Однако и это нуждалось в объяснении, поскольку фраза прозвучала утвердительно, а не с интонацией удивленного узнавания.

А если она хотела показать, что знает его, и предупреждала? Типа: «Ах ты, Джуль!» — «не надейся, что я забуду твое имя и не доберусь до тебя в другой раз!»

Безусловно, за первыми словами должно было последовать какое-то продолжение. Оно и последовало, если под продолжением иметь в виду потерю им своего имущества. Но напрашивалось и продолжение фразы, — может, она собиралась назвать собственное имя, чтобы вдобавок над ним поглумиться? «Ах ты, Джуль!» — «а я Джульетта — не забудь меня, говнюк!»

Чем дольше он об этом думал, тем меньше был уверен в том, что среди произнесенных ею звуков присутствовал звук «у». То же самое касалось «л», и только звук «ж» не вызывал сомнений.

Могла она, к примеру, сказать: «Ах ты, жмот»? Но почему? Вот если бы она сначала предложила ему добровольно поделиться барахлишком, а уже после его отказа… Но ведь этого не было.

В конечном счете он так и не нашел ничего созвучного, что соответствовало бы ситуации, не требуя при этом дополнительных объяснений.

Если только ее выкрик не был тривиальным: «Ах ты, жид!»

Глава 2

1

— Какой у вас любимый цвет?
— Моцарт.
— А ваш знак зодиака?
— Забияка?
— Нет, я о звездах.
— Ах о звездах! Тогда Джейн Расселл.[27]

Так началось первое свидание Либора в пору его вдовства.

Свидание! Звучит смешно, если учесть его девяносто без малого и ее едва ли половину, если не треть от этого. Свидание! Но как иначе это назвать?

Имя Джейн Расселл, похоже, ничего ей не говорило. Либор не мог понять, в чем проблема: в его чешском акценте, который он так и не сумел изменить к лучшему, или в его слухе, который с годами изменился к худшему. Ему не приходило

---

[27] Примечания: 27

Расселл Джейн (1921–2011) — американская актриса, считавшаяся «главным секс-символом Голливуда» в 1940-х — начале 1950-х гг., пока ее не сменила в этом качестве Мерилин Монро, вместе с которой Расселл снялась в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953).

в голову, что новые поколения могут попросту забыть Джейн Расселл.

— Р-а-с-с-е-л-л, — произнес он по буквам, — Д-ж-е-й-н. С большой, красивой… — И сделал жест, каким мужчины обычно показывают объемистую женскую грудь, словно взвешивая перед собой два мешка муки.

Девушка — или молодая женщина, почти дитя в сравнении с ним, — отвела взгляд. Сама она, как заметил Либор, не могла похвастаться пышными формами и, должно быть, смутилась от его увесистого жеста. Впрочем, имей она формы, такой жест, возможно, оскорбил бы ее еще больше. Следовало бы учесть это при общении с женщиной, которая *не являлась* твоей женой на протяжении полувека.

Великая грусть овладела им. Как бы он хотел рассказать об этой своей оплошности Малки и посмеяться вместе с ней!

«А потом я…»

«Либор, как ты мог!»

«Так и смог, представь себе…»

Он мысленно увидел, как она прикрывает рукой рот (подаренные им перстни на ее пальцах, ее полные губы, колыхание ее темных волос), и мучительно захотел, чтобы она была рядом или

чтобы все скорее прекратилось: это свидание, его неловкость и его печаль.

Женщину, с которой он встречался, звали Эмили. «Милое имя, — подумал он. — Жаль, что она работает во Всемирной службе». Собственно, ее работа во Всемирной службе Би-би-си и стала причиной, по которой друзья решили их познакомить. Это позволяло не концентрировать внимание на гуляше и клецках (он специально выбрал австро-венгерскую кухню, чтобы заполнять неловкие паузы в разговоре старомодным чревоугодием), а иметь общую тему в лице «Тетушки» — они могли бы обсудить, что изменилось в корпорации со времен Либора, и даже найти общих знакомых, если окажется, что она знает кого-то из детей тех, с кем работал Либор.

— Если только она не сторонница этих гнусных леваков, — предупредил он друзей.

— Либор!

— Я имею право так выражаться, — сказал он. — Я чех. Я видел, что творят эти левые. А на Би-би-си полным-полно гнусных леваков, особенно женщин. И хуже всех левые еврейки. Эта контора — любимое прибежище для всяких изменников и отступников. Половина девиц, с которыми Малки вместе росла, исчезла в недрах

Би-би-си. Они утратили чувство меры и чувство юмора, а она утратила их.

Говоря, что хуже всех левые еврейки, он действительно имел право на подобные утверждения.

К счастью, Эмили не была левой еврейкой. К несчастью, она не была и кем-либо иным. Она просто была в депрессии. Двумя годами ранее ее возлюбленный по имени Хью покончил с собой. Бросился под автобус, когда она ожидала его на остановке. В центре Лондона. Это было еще одной причиной, по которой их познакомили общие друзья. Разумеется, речь не шла о романтических отношениях — они просто надеялись, что эти двое, понесшие утраты, смогут лучше понять и приободрить друг друга. Однако если взять Эмили и ее Хью, то Либор гораздо лучше понимал последнего, сгинувшего под колесами автобуса.

— Какие группы вы любите? — спросила она, не выдержав долгой паузы, заполненной клецками.

Либор не спешил с ответом.

Девушка засмеялась — как бы над собственной глупостью, машинально накручивая вялый локон волос на палец, кончик которого был залеплен лейкопластырем.

— Какие группы вы *любили?* — поправилась

она и тут же покраснела, поняв, что второй вопрос оказался еще нелепее первого.

Либор повернул к ней лучше слышавшее ухо и понимающе кивнул.

— Я, вообще-то, не большой любитель круп, — сказал он.

— Значит, вы против них всех?

Господи, ну почему так сразу обобщать: «противник всех»? Конечно, он был противником кое-чего, но если она хочет услышать про запреты лисьей травли, экспериментов над животными, натуральных мехов или ламп накаливания, то его это все мало трогало. Однако что-то сказать было нужно, хотя бы из вежливости.

— Я противник больших джипов, — сказал он. — Противник буквы «эйч» в словах, где она пишется, но не произносится. Еще я противник болтовни в радиоэфире, социализма, России… но уж никак не натуральных мехов. Если бы вы видели Малки в ее шиншилловой шубе…

Она таращилась на него в изумлении. Либор испугался, что она сейчас заплачет.

— Да нет же, я про группы, — сказала она, изображая руками игру на гитаре и клавишных. — *Группы.*

Эти движения ассоциировались у него с «груп-

пами» не больше, чем с «трупами», но вот «руки» — другое дело. И Либор, вздохнув, показал ей свои руки, покрытые возрастными пигментными пятнами, с дряблыми складками кожи, которая облезала, как кожица с недожаренной курицы, с раздутыми суставами пальцев и желтыми загнутыми ногтями.

Затем он погладил этими руками свою лысину и наклонил голову. Он начал лысеть еще в молодости, и в ту пору залысины были ему к лицу. А теперь он был лыс как колено. Он хотел, чтобы она увидела в его гладком черепе свое отражение и, благодаря этому зеркалу старости, смогла полнее ощутить все то время, которое еще ждет ее впереди.

Но она явно его не поняла. Когда он так наклонял голову к Малки, та обычно полировала «зеркало» своим рукавом. Ее это возбуждало — не сама лысина, а процесс полировки.

Свою квартиру они обставили в стиле бидермейер.[28] Инициатива в этом деле принадлежала Либору (хотя из них двоих как раз Малки проис-

[28] Примечания: 28

Художественный стиль, сложившийся в Германии и Австрии после 1815 г. и распространенный в этих и ряде других стран Европы в первой половине XIX в. В начале XX в. термин «бидермейер» приобрел негативный оттенок как синоним «мещанской пошлости».

ходила из семьи с «бидермейерскими традициями»), а она вышучивала его мелкобуржуазные замашки. «Твоя лысина напоминает мне наш секретер, — говорила Малки. — Он так же начинает блестеть, когда его полируешь».

Его веселило сравнение с предметом мебели. «Ты можешь пользоваться моими выдвижными ящиками в любое время», — отвечал он. А она смеялась и хлопала его по макушке. Под старость они стали употреблять выражения покрепче, таким образом «защищаясь от пафоса».

— Извините, — сказал он девушке, складывая свою салфетку, — я допустил бестактность.

И он жестом подозвал официанта, прежде чем вспомнил о хороших манерах.

— Вы ведь не хотите десерт, Эмили? — спросил он с опозданием, довольный хотя бы тем, что не забыл ее имя.

Она отрицательно покачала головой.

Он заплатил по счету.

Оба испытали большое облегчение, расставаясь.

2

— Я не против приятной компании, но заводить новые знакомства мне уже не по силам, — сказал

он Треславу по телефону.

Этот разговор состоялся через неделю после того совместного ужина. Треслав не сказал Либору о ночном нападении. Зачем его тревожить? Зачем внушать опасения (ведь это случилось недалеко от его дома)?

Впрочем, Либор был не из пугливых. Треслав искренне восхищался его отвагой — не всякий сможет вот так запросто пойти на свидание с незнакомой женщиной. Он представил себе Либора — элегантного, как Дэвид Найвен,[29] в белой водолазке под синим блейзером с металлическими пуговицами. Большинство мужчин его возраста носили твидовые пиджаки болезненно-тусклой расцветки и слишком короткие брюки. Последняя деталь особенно удивляла и беспокоила Треслава. Обычно к старости люди уменьшаются в росте, и в то же самое время их брюки становятся им слишком коротки. Чем объяснить такой парадокс?

Но к Либору это не имело отношения. Во всяком случае, не тогда, когда он встречался с друзьями или с женщиной. Только голос в телефонной трубке соответствовал его истинному возрасту.

---

[29] Примечания: 29

Найвен Дэвид (1910–1983) — британский киноактер, часто игравший роли аристократов.

Телефон отфильтровывал все, кроме собственно голоса, — жесты, мимику, блеск в глазах, — и оставался только звук, шуршащий, как рваная обертка из папиросной бумаги. Разговаривая с Либором по телефону, Треслав старался воссоздать в воображении его привычный, подтянутого-леватый облик, но звук все равно действовал на него угнетающе. Это звучал голос мертвеца.

— Наверняка все прошло совсем не так плохо, как ты описываешь, — сказал он Либору.

— Ты этого не видел и не можешь судить. Помимо всего прочего, это было неприлично.

— Что такого неприличного ты сделал?

— Точнее сказать, это было *неправильно.*

— А что ты сделал неправильного?

— Неправильно было соглашаться на эту встречу. Меня втянули в это обманным путем. Я не собираюсь быть с другой женщиной. Я вообще не могу смотреть на других женщин, при этом не сравнивая их с Малки.

При жизни Малки он носил ее фотокарточку в своем бумажнике. Теперь, после ее смерти, это фото было заставкой в его мобильнике. Либор редко им пользовался по прямому назначению, плохо различая кнопки, но то и дело поглядывал на заставку, в том числе посреди беседы. Ее образ

всегда был с ним благодаря современной технике. И благодаря Финклеру, который сделал ему эту настройку.

Либор показывал телефонное фото Треславу; Малки на нем была молодой, как в самом начале их знакомства. Ее взгляд был веселым, озорным, любящим и притом слегка затуманенным, как будто она смотрела сквозь дымку — если только это не была дымка перед взором Треслава.

Не исключено, что и во время встречи с той женщиной, когда она задавала вопросы про знак зодиака и любимые группы, Либор украдкой поглядывал на экран телефона, пряча его под столом.

— Должно быть, она с тобой неплохо развлеклась, — сказал Треслав.

— Ничего подобного, можешь мне поверить. Я потом послал ей букет цветов в качестве извинения.

— Но, Либор, она подумает, что ты хочешь продолжить знакомство.

— Чушь! Вы, англичане, при виде цветочка сразу думаете о предложении руки. Но она так не подумает. Я приложил к букету записку.

— Надеюсь, не грубую.

— Конечно нет. Я просто хотел, чтобы она уви-

дела по почерку, как дрожат мои старые руки.

— Она может вообразить, что это дрожь от любовного волнения.

— Навряд ли. Я намекнул ей, что я импотент.

— Так вы с ней дошли до интимных тем?

— Я сказал это как раз для того, чтобы предотвратить интимность. И потом, я же не говорил, что это *она* сделала меня импотентом.

Треслав был смущен разговором на тему потенции. И не только потому, что недавно его мужественность жестоко пострадала в результате нападения женщины. Он был воспитан не так, как, видимо, были воспитаны финклеры, могущие свободно говорить о своих сексуальных проблемах людям, с которыми они не занимались сексом.

— И все же… — начал он.

Но Либор не почувствовал его смущения и продолжил:

— На самом деле я не импотент, хотя одно время им был. С подачи Малки. Я тебе рассказывал про ее знакомство с Горовицем?

Треслав озадачился: к чему он клонит?

— Не припоминаю, — сказал он.

— Ну так вот, она встречалась с ним дважды, сначала в Лондоне, а потом в Нью-Йорке, в Кар-

неги-холле. После концерта он пригласил ее за кулисы. «Спасибо вам, маэстро», — сказала она, а он поцеловал ей руку. Она говорила, что его собственные руки были холодны как лед. Я из-за этого ужасно ревновал.

— Из-за холодных рук?

— Нет, из-за того, что она назвала его «маэстро». Тебе этот повод не кажется странным?

Треслав подумал над этим.

— Нет, — сказал он, — не кажется. Мужчине вряд ли понравится, когда его любимая женщина называет другого мужчину «маэстро».

— А с другой стороны, почему бы и нет? Ведь он на самом деле маэстро. Смешно. В этом я с ним не соперничал, поскольку я никакой не маэстро. Но после того случая я три месяца не мог сделать *это.* Член не хотел вставать, и все тут!

— М-да, забавно, — промямлил Треслав.

Временами даже этот пожилой и почтенный финклер заставлял его чувствовать себя монахом-бенедиктинцем.

— Такова сила слова, — продолжил Либор. — Она всего лишь назвала его «маэстро», и мой дружок безвольно поник головкой… Послушай, может, встретимся сегодня, поужинаем где-нибудь?

Второй раз за неделю! Еще не так давно они встречались не чаще двух раз в год, и даже после того, как его друзья овдовели, эти встречи происходили от силы дважды в месяц. Неужели у Либора все настолько плохо?

— Сегодня не получится, есть кое-какие дела, — сказал Треслав.

У него не хватило духу назвать истинную причину отказа: не сошедшие синяки под глазами, вероятный перелом носа и еще более вероятное сотрясение мозга, судя по остаточному головокружению.

— Какие именно дела?

Преклонный возраст дает право задавать такие вопросы.

— *Кое-какие дела,* Либор.

— Я тебя знаю. Ты не сказал бы «кое-какие дела», если бы у тебя действительно были хоть какие-то дела. Ты всегда говоришь о своих делах конкретно. Что-то с тобой не так.

— Ты прав, у меня нет никаких дел. В том-то и проблема.

— Тогда идем ужинать.

— Не могу, Либор, извини. *Я нуждаюсь в одиночестве.*

Последние слова были названием самой извест-

ной из написанных Либором книг — биографии Греты Гарбо, с которой, по слухам, у Либора был недолгий роман. Однажды Треслав спросил его насчет этих слухов.

— С Гарбо?! — воскликнул Либор. — Это невозможно. Когда мы встретились, ей было уже под шестьдесят. И у нее был слишком немецкий вид.

— И что?

— А то, что женщина шестидесяти лет была слишком стара для меня. Да и сейчас для меня такие слишком стары.

— Я не про то, а про немецкий вид. Что это значит?

— Джулиан, я заглянул ей в глаза, вот как сейчас в твои, и увидел истинную тевтонку. Это было все равно что смотреть на ледяные пустыни Севера.

— Но у тебя на родине тоже не жарко.

— Прага — очень теплый город. Холодными бывают только тротуары или воды Влтавы.

— И все равно не вижу тут проблемы. Это ж не кто-нибудь — сама Грета Гарбо!

— Проблем и не было, так как я не думал заводить с ней роман. И она не думала заводить его со мной.

— Ты не мог даже думать о том, чтобы завести роман с немкой?

— Думать — мог, завести — нет.

— Даже с Марлен Дитрих?

— Особенно с ней.

— Почему «особенно»?

Либор помедлил с ответом, разглядывая лицо своего бывшего ученика.

— Некоторые вещи недопустимы, — сказал он. — И потом, я был влюблен в Малки.

Треслав взял это себе на заметку. «Некоторые вещи недопустимы». Сможет ли он когда-нибудь разобраться в том, какие вещи финклеры считают допустимыми, а какие нет? В одних случаях это бестактность при обсуждении самых интимных вещей, в других — чрезмерная щепетильность в этноэротических вопросах.

На сей раз, в телефонном разговоре, Либор проигнорировал намек на свою книгу.

— Однажды ты пожалеешь о том, что захотел одиночества, Джулиан, но тогда у тебя уже не будет выбора.

— Я и сейчас об этом жалею.

— Тогда составь мне компанию. Должен же хоть кто-нибудь поинтересоваться моим зодиаком.

— Либор, меня очень интересует твой зодиак. Но сегодня я не могу встретиться.

Он понимал, что нельзя вот так отказывать в

поддержке одинокому бессильному старику.

Но сейчас его мучило собственное бессилие.

3

Финклер, обычно спавший без снов, увидел сон.

Ему приснилось, что он бьет под дых своего отца. Его мать плачет и просит сына остановиться, но отец только смеется и кричит: «Бей сильнее!» Затем он обращается к жене на смеси идиша с английским: «Los the boy allein», что значит: «Оставь мальчика в покое».

В жизни, когда отец обращался к нему, мешая слова из идиша и английского, Финклер-младший демонстративно отворачивался. Он не мог понять, зачем отец — учившийся в английском университете и превосходно владеющий языком этой страны, человек образованный и глубоко религиозный — устраивает этот дешевый спектакль у себя в аптеке, размахивая руками и говоря на ломаном языке, словно какой-нибудь местечковый олух. Впрочем, клиентам нравились эти проявления еврейской эксцентричности, ну а Сэм в такие минуты спешил удалиться.

Однако во сне он никуда не уходил. Во сне он продолжал изо всех сил бить отца кулаком в

живот.

Он пробудился, когда отцовский живот лопнул. Увидев раковую опухоль, выплывающую наружу в потоке крови, он не смог дальше смотреть этот сон.

Он тоже был удивлен звонком Либора. Как и Треслава, его обеспокоил тот факт, что Либор нуждался в дружеской компании уже второй раз на неделе. Но Финклер оказался более сговорчивым, чем его школьный товарищ, возможно, потому, что сам стал чаще нуждаться в том же.

— Приезжай, — сказал он. — Я сделаю китайский заказ.

— Ты закажешь китайца?

— Очень смешно, Либор. Жду тебя к восьми.

— Ты уверен, что я не помешаю?

— Как философ, я не уверен ни в чем. Но ты все же попробуй, вдруг не помешаешь? Только, пожалуйста, без синедриона.

Упоминанием синедриона — совета мудрецов Древней Иудеи — Финклер дал понять, что нынче не настроен спорить об Израиле. Только не с Либором.

— Ни словом не заикнусь, — пообещал Либор. — При условии, что там не будет какого-нибудь твоего нацистского приятеля, который попы-

тается стянуть моего цыпленка в соевом соусе. Ты не забудешь о том, что я люблю цыпленка в соевом соусе?

— У меня нет нацистских приятелей, Либор.

— Ну, как ты их там называешь…

Финклер вздохнул:

— Мы будем только вдвоем. Приезжай к восьми. Я закажу цыпленка с орехами кешью.

— Нет, в соевом соусе!

— Ладно, как скажешь.

Он накрыл стол на двоих, дополнив обычную сервировку антикварными роговыми палочками для еды, — это был один из его последних подарков жене, которым в их доме ни разу не пользовались. Сейчас это было рискованно, но он рискнул.

— Они прелестны, — сказал Либор про палочки с нежностью, как вдовец вдовцу.

— Надо их использовать по назначению или с ними расстаться, — пояснил Финклер. — Нет смысла устраивать тут мавзолей неиспользуемых вещей. Тайлер сказала бы: «Пусти их в дело».

— С платьями это будет посложнее, — заметил Либор.

Финклер вымученно усмехнулся.

— А как быть с платьями, которые женщина ни разу не носила? — продолжил Либор. — Иные платья хранят память о форме и тепле ее тела, о ее запахе, и потому ты не решаешься удалить их из гардероба. Но неношеные платья — как быть с ними?

— Разве это не очевидно? — сказал Финклер. — Глядя на платье, которое Малки ни разу не носила, ты можешь представлять ее в нем такой же свежей и прекрасной.

Либора его слова не убедили.

— Это для меня уже пройденный этап.

— Мы все вольны обращаться к прошлому.

— Да, знаю. Я ничем другим и не занимаюсь. После ухода Малки я чувствую себя так, будто моя голова все время повернута в обратную сторону. Говоря о пройденном этапе, я имел в виду твою идею использования неношеных платьев. Таких платьев осталось много, приготовленных Малки для разных особых случаев, которые так и не подвернулись, — причем некоторые еще с ценниками, хоть сейчас неси обратно в магазин. Но теперь, глядя на них, я вижу не прошлое — я вижу будущее, украденное у Малки. Я вижу ту жизнь, которая еще могла бы у нее быть, и другую Малки, какой она так и не стала.

Финклер слушал его и удивлялся. Малки умерла в восемьдесят лет. Как много еще жизни мог вообразить для нее Либор? Тайлер не дожила и до пятидесяти. Так почему он не может вообразить для нее того же? Он не считал себя завистливым (чему завидовать, когда все уже сказано и сделано?), однако сейчас он позавидовал — не тому, что жена Либора прожила намного дольше его жены, а масштабам его горя. В отличие от Либора он не мог охватить своим горем возможное будущее. Он тосковал не по той Тайлер, которая *могла бы быть*, а только по той, которая *была.*

Он сравнил себя, как супруга, с этим стариком. Полушутя-полусерьезно Либор всегда называл себя «идеальным мужем», устоявшим перед чарами самых красивых женщин Голливуда.

— Я привлекал их не внешними данными, сами понимаете, а тем, что умел их рассмешить. Чем красивее женщина, тем больше она нуждается в обычном беззаботном смехе. Вот почему евреи так преуспевают на этом поприще. Но мне было не трудно устоять перед ними, потому что у меня была Малки, которая превосходила красотой их всех. И которая умела рассмешить *меня.*

Кто знает, как оно было на самом деле?

Либор рассказывал о Мерилин Монро, которая,

отчаянно нуждаясь в беззаботном смехе и не имея ни малейшего представления о часовых поясах, звонила ему в Лондон посреди ночи, — все голливудские красавицы в рассказах Либора не дружили со временем. Трубку брала Малки, потому что телефон стоял на тумбочке с ее стороны кровати. «Это тебя — Мерилин», — бормотала она сонным голосом, будя мужа. Опять эта чертова Мерилин.

Малки никогда не ставила под сомнение его супружескую верность. Так, может, эта верность — по словам Либора, ничуть его не тяготившая, а, напротив, доставлявшая ему истинное наслаждение — и была причиной того, что он не испытывал раскаяния после смерти жены? Для Финклера мысли о покойной супруге всегда сопровождались чувством вины — той вины, что навсегда осталась в прошлом. А ни в чем не повинный — если верить ему на слово — Либор был способен скорбеть о будущем, которое еще могло бы состояться у них с Малки, несмотря на их возраст. У человека в любом возрасте есть еще какое-то несостоявшееся будущее, покуда этот человек жив. А когда ты счастлив, ты не устаешь от жизни, и, сколько бы ни было у тебя этого счастья в прошлом, всегда есть надежда на еще

что-то впереди. Финклер затруднялся решить, какая тоска более достойна уважения (если она вообще его достойна) — тоска по счастью, которого было полно, но могло бы быть еще больше, или тоска по счастью, которого не было совсем. Но в любом случае вариант Либора казался более привлекательным.

Возможно, так казалось потому, что Либору больше повезло с женой. Финклер пытался отогнать эту мысль, но она упорно возвращалась: в идеале верность должна быть взаимной, а он, не соблюдая этого правила со своей стороны, подозревал, что Тайлер платит ему той же монетой. И она не сделала ничего, чтобы рассеять его сомнения. Возможно, он не мог вообразить будущую жизнь с ней потому, что не был уверен в будущем их брака? И чья в этом была вина?

За ужином он спросил Либора:

— Тебя когда-нибудь беспокоит мысль: а все ли ты делаешь правильно?

— Оплакивая Малки?

— Нет. То есть да, и это тоже, но я говорю обо всем вообще. Ты когда-нибудь, проснувшись утром, спрашивал себя: «А мог ли я прожить жизнь лучше, чем это у меня получилось?» Не в смысле добродетельности. Или не только в этом

смысле. Сумел ли ты использовать все возможности, какие тебе предоставлялись?

— Меньше всего ожидал услышать такой вопрос от *тебя*, — сказал Либор. — Помнится, ты был способным учеником, но способных детей много, и в ту пору я не мог предвидеть, что ты добьешься таких успехов.

— Значит, по-твоему, я прыгнул выше головы?

— Вовсе нет, вовсе нет. Но, на мой взгляд, ты использовал свои возможности лучше, чем большинство других людей. Ты теперь на виду и на слуху…

Финклер был польщен, но жестом отклонил комплимент. Что толку во всех этих видах и слухах? И покраснел он, может статься, не от удовольствия, а от смущения. «На виду и на слуху» — что за хрень, в самом деле! Интересно, сколько людей упоминают его в этот самый момент? Сколько чужих глаз и ушей должно быть задействовано, чтобы ты считался находящимся «на виду и на слуху»?

— А ты представь, каково Джулиану, — сказал Либор. — Вот кому жизнь принесла одни разочарования.

Финклер послушно представил себе незавидную участь Джулиана, и красные пятна на его

щеках, сначала бывшие размером с десятипенсовую монету, разгорелись, как два солнца.

— Да, Джулиан. Но он все время чего-то ждет, ведь так? А я никогда ничего не ждал. Я брал, что мне нужно. У меня есть эта еврейская хватка. Как и у тебя. Нужно действовать быстро, чтобы не упустить момент. Но это означает только то, что я уже добился всего, чего мог, а время Джулиана еще, возможно, придет.

— Тебя это страшит?

— Почему это должно меня страшить?

— Ты боишься, что в конечном счете он может тебя обойти. Вы ведь с детства были близкими друзьями, а близкие друзья всегда еще и соперники. Отсюда страх быть обойденным на финишной прямой, и этот страх не оставляет друзей до самой смерти кого-нибудь из них.

— А тебя что страшит, Либор?

— Э… со мной уже все кончено. Мои друзья-соперники давно сошли в могилу.

— Но сейчас не похоже на то, чтобы Джулиан дышал мне в затылок. Как ты считаешь?

Либор взглянул на него внимательно, как старый красноглазый ворон, прикидывающий, сможет ли он одним махом заглотить этот кусок.

— Ты имеешь в виду, что у него сейчас мало

шансов оказаться на виду и на слуху? Это верно. Но есть и другие мерила успеха.

— Я в этом не сомневаюсь.

Он сделал паузу, обдумывая слова Либора. Другие мерила, другие мерила… Но ничего такого не приходило в голову.

Либор начал беспокоиться, не зашел ли он слишком далеко. Он припомнил, как сам в возрасте Финклера был болезненно чувствителен к обсуждениям своих и чужих успехов. Посему он решил сменить тему и снова начал разглядывать китайские палочки, которые Финклер подарил жене.

— Вот действительно прекрасная работа, — сказал он.

— Она собиралась их коллекционировать, но так и не собралась. Она часто говорила о том, что хорошо бы создать какую-нибудь коллекцию, но дальше слов дело не заходило. «А какой в этом смысл?» — добавляла она чуть погодя. Я воспринимал это как личное оскорбление: как будто наша семейная жизнь не подходила для спокойного коллекционирования разных вещей. Как ты думаешь, она могла предчувствовать, что с ней случится? Могла она этого *хотеть?*

Либор отвел взгляд. Внезапно он пожалел, что

пришел сюда. Он не мог взваливать на себя бремя чужого горя, ибо с трудом нес свое.

— Нам не дано знать такие вещи, — сказал он. — Мы можем знать только собственные чувства. А когда ты остаешься в одиночестве, только твои собственные чувства имеют значение. Давай лучше поговорим об Изр-р-р-раи… — Он добавил четвертое «р», чтобы вызвать у друга раздражение и тем самым защитить его от пафоса.

— Либор, ты же обещал!

— Хорошо, тогда об антисемитах. Или я таки обещал не обсуждать и твоих приятелей-антисемитов?

Произнесенная с пародийно-еврейскими интонациями, эта фраза должна была дополнительно рассердить Финклера. Либор знал, что он ненавидит такие вещи. Финклер называл это «mauscheln»,[30] подразумевая тайный жаргон, который нервировал добропорядочных немецких евреев в ту пору, когда они старались не выпячивать свою еврейскость, чтобы не раздражать добропорядочных немцев. К той же категории он

---

[30] Примечания: 30

Жаргон еврейской криминальной среды, возникший в XVII в. на основе идиша с добавлениями из других языков. Слово «mauscheln», образованное от имени Мойша (Моисей), вошло в немецкий язык в значении «надувать, жульничать».

относил и эксцентричные выходки своего отца.

— У меня нет приятелей-антисемитов, — сказал Финклер.

Либор скривил лицо до такой степени, что оно стало напоминать средневековую маску дьявола. Не хватало только рогов.

— Я говорю об этих евреях-антисемитах.

— Ну вот, пошло-поехало. Всякий еврей, который не разделяет твоих убеждений, сразу становится антисемитом. Это глупо, Либор, выискивать антисемитов среди евреев. Не просто глупо — это безнравственно!

— Не будь таким *kochedik*,[31] я ведь говорю правду. В конце концов, именно евреи изобрели антисемитизм.

— Знаю-знаю, «еврейская ненависть к себе» и так далее…

— А по-твоему, это не так? Что скажешь о святом Павле, который не успокоился со своим еврейским зудом, пока не настроил против евреев полмира?

— Я скажу: «Спасибо, Павел, за то, что расширил рамки дискуссии».

— Ты называешь это расширением? Вспомни:

---

[31] Примечания: 31
Раздражительный *(идиш).*

«Тесны врата…»[32]

— Это сказал Иисус, а не Павел.

— Иисусу приписали эти слова евреи, уже основательно обработанные Павлом. Он не смог взять власть над нами во плоти и тогда воззвал к душам. Ты на свой манер делаешь то же самое. Ты стыдишься своей еврейской плоти. Это *rachmones*[33] к самому себе. Если ты еврей, это еще не значит, что ты чудовище.

— А я и не считаю себя чудовищем. Я даже тебя не считаю чудовищем. Я стыжусь еврейских — нет, израйильских деяний.

— Ну вот, пошло-поехало.

— Можно подумать, одним только евреям свойственно критиковать деяния собственной нации.

— Нет, конечно, но только евреям свойственно этого стыдиться. Вот такой у нас *shtick*.[34] Никто не умеет делать это лучше, чем мы. Уж мы-то хорошо изучили свои слабые места. Мы долго в

---

[32] Примечания: 32

«Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7: 14).

[33] Примечания: 33

Жалость *(идиш).*

[34] Примечания: 34

Здесь: заскок, пунктик *(идиш).*

этом упражнялись и точно знаем, в какое место больнее всего бить.

— Значит, ты все-таки признаешь наличие слабых мест?

И старый спор пошел по новому кругу.

Позже, попрощавшись с Либором, Финклер вошел в спальню и открыл платяной шкаф покойной жены. Он ничего оттуда не убирал. Ряды платьев на вешалках были повествованием об их совместной жизни — он вспомнил, как она, тонкая, изящная и жадная до светских развлечений, появлялась на приемах и головы мужчин тотчас поворачивались в их сторону, а он гордился женой, воспринимая ее как некое остро отточенное оружие у себя под боком.

Он попытался найти в гардеробе что-нибудь ни разу ею не ношенное, чтобы это платье разбило ему сердце, заставив думать о той жизни, которую она не успела прожить. Но ничего такого он не нашел. Когда Тайлер покупала новое платье, она начинала его носить, не откладывая на потом. Если ей случалось в один день купить сразу три платья, она в тот же день успевала обновить все три, пусть даже не на людях, а просто так, занимаясь домашними делами. А зачем откладывать, чего ждать?

Он вдохнул ее запах, закрыл шкаф, лег на ее сторону постели и заплакал.

Однако слезы оказались не такими, каких он желал. Они не походили на слезы Либора. Финклер не мог забыться в этих слезах.

Полежав и поплакав минут десять, он перебрался к компьютеру и начал играть в онлайн-покер. Эта игра помогала ему сделать то, что не удавалось слезам, — она помогала забыться.

Особенно если он оказывался в выигрыше.

4

В сновидении Треслава к нему бегом приближается какая-то девчонка. Быстро наклонившись, она прямо на бегу снимает туфли. На ней школьная форма: плиссированная юбка, белая блузка, голубой джемпер и галстук с распущенным узлом. Туфли ей мешают. Сняв их и оставшись в серых форменных носках, она бежит быстрее и свободнее.

Это аналитический сон. Здесь же, во сне, Треслав пытается разгадать его значение и понять, почему это ему снится. Что его так волнует в этой девчонке — ее уязвимость или, напротив, ее решимость и целеустремленность? Может, он беспокоится, не разобьет ли она ноги, бегая по

мостовой без туфель? Или его интересует причина ее спешки? Или он ревнует, потому что она бежит вовсе не к нему, а мимо него, к кому-то другому? Хочет ли он, чтобы девчонка бежала именно к нему?

Этот сон он видел много раз на протяжении всей жизни и сейчас уже не в состоянии найти его истоки в каком-то реальном событии, если такое событие вообще имело место. Но сон этот стал частью его бытия, и он всегда рад его повторению, хотя не пытается специально призвать его, укладываясь вечером в постель, а утром плохо помнит его подробности. Все вопросы, вызываемые этим сновидением, он задает себе только в том же сне. Правда, иной раз наяву он испытывает чувство смутного узнавания при виде бегущей или возящейся со шнурками школьницы, словно уже встречал ее где-то в другом месте.

Не исключено, что то же самое снилось ему и в ночь после ограбления. Он спал достаточно долго, чтобы просмотреть этот сон два раза подряд.

Утром он обычно просыпался с горьким ощущением утраты. Он не мог вспомнить ни единого случая, когда проснулся бы с радостным чувством обретения. Если в его жизни накануне не происходило ничего огорчительного, он обра-

щался к новостям и там всегда находил повод для расстройства. Разбился самолет — не важно где. Оскандалился известный человек — не важно как. Проиграла сборная Англии по крикету — не важно кому. Учитывая, что он никогда не интересовался спортом и ни за кого не болел, оставалось только удивляться, какими окольными путями чувство личной утраты ассоциировалось у него с перипетиями крикетного чемпионата. То же самое было с теннисом, футболом, боксом и даже снукером.[35] Когда славный малый из Южного Лондона по имени Джимми Уайт,[36] ведя семь фреймов при восьми остававшихся, умудрился проиграть матч, Треслав отправился в постель, убитый горем, и поутру проснулся сломленным человеком. Какое дело было Треславу до снукера? Ровным счетом никакого. Болел ли он за Джимми Уайта, желая ему победы? Ничуть. Однако в позорной капитуляции Уайта перед богами удачи Треслав видел сходство со своей жизненной

---

[35] Примечания: 35

Разновидность бильярдной игры, особенно популярная в Великобритании. Матч состоит из нескольких партий (фреймов), количество которых заранее оговаривается в каждом случае.

[36] Примечания: 36

Уайт Джеймс Уоррен (р. 1962) — профессиональный игрок в снукер, шесть раз выходивший в финал мировых чемпионатов и каждый раз проигрывавший финальный матч.

ситуацией. Не исключено, что тот же Уайт на следующий день после своего поражения как ни в чем не бывало шутил и смеялся с приятелями, ставил всем выпивку и в ус не дул, своей реакцией на случившееся разительно отличаясь от Треслава.

В свете всего вышеизложенного более чем странным оказалось утро после унизительного ограбления, ибо проснулся он в непривычно бодром, чуть ли не веселом расположении духа. Неужели именно этого так не хватало в его жизни — настоящей, осязаемой утраты, обосновывающей его дотоле беспричинные страдания; настоящего изъятия его собственности вместо мучительно-неопределенного ощущения какой-то потери? «Объективный коррелят» — если пользоваться дурацким термином Т. С. Элиота из его статьи о Гамлете[37] (Треслав получил оценку «хорошо» за курсовую по Элиоту, повышенную до «отлично», когда он попросил разъяснений), как будто Гамлета, обзывающего себя «дрянью»

[37] Примечания: 37

Речь идет об очерке англо-американского поэта и драматурга Т. С. Элиота (1888–1965) «Гамлет и его проблемы» (1919), в котором автор вводит понятие «объективный коррелят» — набор предметов, ситуаций или цепь событий, которые создают «формулу» конкретной эмоции, так что эту эмоцию можно вызвать «извне» сочетанием данных элементов.

и «жалким рабом»,[38] удовлетворило бы простое объяснение его эмоций тем фактом, что некто накануне похитил у него нечто ценное.

Школьниками Треслав и Финклер постоянно цитировали «Гамлета». Это было единственное литературное произведение, которое нравилось им обоим. Финклер вообще не жаловал художественную литературу, полагая ее недостаточно восприимчивой к доводам здравого смысла и малоценной в практическом плане. Но к «Гамлету» он был явно неравнодушен — Треслав безуспешно гадал о причинах этого, не зная, что Финклер в ту пору замышлял убить своего отца. Треслав тоже любил «Гамлета», но не потому, что замышлял убийство своих родителей, а из-за Офелии, божественной покровительницы всех женщин, трагически канувших в воду. Столь разные мотивации не мешали им по любому случаю ссылаться на эту пьесу.

— И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится твоей мудрости, о Сэмюэл,[39] — к примеру, говорил Треслав, когда Финклер отказывался идти с ним на гулянку, не видя смысла в том, чтобы

---

[38] Примечания: 38
Из монолога Гамлета во 2-й сцене II акта (пер. М. Лозинского).

[39] Примечания: 39
Искаж. цитата из 5-й сцены I акта (пер. М. Лозинского).

упиваться до чертиков. — Идем, это будет весело.

Чтобы не ударить в грязь лицом, Финклер был вынужден обращаться к тому же источнику, заявляя, что «в последнее время, сам не зная почему, утратил всю свою веселость».[40] После этого, как правило, они вместе отправлялись на гулянку.

Сейчас, многие годы спустя, Треслав сильно сомневался, что у него самого сохранилась хоть толика природной веселости, подлежащей восстановлению. Он уже и не помнил, когда в последний раз весело проводил время. Да и сейчас он был не то чтобы весел — просто он ощущал в себе некую бодрость, и это было ему в новинку. Логичным было бы ожидать, что он все утро безвольно проваляется в постели, жалея и проклиная себя. Бедняжка, ограбленный женщиной! Для человека, вся жизнь которого была чередой постыдных нелепостей, это послужило бы идеальным завершающим бесчестьем. Однако он не чувствовал ничего подобного.

И это даже несмотря на неприятные физические последствия нападения: разбитые локти и колени, фингалы под глазами, боль при попытках дышать носом.

---

[40] Примечания: 40

Искаж. цитата из 2-й сцены II акта (пер. М. Лозинского).

Он встал, подошел к окну, раздвинул шторы и тут же снова их закрыл. Смотреть было не на что. Он жил в маленькой квартире в той части Лондона, которую именуют Хэмпстедом те, кому не по средствам поселиться в настоящем Хэмпстеде,[41] поскольку без вида на Хэмпстедский парк это никакой не Хэмпстед. У Финклера из окон открывался вид на Хэмпстедский парк. Правда, Финклеру этот самый парк был до лампочки; он купил здесь дом просто потому, что мог себе это позволить. Треслав снова начал сползать к тоскливому ощущению утраты, но вовремя остановился. Вид на парк — это невеликая важность. Жена Финклера любила смотреть на парк, по-разному выглядевший из разных окон их дома, — и что хорошего дали ей все эти виды?

Во время завтрака у него открылось небольшое кровотечение из носа. По утрам он обычно посещал ближайшие магазины, но сейчас не пошел, опасаясь, что его увидит кто-нибудь из знакомых. Кровотечение из носа — как и личное горе, по словам Либора, — желательно переносить в домашней обстановке, а не на людях.

---

[41] Примечания: 41

Жилой район к северу от центра Лондона, по соседству с парком Хэмпстед-Хит. Этот район славится самыми высокими ценами на недвижимость в Великобритании.

Он вспомнил о том, что забыл сделать накануне, будучи ошеломлен и выбит из колеи, а именно: заблокировать похищенные кредитки и мобильник. Если ограбившая его дамочка всю ночь проболтала по его телефону с Буэнос-Айресом или упорхнула в тот же Айрес ночным авиарейсом, расплатившись его кредиткой, а потом все утро названивала оттуда в Лондон — он был уже банкротом. Но, странное дело, его счета и телефонный баланс оказались нетронутыми. Возможно, она слишком долго раздумывала, куда бы упорхнуть. Или целью ночного грабежа была вовсе не материальная выгода.

Если она просто хотела осложнить ему жизнь, ее метод оказался на редкость эффективным. Первую половину дня он просидел на домашнем телефоне, дожидаясь, когда невозмутимые автоответчики и невразумительные живые голоса сменятся кем-нибудь, говорящим на понятном ему языке, а потом долго доказывая, что он — это он, а не кто-то другой (хотя с какой стати кому-то другому беспокоиться из-за пропажи его кредиток)? Еще больше мучений вышло с мобильником: оказалось, что ему теперь нужно заводить новый номер вместо старого, который он только-только с таким трудом запомнил. Но

можно обойтись и без замены номера. Все зависело от его тарифного плана. Какой у него план? Он вообще не знал, что у него есть план.

И за все это время он ни разу не вспылил и не воззвал к кому-нибудь вышестоящему. Если требовалось доказать, что реальные утраты, в отличие от воображаемых, благотворно влияют на его нервную систему, доказательства были налицо. Он ни разу не пригрозил пожаловаться куда следует и ни разу не спросил фамилию собеседника с обещанием добиться его увольнения по несоответствию.

Затем он проверил почтовый ящик: никаких поступлений. По утрам у него далеко не всегда хватало духу вскрыть конверт и прочесть письмо, но сейчас он чувствовал себя эмоционально готовым к такому испытанию, хотя и рад был обнаружить, что вскрывать нечего. Отсутствие писем означало отсутствие заявок на его услуги в качестве двойника — он принципиально принимал заявки только по почте. Телефонные предложения «явиться туда-то под видом того-то» им неизменно отклонялись, даже если они исходили напрямую от его агентов: слишком велик был шанс остаться с носом. Деловое письмо предполагало деловой подход, а в своем деле он

был добросовестным профессионалом, никогда не отказываясь от «серьезных» предложений, поскольку первый же такой отказ мог положить конец его бизнесу. Конкурентов было полно — Лондон кишел двойниками знаменитостей. Здесь каждый на кого-нибудь походил. Только с глаз долой — и сразу вон из сердца работодателей. Как и на Би-би-си. Но сегодня ему пришлось бы отказаться, учитывая непрезентабельный вид. Разве что закажут Роберта Де Ниро в образе «Бешеного быка».[42]

Кроме того, ему нужно было время, чтобы в спокойной обстановке подумать о некоторых вещах. Например: почему на него напали? Не только в смысле, что было целью нападавшей, — хотя неиспользованные ею кредитки и мобильник действительно представляли загадку, — а прежде всего в смысле: почему именно он? Рассматривать этот вопрос можно было как в экзистенциальной («Почему я, о господи?»), так и в сугубо практической («Почему я, а не кто-то другой?») плоскости.

---

[42] Примечания: 42

Американский фильм (1980; режиссер М. Скорсезе), в котором Роберт Де Ниро играет профессионального боксера и немалую часть экранного времени проводит с разбитой физиономией (премия «Оскар» за лучшую мужскую роль).

Не потому ли, что он казался легкой добычей — несуразный тип неопределенной профессии, вряд ли способный дать отпор? Или он подвернулся случайно, когда эта женщина — безумная, пьяная либо в наркотическом угаре — проходила мимо витрины Гивье? Или он напомнил ей кого-то, на кого она была ужасно зла?

А может, она узнала самого Треслава и осуществила давно лелеемую месть? Но кто из женщин мог так сильно его ненавидеть?

Мысленно он прошелся по списку. Разочарованные, обиженные (он не знал, чем их обидел, но они выглядели таковыми), расстроенные, оскорбленные (опять же непонятно каким образом), неудовлетворенные, несчастные. Впрочем, несчастными были все они. Они были несчастны к моменту знакомства с ним и становились еще более несчастными к моменту расставания. Как много их, несчастных женщин, в этом мире! Океан женских горестей и страданий.

Но не он был тому причиной, боже упаси!

Он ни разу в жизни не поднял руку на женщину и теперь недоумевал, какой женщине приспичило поднять руку на него?

Ни разу в жизни. Хотя однажды… до этого чуть было не дошло.

Мушиный инцидент.

Это был долгий романтический уик-энд вдвоем с Джоей — с Джоей, чей голос был подобен звуку раздираемого шелка и чья нервная система просвечивала сквозь кожу узором голубоватых линий, как речная сеть в атласе, — три невыносимо долгих дня в Париже, пронизанных чувством голода, ибо им нигде не удавалось поесть. И это в Париже! Нет, конечно, они заходили в разные ресторанчики и даже садились за столик, но, что бы он ни выбирал в меню, ее это не устраивало — из диетических, гигиенических, гуманитарных или просто вздорных соображений, — а ее выбор всякий раз не устраивал его то по причине высокой цены, то из-за дурных манер официанта, а то и просто из-за сложного названия, которое он не хотел читать вслух, чтобы лишний раз не показывать Джое («Хое»), насколько он слаб во французском. Три дня они бродили по Парижу — гастрономической столице мира, — разругавшиеся в пух и прах, голодные и обиженные, а когда в угрюмом молчании вернулись домой, в квартиру Треслава, там повсюду были тысячи дохлых и полудохлых мух — *mouchoirs*, нет, *mouches*. (И как только он вспомнил их название по-французски, притом что *mouches* не значи-

лись ни в одном меню?) Налицо было массовое самоубийство мух; они валялись мертвыми или агонизирующими на кровати, на подоконниках, на столах и даже в домашних туфлях Джои. Она завопила от ужаса. Не исключено, что и он вскрикнул, но если и вскрикнул, то коротко. Она же вопила не переставая — и этот вопль, подобный звуку тысяч раздираемых полотен шелка, мог бы занять почетное место в ряду адских мук. Треслав неоднократно видел в кино, как мужчина выводит женщину из истерики, давая ей пощечину. Но сам исполнил лишь видимость пощечины.

Впрочем, этот застывший на полпути жест был ничуть не лучше полноценной пощечины, а то и хуже, ибо его незавершенность указывала на то, что Треслав действовал сознательно и потом уже не мог сослаться на временное помутнение рассудка, вызванное, среди прочего, голодом.

Он был готов признать, что вид всех этих мух, сдохших, как… собственно говоря, как мухи — *tombant commes des mouches,*[43] — произвел на него не менее тяжкое впечатление и что попытка пощечины предназначалась для успокоения

---

[43] Примечания: 43
Сдохшие, как мухи *(фр.).*

его собственных нервов, так же как и нервов Джои. Но это его не извиняло — мужчина должен контролировать себя даже в непредвиденных ситуациях, а потеря самоконтроля позорит его не меньше, чем распускание рук.

— Бей мух, если тебе так нужно кого-нибудь бить, — завопила Джоя своим раздирающе-шелковым голосом, — но никогда, никогда, никогда, никогда… не смей даже думать о том, чтобы ударить меня!

В какой-то момент Треславу показалось, что эти нескончаемые «никогда» могут превзойти числом дохлых мух.

Он закрыл глаза, пережидая приступ головной боли, а когда открыл их, Джои в квартире не было. Ночь он провел на диванчике в прихожей, а утром, зайдя в спальню, увидел, что агония прекратилась: ни одна из мух не шевельнула и лапкой. Вооружившись веником и совком, он стал собирать павших, наполнив ими мусорное ведро. Едва он с этим покончил, как приехал брат Джои забирать ее вещи.

— А ее туфли с мухами оставь себе, — сказал он Треславу, как будто подозревая его в намеренном заполнении женской обуви мушиными трупами. — Сестра сказала, что дарит их тебе на

память.

Треслав хорошо помнил Джою и был уверен, что она не могла совершить ночное нападение. Ее хрупкий скелет вряд ли выдержал бы немалый вес нападавшей, а тембр ее голоса не мог настолько понизиться. Кроме того, он ощутил бы ее присутствие за несколько кварталов по тонкому звону предельно натянутых нервов.

Не говоря уже о непосредственном контакте с ней, что стало бы гибельным для его рассудка.

Еще был *инцидент с намалеванным лицом.*

Треслав вспомнил его и тут же выбросил из головы. В этот день он был непривычно бодр, но все же не настолько, чтобы вспоминать в деталях *инцидент с намалеванным лицом.*

Просидев дома четыре дня и все еще испытывая болезненные ощущения, он позвонил своему врачу. Он мог себе позволить лечение у частного врача — одна из положительных сторон отсутствия жены как дополнительного финансового бремени, — и прием был назначен на вечер того же дня, а не на следующий месяц в стиле государственных клиник, когда он был бы уже либо совсем здоров, либо совсем мертв. Он обмотал шею шарфом, надвинул шляпу на глаза и, выйдя

из дому, быстро нырнул в проулок. Двадцать лет назад его пользовал Чарльз Латтимор — отец нынешнего доктора Джеральда Латтимора, — скоропостижно скончавшийся в собственном кабинете спустя пару минут после того, как оттуда ушел Треслав. А еще двадцатью годами ранее Джеймс Латтимор, дед нынешнего доктора, погиб в автокатастрофе, возвращаясь от Треслава, которого он лечил на дому. Всякий раз, посещая доктора Джеральда Латтимора, Треслав невольно вспоминал о судьбе докторов Чарльза и Джеймса Латтиморов и ничуть не удивился бы, узнав, что Джеральд Латтимор невольно вспоминает о том же самом.

«Винит ли он меня в случившемся? — думал Треслав. — Или, того хуже, страшится моих визитов, которые могут привести его к повторению участи отца и деда? Врачи читают судьбу по генам, как гадалки — по кофейной гуще; они верят в неслучайность совпадений».

Каковы бы ни были воспоминания или страхи доктора Джеральда Латтимора, но при осмотрах Треслава он всегда действовал жестче и грубее, чем это казалось необходимым пациенту.

— Сильно болит? — спросил он в этот раз, надавливая на его нос.

— Очень сильно!

— И все же я не думаю, что это перелом. Принимайте парацетамол. Что с вами случилось?

— Налетел на дерево.

— Вы удивитесь, узнав, как много моих пациентов налегает на деревья.

— Я не удивляюсь, в Хэмпстеде полно деревьев.

— Но здесь не Хэмпстед.

— В наше время все мы слишком озабочены, чтобы внимательно смотреть, куда идем.

— И что вас так заботит?

— Все подряд. Жизнь. Утраты. Счастье.

— Может, вам стоит обратиться с этим к специалисту?

— Я обращаюсь к вам.

— Я не специалист в области счастья. У вас депрессия?

— Как ни странно, нет.

Лежа на процедурной кушетке, Треслав видел над собой потолочный вентилятор — не внушающую доверия конструкцию с большими острыми лопастями, которые мелко тряслись и поскрипывали при вращении. «Когда-нибудь он обрушится и покалечит пациента, — подумал Треслав. — Или врача».

— Господь будет милостив ко мне, я надеюсь, — сказал он вслух, в очередной раз воздевая очи к вентилятору.

— Снимите на минуту шарф, — внезапно попросил Латтимор, — я хочу взглянуть на вашу шею.

Для врача Латтимор был каким-то слишком уж неосновательным, не внушающим доверия, как и его вентилятор. Треслав помнил его отца и деда как людей солидных и обстоятельных. А третий Латтимор выглядел слишком уж молодо, — возможно, недоучился в университете. Запястья его были тонкими, почти женскими, а кожа между пальцами — нежно-розовой, необветренной. Такому можно было и не подчиниться, но Треслав все же снял шарф.

— Эти отметины на шее вам тоже оставило дерево? — спросил доктор.

— Ну ладно, меня поцарапала женщина.

— Это не похоже на царапины.

— Ну ладно, она меня придушила.

— Женщина вас придушила? Что вы ей сделали?

— Вы к тому, не придушил ли я ее в свою очередь? Конечно нет.

— Я имел в виду: что вы такого сделали, из-за чего она стала вас душить?

Виновен. Вот оно.

Сколько он помнил, сначала первый доктор Латтимор намеками, потом второй доктор Латтимор суровыми взглядами и речами постоянно давали ему понять, что он виновен. Не важно, каково было недомогание — воспаление миндалин, одышка, пониженное давление, повышенный холестерин, — всегда в этом был так или иначе виновен сам Треслав; он был виновен уже в том, что родился. А теперь подозрение на перелом носа. Тоже его вина.

— Я в этом деле только жертва и ничего более, — сказал он, приняв сидячее положение и понурив голову, как побитый пес. — На меня напали. Я понимаю, это необычно для взрослого мужчины — быть избитым и ограбленным женщиной. Но я ничего не смог поделать. Видимо, сказался мой возраст. — Перед следующей фразой он помедлил в сомнении, но все-таки продолжил: — Возможно, вы знаете, что ваш дед принимал роды у моей мамы. Я с первых минут жизни был на руках у Латтиморов. И похоже, пришла пора третьему поколению вашей семьи рекомендовать мне тихий приют.

— Мне не хочется выводить вас из заблуждения, но вряд ли тихий приют обеспечит вам полную

безопасность. Там тоже найдутся женщины, которые ограбят вас, как только увидят.

— А как насчет дома престарелых?

— Боюсь, то же самое.

— Неужели я кажусь таким беззащитным?

Латтимор оглядел его с ног до головы. Напрашивался ответ «да». Но он нашел более тактичный вариант.

— Дело не столько в вас, — сказал он. — Дело в женщинах. Они с каждым днем становятся все более сильными и агрессивными. Это результат прогресса медицины. У меня есть пациентки на восьмом десятке, с которыми я не хотел бы сойтись в рукопашной. Полагаю, вам будет безопаснее на улицах, где вы, по крайней мере, сможете спастись бегством.

— Я в этом сомневаюсь. Начало положено. Теперь они смогут учуять мой страх. Я говорю о всех женщинах в Лондоне, склонных к уличному грабежу, — включая тех, кто прежде не замечал у себя этой склонности.

— Вас это как будто даже развлекает.

— Вовсе нет. Просто я стараюсь не поддаваться унынию.

— Очень разумный подход. Надеюсь, преступницу все же поймают.

— Кто? Полиция? Но я не заявлял в полицию.

— Вы не считаете это нужным?

— Чтобы они вообразили, будто я ее спровоцировал? Нет уж, извините. Они тут же заподозрят меня в домогательствах или оскорблении. Или просто отмахнутся и посоветуют не ходить в одиночку по ночным улицам. В любом случае я стану посмешищем. Это ведь так забавно — мужчина жалуется на женщину, сломавшую ему нос. Сюжетец для карикатур.

— Ваш нос не сломан. И я над вами не смеюсь.

— Смеетесь, я вижу по глазам.

— Что ж, надеюсь, про себя вы тоже посмеиваетесь. Смех — это лучшее лекарство.

Странное дело, Треслав и правда смеялся. Про себя.

Но он не думал, что этого смеха хватит надолго.

И он сильно сомневался в том, что его нос не сломан.

5

Была еще одна вещь, которую Треслав хотел обсудить, но передумал, пока смеялся про себя. Да и Латтимор не подходил для такого разговора: не тот тип, не та фактура, не те взгляды.

А обсудить он хотел слова напавшей на него женщины.

При этом он и сам толком не знал, какие слова обсуждать. У него были только догадки, ничего конкретного. Она могла крикнуть «ах ты, жулик!» просто из желания оскорбить и унизить жертву, ведь «жулик» предполагает что-то мелкопакостное, то есть это не «мужик». И она наглядно продемонстрировала ему, кто из них двоих в большей мере «мужик».

Опять же нельзя однозначно исключить «ах ты, Джуль». Но откуда ей было известно его имя, к тому же в детском, уменьшительно-ласкательном варианте? Выходит, нападавшая хорошо его знала и метила именно в него?

Однако всех возможных мстительниц он уже рассмотрел. Кроме Джои (не подходившей по целому ряду параметров) и Джоанны, чье лицо он намалевал (о ней он вообще старался не думать), кто еще из знавших его женщин мог пойти на такое? Кому из них он когда-либо нанес какой-нибудь физический — именно физический, а не психологический — вред?

Сколько он ни прокручивал в голове эту ситуацию, финал всегда был один и тот же: «жулик», «Джуль» и всякие «жмоты» отпадали, оставался

только «жид».

«Ах ты, жид»…

Этот вариант снимал часть вопросов, но в то же время подкидывал новые. В данном случае грабительница могла и не знать его лично, но тогда что заставило ее так ошибиться относительно… тут он затруднился с определением — его национальности? Системы ценностей? (Проще было бы сказать «религии», но он вспомнил пример Финклера, который, будучи финклером, при этом не исповедовал никакой религии.) Духовной сущности? Ладно, пусть будет «духовная сущность».

«Ах ты, жид!»

Джулиан Треслав — жид?

Быть может, его перепутали с каким-то евреем? Например, она могла поджидать Сэма Финклера у дверей дома Либора, но по ошибке последовала за Треславом. Но он не имел ни малейшего сходства с Сэмом Финклером — если уж на то пошло, Сэм Финклер был в числе немногих людей, двойником которых он не сумел бы прикинуться даже при всем желании. Правда, если эта женщина была простой наемницей, исполнявшей заказ, она могла иметь слабое представление о внешности «заказанного».

А он в замешательстве не догадался исправить

ее ошибку, крикнув: «Я не жид! Я не Финклер!»

Но у кого и почему могло возникнуть желание так больно уязвить Сэма Финклера? В смысле: у кого еще, кроме Треслава? Он был безвредным — пусть неприятно богатым и чересчур словоблудливым, но в целом безвредным — философом. Людям он нравился. Они читали его книги. Они смотрели его телепередачи. Он добивался их любви, и он ее добился. У него могли быть кое-какие трения с другими финклерами — особенно с теми, кто, подобно Либору, называл Израиль «Изр-р-раи», — но никакой финклер, а тем паче оголтелый сионист, не стал бы нападать на другого финклера с выкриком, предполагающим оскорбление их общих предков.

И почему именно женщина? Допустим, это была лично обиженная Финклером женщина, но тогда она не спутала бы своего обидчика с Треславом на близком расстоянии. А расстояние между ними было ближе некуда.

Она была так близко, что он уловил запах ее тела. И она наверняка уловила его запах. А он и Финклер… да чего уж там…

Все это не имело никакого смысла.

Было кое-что еще, либо не имевшее никакого, либо имевшее слишком уж много смысла. Что,

если начало ее невнятного выкрика было не «ах ты…», а «это…»? Соответственно, продолжением могло быть не его, а ее имя, например: «Это Джуно!», «Это Джудит!» или «Это Джулия!» Ведь недаром та испанская цыганка с бирмингемским акцентом нагадала ему встречу с Джуно, Джудит или Джулией, предупредив о сопутствующей этому опасности.

Само собой, он не верил в предсказания. Скорее всего, он даже не запомнил бы сам факт посещения той гадалки, если бы в нее не влюбился. Треслав помнил всех женщин, в которых был влюблен. Точно так же он помнил все случаи, когда его выставляли дураком, благо чаще всего его выставляли дураком те самые женщины, в которых он был влюблен. «И на гой жиду Джуно?» — выражаясь в стиле Финклера, который хотел показать ему, что в играх словами у евреев всегда найдутся ходы, недоступные пониманию неевреев. С юных лет «на гой жиду жены» занозой сидело в мозгу Треслава.

Если отбросить всякую мистику, единственным объяснением, откуда гадалка могла знать имя женщины, которая ограбит его через тридцать с лишним лет, было то, что сама эта гадалка собиралась его ограбить тридцать лет спустя и,

соответственно, назвала свое имя. Полная чушь, разумеется. Однако мысль о чем-то неумолимо предопределенном в твоей жизни может поколебать дух даже самого благоразумного человека, а Треслав отнюдь не был самым благоразумным из людей.

Все эти версии могли быть чистым бредом, но тем не менее все они могли быть и чистой правдой, причем одновременно, не исключая одна другую, хотя для этого требовалась степень совпадения, выходящая далеко за нормальные рамки. Она могла заключить в один выкрик сразу несколько значений: «Ах ты, Джуль!», «Ах ты, жид!» и «Это Джудит-или-типа-того!»

«Джуль и Джудит Треслав» — звучало недурно. «Хуль и Худит Треслав» — ну это еще как сказать… хотя почему бы и нет?

Выбить из него дух ради кредиток и телефона, а потом не воспользоваться ни тем ни другим — что бы это могло означать? Разве что ее целью было именно *выбить из него дух.*

Вздор, полнейший вздор.

Он так и не решил загадку, но это ничуть не сказалось на его неожиданно (учитывая все обстоятельства) бодром состоянии. Будь он получше знаком с этим состоянием, он мог бы сказать

— используя термин, из-за которого потерял женщину, трахавшуюся с ним, не снимая сандалий (разумеется, ее он тоже помнил), — что «находится во взволнованных чувствах».

Как человек на пороге важного открытия.

Своим сыновьям Треслав решил не рассказывать об этом случае по той же причине, по которой не сообщил о нем в полицию.

Его сыновья не стали бы даже спрашивать, спровоцировал ли он ту женщину. Хоть они и были от разных матерей, но их взгляды на отцовскую «провокационность» совпадали полностью. А как еще им относиться к отцу, с детства наслышавшись о том, что он, подлюга, их бросил?

По правде говоря, Треслав никого не бросал, если под этим словом понимать жестокое оставление женщины на произвол судьбы. Для такого поступка ему не хватало, скажем так, душевной независимости. Он либо тактично отходил в сторону, почувствовав, что больше не нужен, либо женщины сами бросали его по различным причинам: те же мухи в спальне, или новый мужчина, или просто желание остаться в одиночестве, которое было для них предпочтительнее общества Треслава.

Он наскучивал им до такой степени, что они

начинали его люто ненавидеть. Собственно, Треслав и не обещал никому из них интересной и яркой совместной жизни, но при первой встрече он производил впечатление человека неординарного, обаятельного и творческого — режиссер ночной программы Би-би-си, помреж фестиваля искусств, — и даже когда он развозил молоко или продавал ботинки, это выглядело как эксцентричные проявления артистической натуры. Так что женщинам он поначалу виделся этаким авантюристом — если и не на деле, то в глубине души. Разочарованные впоследствии, они начинали воспринимать его нежную привязанность как нечто вроде западни; в их речах появлялись сравнения с кукольным домом и с женской тюрьмой, они называли его надзирателем, коллекционером, сентиментальным психопатом (пусть даже он был сентиментальным психопатом, но не им об этом судить), кровопийцей, душителем их мечтаний и надежд.

Как человек, до смерти любивший женщин, Треслав не представлял, как он может быть душителем их мечтаний и надежд. Незадолго до своего ухода с Би-би-си он сделал предложение одной из ведущих своей программы — женщине, носившей красный берет и чулки в сетку, словно

французская шпионка в пантомиме. В глубине души он полагал, что оказывает ей снисхождение. Кто бы еще попросил руки этой Джоселин? А вот он ухитрился в нее влюбиться. Его всегда глубоко трогала неспособность женщины быть элегантной и стильной, несмотря на все ее старания. Отсюда следует, что он был глубоко тронут подавляющим большинством женщин, работавших рядом с ним в корпорации. За отчаянными попытками наряжаться в стиле «новой волны» либо со старомодной элегантностью — *nouvelle vogue* или *ancienne vogue,* говоря на французский манер, — ему виделась дальнейшая участь неряшливых старых дев, долгое одинокое дряхление и, наконец, хладная, никем не посещаемая могила. Итак, он попросил ее руки, исходя из самых добрых побуждений.

В тот момент они вкушали очень поздний ужин в индийском ресторанчике после очень поздней записи в студии. Они были последними клиентами, шеф-повар уже ушел домой, а официант выжидающе маячил у стойки.

Возможно, поздний час и гнетущая атмосфера сделали его предложение слишком похожим на безрассудную выходку. А возможно, в его голосе слишком явственно промелькнули те самые

нотки снисхождения.

— Выйти за тебя, слюнявый пердун?! — воскликнула Джоселин из-под яркого французского берета, и ее соответственно накрашенные губы скривились в злой усмешке. — Да я лучше сдохну, чем буду жить с тобой!

— Ты скорее сдохнешь в противном случае, — сказал Треслав, обиженный и разозленный столь яростным отказом.

Впрочем, он сказал именно то, что думал. Разве могла она рассчитывать на лучшее предложение?

— Вот в этом ты весь! — фыркнула она, указывая пальцем на что-то в воздухе, могущее быть эманацией истинной природы Треслава. — Вот об этой слюнявой пердучести я и говорю.

Позднее, в ночном автобусе, она похлопала его по руке и сказала, что не хотела его обидеть и что она просто не представляет его в таком качестве.

— В каком качестве? — спросил он.

— В качестве кого-либо, кроме друга.

— Поищи себе других друзей, — буркнул Треслав, что (и он сам это понял) лишь подтвердило мнение Джоселин насчет его истинной природы.

Так что сейчас он не видел смысла искать сочувствия у своих сыновей, матери которых

когда-то говорили Треславу примерно то же, что сказала той ночью Джоселин.

И тем более он не стал бы обсуждать с ними выкрик ночной грабительницы — «ах-ты-жид-это-джудит» и все такое.

Его сыновьям было за двадцать, и оба относились к категории «неженатиков», то есть людей, не предрасположенных к браку по своему темпераменту, независимо от возраста. Родольфо — Ральф для друзей — держал мелкую забегаловку в Сити и управлялся с ней примерно в том же духе, в каком его родитель прежде развозил молоко или ремонтировал окна, выказывая аналогичную профнепригодность, но со своими специфическими отклонениями. Родольфо носил косичку и надевал кокетливый фартук, когда готовил сэндвичи. Его пристрастия никогда не обсуждались. Да и что мог бы посоветовать Треслав: «Держись за женщин, сын мой, и у тебя в жизни все будет так же прекрасно, как у меня»? Мысленно он желал сыну удачи, но Родольфо так мало смыслил в этой жизни, что разговаривать с ним было все равно что с марсианином. Второй сын, Альфредо — Альф для друзей, хотя таковых у него было негусто, — играл на фортепиано в банкетных залах отелей в Истборне, Торквее и

Бате.[44] Музыка вернулась в семью, пропустив одно поколение. То, что запрещал его собственный отец, Треслав поддерживал — в той степени, в какой он мог это делать «со стороны». Однако музыкальность сына доставляла Треславу мало радости. Мальчик — а теперь уже взрослый мужчина — играл интровертно, для себя самого и ни для кого больше. Эта особенность делала его идеально подходящим исполнителем для больших званых обедов, когда никто не обращает внимания на музыку, а если и заказывают мелодию, то исключительно «С днем рожденья тебя!» (да и ту перестали заказывать в местах, где уже знали, с каким сарказмом Альфредо ее исполняет).

Тоже отклонения? Треслав так не считал. Просто он зачал сына, который в равной степени мог интересоваться женщинами, а мог и не обращать на них внимания. Еще один марсианин.

При его встречах с сыновьями речь никогда не заходила о делах самого Треслава. Есть определенные преимущества в том, что ты никогда не занимался воспитанием своих детей. По крайней мере, Треслав мог не винить себя в том, что они выросли такими, какими выросли. А если

---

[44] Примечания: 44
Курортные города на юге Англии.

у них возникали проблемы, он был далеко не первым, к кому они обращались за помощью и советом. Однако он порой тосковал по тесным семейно-дружеским отношениям, какие, по его мнению, существовали между настоящими отцами и детьми.

Финклер, к примеру, имел двух сыновей и дочь, которые сейчас учились в разных университетах и большую часть года жили в кампусах, как в свое время их отец. Треслав представлял, как после смерти Тайлер все они собрались вместе, чтобы поддержать друг друга. Возможно, Финклер даже поплакал, обнимая сыновей. Отец Треслава лишь однажды плакал, обняв сына, и это событие врезалось в его память, не нуждаясь в фантастических домыслах, — настолько горячи были отцовские слезы на его шее, с таким отчаянием отцовские руки сжимали его голову, столь безутешным было отцовское горе, что казалось, мозг Треслава вот-вот взорвется.

Он не желал своим сыновьям подобных потрясений. Для Треслава и его отца после того случая выбор путей был невелик — они оказались накрепко связаны и могли провести в этой связке остаток жизни, чтобы вместе утонуть в своем горе, как тонут вцепившиеся друг в друга пловцы;

они также могли разорвать эту связь и больше уже никогда не пытаться ее восстановить. Не сговариваясь, оба выбрали второй путь.

Треслав считал, что должен существовать и третий, промежуточный вариант между сокрушенными рыданиями в объятиях своих чад и сочувственным потрепыванием их по затылку — жестом, более подходящим для простого знакомого. Однако сам он этого варианта не нашел. Родольфо и Альфредо были его родными сыновьями и время от времени, вспоминая об этом факте, даже употребляли в обращении к нему слово «отец», но любой намек на большее сближение пугал всех троих. На это было наложено негласное табу, словно речь шла об инцесте. Что ж, это было объяснимо и, возможно, правильно. Если ты не участвовал в воспитании детей, трудно рассчитывать, что они впоследствии будут готовы подставлять свои жилетки для твоих рыданий.

Кроме того, ему не хотелось выглядеть перед ними жалким слабаком и смущать их умы рассказами о своих смутных догадках и суеверных страхах. А вдруг они втайне гордятся своим отцом — этаким загадочно-отчужденным красавцем, который запросто может сойти за Брэда Питта, да еще и подзаработать на этом сходстве? Он не

знал. Но пока существовала хоть малейшая вероятность того, что они им гордятся, он не был готов подвергать эту гордость испытанию, рассказывая им о том, как неизвестная бабенка размазала его по витрине в центре города если и не среди бела дня, то все же при вполне ярком свете. Он не обладал богатым опытом семейной жизни, но все же догадывался, что это совсем не та история, которую сын хотел бы услышать о своем отце.

По счастью, он даже в лучшие времена редко связывался с сыновьями, и они вряд ли придадут большое значение тому, что он долго не появляется на их горизонте. Сколько бы они сами ни знали о семейной жизни, одно они знали наверняка: что отец — это тот, о ком редко слышишь и кого еще реже видишь.

Основательно поразмыслив — Треслав не был склонен к поспешным действиям, если только дело не касалось брачных предложений, — он решил пригласить Финклера на завтра попить чаю. Эта традиция совместных чаепитий восходила еще к их школьным годам, когда они уплетали ячменные лепешки с джемом на Хаверсток-Хилл. Финклер задолжал ему одну встречу, когда в прошлый раз не смог явиться в назначенное время. Занятой человек этот Финклер. Деляга Сэм-Не-

Промах. Кроме того, Треслав считал своим долгом предупредить его на тот случай, если нападение планировали совершить на Финклера, каким бы нелепым это предположение ни казалось.

Ну и потом, Финклер был финклером, а проблема Треслава имела касательство к сугубо финклерским делам.

6

— Возможно, кто-то хочет с тобой разделаться, — заявил Треслав без лишних предисловий, начиная разливать чай.

Почему-то всегда именно он разливал чай во время подобных встреч с Финклером. За тридцать лет чаепитий он не мог припомнить ни единого случая, когда Финклер разливал чай или платил за него.

Он ни разу не обращал на это внимание Финклера. Просто язык не поворачивался. Да и не хотелось быть лишний раз обвиненным в «подгонке под стереотип».

Они сидели в чайной «Фортнума и Мейсона»; Треславу нравилось это место из-за гренков с сыром и прочих добротно-старомодных закусок, а Финклеру оно нравилось потому, что здесь его всегда узнавали.

— Разделаться со мной? — переспросил Финклер. — То есть критически? В этом нет ничего нового. Все критики давно хотят со мной разделаться.

Это была всего лишь фантазия Финклера — все критики якобы спали и видели, как бы с ним разделаться. В действительности же об этом никто и не думал, за исключением Треслава, который был не в счет, да еще, возможно, той женщины, если она и впрямь перепутала Треслава с Финклером. Впрочем, мотивы ее нападения вряд ли относились к разряду художественных или философских.

— Я не имею в виду критиков, — сказал Треслав.

— Тогда что ты имеешь в виду?

— Я сказал «разделаться» в смысле «разделаться». — Он нацелил воображаемый пистолет в рыжеватый висок Финклера. — Вот так…

— То есть *убить* меня?

— Нет, не убить, но задать тебе трепку. И еще похитить твои часы и бумажник. Но это всего лишь предположение.

— Ну, если это всего лишь *предположение*, пусть оно таковым и остается. Человек предполагает, а Бог располагает. Но что тебя заставило это

предположить?

Треслав рассказал ему о случившемся в ту ночь, обойдя упоминанием постыдные детали и ограничившись голыми фактами. Шел один в темноте, задумался, вдруг — хрясь! — и его лицо прижато к витрине Гивье, затем исчезают бумажник, часы и кредитки. И это за какие-то секунды…

— Черт возьми!

— Так оно и было.

— Ну и?..

— Что «и»?

— Ну и при чем тут я?

«Как всегда, лишь твое *я* тебя заботит», — подумал Треслав.

— Возможно, она следовала за мной от самого дома Либора.

— Постой-постой. Ты сказал «она»? Почему ты решил, что это была женщина?

— Полагаю, я еще способен заметить разницу между мужчиной и женщиной.

— В темноте? С лицом, прижатым к витрине?

— Сэм, когда на меня нападает женщина, я понимаю, что на меня напала женщина.

— Да ну? И как часто на тебя нападают женщины?

— Речь не об этом. Прежде никогда не нападали. Но я это сразу понял.

— Ты пощупал ее грудь?

— Нет, я не щупал ее грудь. У меня не было времени ее щупать.

— А если бы нашлось время, ты пощупал бы?

— Мне это не пришло в голову. Я был слишком потрясен, чтобы думать о таких вещах.

— А она тебя щупала?

— Сэм, она меня грабила. Она рылась в моих карманах.

— Она была вооружена?

— Не думаю.

— Не думаешь сейчас или не думал в тот момент?

— А в чем разница?

— Сейчас ты можешь думать, что она была не вооружена, а в тот момент ты мог думать обратное.

— Не думаю, что я в тот момент думал, что она вооружена. Хотя, если подумать сейчас, я вполне мог бы в тот момент так подумать.

— И ты позволил невооруженной женщине обчистить твои карманы?

— У меня не было выбора. Я испугался.

— Женщины?

— Темноты. Внезапности…

— Ты испугался женщины.

— Хорошо, я испугался женщины. Но я не сразу понял, что это была женщина.

— Она что-нибудь сказала?

Официантка, принесшая Финклеру новую порцию кипятка, прервала их беседу. Финклер всегда требовал еще кипятка вне зависимости от того, сколько кипятка у него имелось. Треслав полагал, что таким образом он утверждается в своем праве командовать. Наверняка Ницше тоже требовал больше кипятка, чем ему на самом деле было нужно.

— Очень мило с вашей стороны, — сказал Финклер официантке, улыбаясь ей снизу вверх.

«Он хочет, чтобы она его любила или чтобы боялась?» — подумал Треслав. Его всегда восхищала эта благосклонноповелительная манера Финклера. Сам он искал только женской любви. Быть может, в этом и заключалась его ошибка?

— Давай-ка разберемся, правильно ли я понял, — сказал Финклер, дожидаясь, пока Треслав нальет кипятка в чайник. — Эта женщина, эта *невооруженная* женщина нападает на тебя, а ты думаешь, что она хотела напасть на меня, потому что, *возможно,* она шла за тобой от самого дома

Либора — который, замечу мимоходом, в последнее время неважно выглядит.

— Мне показалось, что он выглядит неплохо, учитывая его возраст и все такое… — сказал Треслав. — На днях я с ним виделся, а вот ты не пришел на ту встречу. Либор в норме. Ты беспокоишь меня больше, чем он. Как часто ты бываешь на людях?

— С Либором я тоже недавно виделся, и мне не понравилось, как он выглядит. Что касается «бывания на людях» — какой в этом прок? Это не там ли, «на людях», меня якобы поджидают грабительницы?

— Не стоит замыкаться в себе.

— Приятно слышать этот совет именно от тебя. Но я не замыкаюсь, я играю в покер по интернету. Это тоже какое ни есть общение.

— Полагаю, ты в выигрыше?

— Само собой. На прошлой неделе я выиграл три тысячи фунтов.

— Ни черта себе!

— То-то и оно: не чета тебе. Так что за меня не волнуйся. Но Либор слишком терзается. Он так крепко вцепился в память о Малки, что она скоро утащит его за собой.

— Этого он и хочет.

— Я понимаю, ты находишь это трогательным, но на самом деле это самоистязание. Ему нужно оторваться от своего ностальгического рояля.

— И заняться онлайн-покером?

— Почему бы нет? Крупный выигрыш его подбодрит.

— А как насчет крупного проигрыша? Невозможно всегда выигрывать — не так ли говорил кто-то из тех, о ком ты пишешь книги? Было известное философское пари — у Юма,[45] кажется?

Финклер посмотрел на него пристально. «Не смей упрекать меня в бессердечии, — казалось, говорил его взгляд. — Если я не пошел по пути Либора, посвятившего остаток дней поклонению памяти жены, это еще не значит, что я бессердечен. Тебе не понять моих чувств».

Конечно, все это могло лишь вообразиться Треславу.

— Ты, должно быть, имеешь в виду пари Паскаля, — сказал наконец Финклер. — Только он рассуждал иначе. По его словам, если ты делаешь ставку на то, что Бог существует, ты практически ничего не теряешь при проигрыше. Но если ты ставишь *против* существования Бога, то в случае

---

[45] Примечания: 45

Юм Дэвид (1711–1776) — шотландский философ-агностик, историк и экономист, один из крупнейших деятелей эпохи Просвещения.

проигрыша…

— Ты окажешься в адском дерьме.

— Именно так.

— Но это как раз *твоя* ставка, Финклер.

Финклер посмотрел мимо него и приветственно улыбнулся кому-то в зале.

— Однако вернемся к нашей теме, — сказал он. — Ты выходишь из дома Либора, будучи, скажем так, не в лучшей кондиции, а эта бандитка, перепутав тебя со мной, идет следом несколько сотен ярдов до гораздо более оживленного места — что глупо с ее стороны — и там на тебя набрасывается. Не понимаю, каким образом этот инцидент связывает ее со мной? Или меня с тобой? Мы не очень-то внешне похожи, Джулиан. Я вдвое крупнее тебя, а у тебя вдвое больше волос…

— Втрое больше, как минимум.

— Кроме того, я прибыл туда и уехал оттуда на машине, а ты был пешком. Что же заставило ее нас перепутать?

— Понятия не имею… Может, она никого из нас раньше не видела?

— Ага, и при взгляде на тебя подумала: «У этого парня явно толстый бумажник». А потом случилось то, что случилось. Но я никак не возьму в

толк: почему ты решил, что она могла охотиться за мной?

— Может, она знала, что ты выиграл в покер три тысячи фунтов. Или она могла быть твоей фанаткой. Может, начиталась твоего Паскаля. Ты же знаешь, какими бывают эти фанаты…

— А может, мы с Паскалем тут ни при чем.

Финклер подозвал официантку и потребовал еще кипятка.

— Видишь ли… — Треслав подвинул стул ближе, как будто опасаясь, что весь «Фортнум и Мейсон» услышит его следующие слова. — Дело в том, *что* она сказала.

— И что она сказала?

— Правда, я плохо расслышал сказанное.

Финклер развел руки в стороны особым финклерским жестом, означавшим, что даже его беспредельное терпение на исходе. Когда Финклер так делал, он напоминал Треславу Всевышнего на горном пике в ту пору, когда Он разочаровался в избранном народе. Должно быть, Господь даровал свой жест всем финклерам в память о Завете. А нефинклерам вроде Треслава это не дано.

— Что бы там она ни сказала на самом деле или могла, по-твоему, сказать — ты выдашь эту фразу, в конце концов?

И Треслав выдал эту фразу:

— «Ах ты, жид». Она сказала: «Ах ты, жид».

— Это твои выдумки.

— С чего бы мне это выдумывать?

— Потому что у тебя извращенный ум. Я не знаю, почему еще. Может, ты услышал собственные мысли. Ты перед тем расстался со мной и Либором, шел и думал: «Ах вы, жиды! Поганые жиды!» Эти слова вертелись у тебя на языке, и ты вообразил, что их произнесла она.

— Она не говорила: «Поганые жиды». Она сказала: «Ах ты, жид».

— «Ах ты, жид»?

Сейчас, услышав эту фразу в чужих устах, Треслав засомневался:

— Типа того.

— Типа того? Что еще она могла сказать типа «ах ты, жид»?

— Я уже думал над этим. Она могла бы сказать: «Ах ты, Джуль», но откуда ей знать мое имя?

— Имя было на кредитках, которые она у тебя вытащила, дурья башка!

— Не называй меня дурьей башкой. Ты же знаешь, как я это ненавижу.

Финклер похлопал его по руке:

— Имя было на кредитках, которые она у тебя

вытащила, *недурья* башка!

— На кредитках есть только инициалы: «Дж. Дж. Треслав». Там нет имени Джулиан и тем более имени Джуль. Давай называть вещи своими именами, Сэм, — она считала меня евреем.

— И по-твоему, я единственный еврей в Лондоне, с которым она могла тебя спутать?

— Мы же только перед тем расстались.

— Случайное совпадение. Эта женщина, быть может, серийная антисемитка. Наверняка она каждого ею ограбленного называет жидом. Этим словом вы, неевреи, часто пользуетесь как ругательством. В школе употреблялись словечки «объевреить» или «зажидить», когда говорили про надувательство и воровство. Да ты и сам небось их употреблял. Вот что у вас прежде всего ассоциируется с евреями: воры и жулики. Может, она мстит таким, как ты? Может, она сказала: «За жидов» в смысле «зуб за зуб».

— Она сказала: «Ах ты, жид».

— Ну, значит, она просто обозналась. Там же было темно.

— Там было светло.

— Но ты недавно ссылался на темноту.

— Я сгустил краски.

— Ага, и навел тень на ясный день.

— Это было поэтическое преувеличение. Все произошло хоть и не ясным днем, но фонари горели ярко.

— Достаточно ярко, чтобы отличить еврея от нееврея?

— Было так же светло, как сейчас здесь. Похож я сейчас на еврея?

Финклер издал один из своих телевизионных смешков. Треслав знал, что Финклер никогда не смеется по-настоящему, от души, — и Тайлер частенько жаловалась, что вышла замуж за человека, не способного смеяться, — но в своих телепередачах он мог заливисто расхохотаться в ответ на чье-нибудь замечание. Треслав поражался такому явному притворству, но сотни тысяч зрителей принимали хохот Финклера за чистую монету.

— Давай спросим об этом публику, — предложил Финклер.

И на какой-то миг Треслав с ужасом подумал, что тот и впрямь обратится сейчас к посетителям чайной: «Поднимите руки все, кто считает этого человека похожим на еврея». Заодно это привлекло бы к Финклеру внимание тех, кто еще его не заметил или не узнал.

Треслав залился краской и пригнул голову,

как будто надеясь таким образом снять с себя подозрение в еврействе. Кто когда-нибудь видел смущенного еврея?

— Вот такие дела, — сказал он после паузы, когда смог вновь поднять глаза на собеседника. — Что посоветовал бы твой Витгенштейн?

— Для начала он посоветовал бы тебе вынуть свой нос из собственной жопы. А также из моей и из жопы Либора. Допустим, тебя побили и ограбили. Это неприятно. А ты еще до того порядком раскис. На наших встречах втроем обстановка не очень-то здоровая. Для тебя, по крайней мере. У меня и Либора хоть есть причина: мы скорбим. А ты нет. А если тоже скорбишь, это уже совсем хреново. Это типа извращения, Джулиан. Ты не можешь быть одним из нас. И ты не должен этого хотеть.

— Я вовсе не хочу быть тобой.

— Нет, хочешь — в некотором роде. Я не намерен тебя обижать, но у нас всегда имелось нечто, что ты хотел бы заполучить.

— У *вас?* Ты говоришь о себе и Либоре?

— Дурацкий вопрос. Если ты его задаешь, ты уже знаешь ответ. Но теперь тебе этого мало. Теперь ты захотел большего. Ты захотел стать евреем.

Треслав едва не захлебнулся чаем:

— Кто тебе сказал, что я хочу стать евреем?

— Ты сам, кто же еще? Иначе зачем вся эта твоя возня? Ты такой не один — многие люди по разным причинам хотят быть евреями.

— Однако сам ты хочешь обратного.

— Только не начинай говорить, как Либор.

— Сэм… Сэмюэл, читай по моим губам. Я. Не. Хочу. Быть. Евреем. Понятно? Ничего против вас не имею, но я хочу быть тем, кто я есть.

— А помнишь, как ты хотел, чтобы мой отец был твоим отцом?

— Мне тогда было четырнадцать. И мне нравилось, когда он сам предлагал мне врезать ему кулаком по животу. Своего отца я боялся даже локтем случайно задеть. Но это вовсе не значит, что я хотел быть евреем.

— А кто ты есть?

— Не понял.

— Ты сказал, что хочешь быть тем, кто ты есть. А кто ты есть?

— Кто я есть?

Треслав уставился в потолок. Он чувствовал, что это вопрос с подвохом.

— Вот именно. Ты не знаешь, кто ты есть, и потому хочешь быть евреем. Скоро ты отрастишь

пейсы и заявишь мне, что вступил добровольцем в израильские ВВС, чтобы лично бомбить хамасовские лагеря. Это ненормально, Джулиан. Сделай паузу, погуляй спокойно по городу. Почаще бывай на людях, как ты это называешь. Найди себе девчонку и оттянись с ней на отдыхе где-нибудь подальше отсюда. Забудь обо всем остальном. Купи новый бумажник и живи в свое удовольствие. Поверь, тебя в тот раз ограбила вовсе не женщина, как бы сильно ты этого ни хотел. И вообще, кто бы там тебя ни грабил, не путай себя со мной и не называйся евреем.

Треслав уныло молчал, подавленный этой лавиной философической мудрости.

Глава 3

1

— Эй, Брэд!

Окликнувшая его женщина была примечательна волевой челюстью, каскадом белокурых локонов и платьем в стиле Регентства,[46] со впечатляюще глубоким вырезом. Уже в третий раз этим вечером Треслава — впервые после вынужденного перерыва работавшего двойником — принимали за Брэда Питта. На самом деле он был нанят изображать Колина Фёрта в роли мистера Дарси. На верхнем этаже одного из павильонов Ковент-Гардена[47] отмечался пятидесятилетний юбилей дамы, натурально звавшейся Джейн Остин — при таком-то имени

---

[46] Примечания: 46

Эпохой Регентства в британской истории именуют период 1811–1820 гг., когда страной правил принц-регент (будущий король Георг IV), а в широком смысле — всю первую треть XIX в., для которой характерен особый стиль в архитектуре, искусстве, одежде и т. д. К этому же периоду относятся романы Джейн Остин (1775–1817), персонажи которых упоминаются далее в тексте.

[47] Примечания: 47

Район в центре Лондона, где находится несколько знаменитых театров (включая королевский театр Ковент-Гарден), а также множество развлекательных и торговых заведений.

кого же еще было изображать, как не героев соответствующих книг и фильмов? Все участники вечеринки были в костюмах той эпохи. Треслав щеголял в тесных бриджах, белой рубашке с широкими рукавами и шелковом шейном платке, напуская на себя холодно-высокомерный вид в соответствии с образом. И не мог понять, почему его принимали за Брэда Питта, — разве только Брэд Питт снялся в какой-то неизвестной ему экранизации «Гордости и предубеждения».

Гости быстро напивались и тупели. Только что обратившаяся к нему женщина также была пьяной и отупевшей. Вдобавок она была американкой. Все это Треслав понял по ее манерам еще до того, как она открыла рот. Она слишком явно выказывала свое удивление, чтобы быть англичанкой. У нее были слишком полные губы, слишком белые и слишком ровные зубы, походившие на две сплошные эмалевые дуги с черточками вертикальной разметки. Бюст ее был слишком высок и напорист — опять же не в английском духе. Если бы героини Джейн Остин имели такие бюсты, им не пришлось бы волноваться насчет перспектив замужества.

— Попробуйте угадать еще раз, — предложил Треслав, несколько выбитый из колеи.

Женщина была явно не его типа — сразу было понятно, что эта особа надолго его переживет, даже не думая о том, чтобы красиво умереть у него на руках. Но ее нахрапистость в данный момент ему импонировала. Он и сам уже опьянел и все больше отупевал.

— Дастин Хоффман, — сказала она, разглядывая его лицо. — Нет, пожалуй, ты слишком молод для Дастина Хоффмана. Адам Сэндлер? Для него ты староват. Ага, узнала: ты Билли Кристал!

Он не спросил ее: «А что делать Билли Кристалу на вечеринке, посвященной Джейн Остин?»

Из павильона они поехали к ней в отель на Хеймаркет. Это была ее инициатива. В такси она сразу же запустила руку ему под рубашку и добралась до тесных бриджей мистера Дарси. Она звала его Билли, рифмуя с перцем чили, и вообще несла околесицу. Треслав всегда удивлялся, как легко и быстро у американцев, этих пуритан в душе, чопорность сменяется развязностью. От их чинного благонравия до грязной порнухи всего-то маленький шаг.

Но сейчас он был не в том положении, чтобы наводить критику.

Он испытывал благодарность и облегчение. Он снова был в игре, он возвращался к роли ло-

веласа. Пусть на самом деле он никогда не был ловеласом, но осознавать себя «возвращающимся» было приятно.

Он провел языком по ее эмалевым дугам, но не нащупал ни намека на щели меж зубов. Та же проблема возникла с ее грудями. Они не разделялись. Это был бюст, цельный и слитный.

Она была настолько совершенна, что ей достаточно было иметь все только в одном экземпляре.

Как по ходу выяснилось, она работала телевизионным продюсером и приехала в Лондон на несколько дней, чтобы обсудить совместный проект с «Четвертым каналом».[48] Треслав был рад узнать, что не с Би-би-си. Он не был уверен, что сможет заниматься сексом с кем-то имеющим отношение к Би-би-си; во всяком случае, он не смог бы достаточно долго поддерживать приличную эрекцию.

Но и в данном случае приличная эрекция долго не продержалась: партнерша запрыгнула на него, неистово тряся кудряшками и бюстом, и он кончил, едва успев начать.

— Вау! — сказала она.

---

[48] Примечания: 48

Британская телекомпания, основанная в 1982 г.; принадлежит государству, но при этом функционирует автономно.

— Это все из-за платья, — сказал он. — Зря я попросил тебя не снимать платье. Слишком много возбуждающих ассоциаций.

— С чем именно?

— Да хотя бы с «Нортенгерским аббатством» и «Мэнсфилд-парком».[49]

— Я могу его снять.

— Нет, не снимай. И дай мне еще двадцать минут.

Они поговорили о своих любимых персонажах в книгах Остин. Кимберли — ну разумеется, американку звали Кимберли — предпочитала всем прочим Эмму. Она полагала себя с ней схожей. Эмма Вудхаус[50] была красива, умна и богата.

— И у нее тоже были сиськи наружу, — добавила она, смеясь и запихивая их обратно в вырез платья.

Точнее, запихивая *его* (то есть бюст), подумал Треслав.

Он тут же снова извлек бюст из выреза и сказал, что ему из героинь Остин более всего по вкусу не

---

[49] Примечания: 49
Романы Джейн Остин.

[50] Примечания: 50
Героиня романа «Эмма» (1816).

Эмма — нет, никак не Эмма, — а Анна Эллиот.[51] И не просто по вкусу — он прямо-таки влюблен в Анну Эллиот. Почему? Он и сам толком не знает; быть может, это связано с тем, что она поймала свое счастье в самый последний момент.

— Все равно что урвать выпивку перед самым закрытием салуна, — сказала Кимберли, демонстрируя недюжинное знание реалий георгианской Англии.

— Да, что-то вроде того. Меня привлекает идея ее увядающей красоты — увядающей постепенно, по мере чтения книги.

— Тебя привлекает увядающая красота?

— Нет-нет, как правило, нет. Только не в реальной жизни.

— Я надеюсь.

— Да нет же, говорю тебе.

— Рада это слышать.

— Та история обращается в сказку, — продолжил он, не отрывая взгляда от ее бюста. — Джейн Остин взмахивает волшебной палочкой и создает счастливый конец, а в реальной жизни это закончилось бы трагедией.

Она кивнула, уже его не слушая.

---

[51] Примечания: 51
Героиня романа «Доводы рассудка» (изд. 1818).

— А теперь настало время для *твоей* палочки, — сказала она, глядя на часы.

Она дала ему ровно двадцать минут, и ни секундой больше. Приблизительность была не в ее характере, так же как и трагедийность.

— Вау! — сказала она спустя пять минут.

Это была самая бурная ночь любви из всех, какие знавал Треслав. Правда, на сей раз он был не самым активным участником процесса. Когда утром он покидал номер, Кимберли сунула ему свою визитку на тот случай, если он как-нибудь окажется в Лос-Анджелесе, но предупредила, что ее муж не будет в восторге, увидев на пороге своего дома Билли Кристала в старомодных бриджах. Напоследок она игриво шлепнула его по заду.

Уходя, Треслав чувствовал себя использованной проституткой.

Почему он тогда настолько перевозбудился, что кончил в первый же миг? Вот о чем раздумывал Треслав, сидя, уже нормально одетый, в кафетерии на Пиккадилли. Ее напористость здесь была ни при чем — обычно такие вещи не ускоряли, а лишь усложняли ему занятие сексом. Конечно, свою роль сыграло платье — этакая Анна Эллиот, оседлавшая его и трясущая головой, как шведская порнозвезда. Но одно только платье не могло

объяснить его повышенную возбудимость и тот факт, что он потом с двадцатиминутными интервалами повторял половой акт на протяжении — пусть не всей, но большей части — ночи. Похвастаться знакомым — те не поверят в такой его постельный героизм. Оставалось прояснить связь между этой ночью любви и недавним ограблением. Он не был уверен на сто процентов, но у него сохранились смутные воспоминания, будто в то время, когда Кимберли со стонами вздымалась и опускалась над ним, он представлял себе ночную грабительницу. Комплекцией они были схожи. Так кого же из них двоих он видел перед собой во время секса? Он затруднялся сказать.

Естественным образом возникал вопрос: что может быть общего между этими двумя эпизодами? Нападение, разумеется, ни в коей мере не стимулировало его сексуально; он не был склонен к мазохизму. Расквашенный нос болел жутко, невыносимо — «полный капец!», как выражались в таких случаях его сыновья. Воспоминания об этом отнюдь не возбуждали его и в последующие дни, как не возбуждали и сейчас, когда он размышлял, сидя в кафе. Другое дело — воспоминания о прошлой ночи: тут было чем гордиться. Эта случайная связь не просто пре-

рвала затянувшийся период воздержания — она била все его секс-рекорды, притом что случайные связи никогда не были его коньком. Но, помимо эротического действа, с той ночью ассоциировалось еще что-то, сейчас его тревожившее.

Наконец он понял, что именно. Билли Кристал. Сначала Кимберли приняла его за Брэда Питта, но потом, вглядевшись в его лицо, увидела что-то иное. Дастин Хоффман… Адам Сэндлер… Билли Кристал… Здесь она остановилась, но если бы продолжила, то, учитывая направление ее мыслей, в список, скорее всего, вошли бы Дэвид Швиммер, Джерри Сайнфелд, Джерри Спрингер, Бен Стиллер, Дэвид Духовны, Кевин Клайн, Джефф Голдблюм, Вуди Аллен, Граучо Маркс и хренова туча прочих… стоит ли продолжать?

Финклеры.

Все они были финклерами.

Он где-то читал, что чуть ли не каждый голливудский актер был финклером по рождению, пусть далеко не все сохраняли свои финклерские имена. И вот Кимберли — хотя какая она Кимберли, ее настоящее имя, скорее, Эсфирь, — и вот эта псевдо-Кимберли приняла его за них всех.

Он не имел в виду — и *она* не имела в виду — внешнее сходство. Даже на затуманенный ал-

коголем взгляд Кимберли, Треслава нельзя было спутать с Джерри Сайнфелдом или Джеффом Голдблюмом. Не те габариты. Не тот темперамент. Не та энергетика. Следовательно, его сходство с этими людьми было иного рода; оно имело отношение к «духовной сущности». В *духовном* плане он казался одним из них. По своей *сущности* он казался одним из них.

Он не знал, могло ли ошибочное отождествление его с финклерами дополнительно возбудить Кимберли, но считал это маловероятным, если сама она была из финклерской среды и, значит, к этому привыкла. Другое дело — могло ли это дополнительно возбудить *его?*

Две такие ошибки за две недели! И не важно, что думал на сей счет Сэм Финклер, который сам принадлежал к миру финклеров, хотел он того или нет.

— Это не клуб, в который можно вступить по желанию, — говорил он Треславу еще в те времена, когда предпочитал именоваться Сэмюэлом.

— А я не собираюсь в него вступать, — ответил тогда Треслав.

— Конечно, — промолвил Финклер, уже теряя интерес к разговору, — я этого не утверждал.

В любом случае к Финклеру нельзя было обра-

титься за советом как к «незаинтересованной стороне».

Но неспроста же две разные женщины, без очевидных своекорыстных мотивов, в течение всего двух недель допустили две идентичные ошибки!

Треслав грыз костяшки пальцев, заказывал еще кофе, и эпизоды из его жизни — если это можно назвать жизнью — проходили у него перед глазами.

2

Финклер сам напросился.

Таким было в ту пору мнение Тайлер Финклер, и таким же было мнение Джулиана Треслава. Сэм получил по заслугам.

В случае Тайлер этот поступок был более оправданным. Ее муж трахался с другими женщинами. А если он и не трахался с другими женщинами, то все равно уделял своей жене так мало внимания, как если бы он трахался с другими женщинами.

В случае Треслава единственным оправданием было то, что Финклер получил по заслугам, поскольку он был Финклером. И потом, Треслав просто не мог спокойно смотреть на страдания такой прекрасной женщины, как Тайлер.

Тайлер Финклер. Ныне покойная Тайлер Фин-

клер. Вспомнив о ней за второй чашечкой кофе, Треслав глубоко вздохнул.

— Сэм целиком погружен в свой проект, — говорил он ей тогда. — Он амбициозный человек. Еще мальчишкой он был амбициозен.

— Мой муж был мальчишкой?!

Треслав слабо улыбнулся. По правде говоря, Финклер не был мальчишкой даже в детстве, но он счел за лучшее не говорить об этом его разозленной жене.

Они лежали в постели Треслава в том самом лондонском пригороде, который он упрямо именовал Хэмпстедом. Им не следовало лежать вместе в постели ни в одном пригороде, как бы тот ни назывался. И оба прекрасно это сознавали. Но Финклер сам был виноват.

Перед тем Тайлер позвонила Треславу и спросила, можно ли прийти к нему, чтобы вместе посмотреть пилотную серию нового телепроекта ее супруга.

— Конечно, — сказал Треслав. — Но разве ты не будешь смотреть ее вместе с Сэмом?

— Сэмюэл устраивает просмотр вместе со съемочной группой, под каковой разумеется его любовница.

Тайлер оставалась единственной, кто по-преж-

нему называл Сэма Сэмюэлом. Это давало ей определенную власть над ним — власть человека, знававшего важную шишку еще в те времена, когда эта шишка была просто прыщиком на ровном месте. Порой она заходила дальше и называла его Шмуэлем, чтобы напомнить о его корнях в моменты, когда он уже был готов от этих корней оторваться.

— Вот оно как! — сказал Треслав.

— И ладно бы еще трахался с режиссером проекта, а то завел шашни с какой-то жалкой ассистенткой!

— Вот оно как! — повторил Треслав, гадая, стала бы Тайлер смотреть эту серию вместе с Сэмом, если бы Сэм, следуя негласным правилам, трахался с режиссером проекта.

Имея дело с финклерами — как мужчинами, так и женщинами, — он всегда затруднялся определить, где они проводят грань между унижением и престижностью. Для нефинклеров измена была изменой в любом случае, однако финклеры, как он замечал, могли сделать скидку на статус и перспективную полезность третьего фигуранта. Этаким манером можно подобрать ключи и к принцу Филиппу, и к Биллу Клинтону, а то и к самому папе римскому. «Надеюсь, я не подгоняю

их под стереотип», — подумал Треслав.

— Ты приедешь с детьми? — спросил он в трубку.

— С детьми? Дети сейчас в школе. И уже скоро будут в университете. Ты хоть бы изредка делал вид, что интересуешься ими, Джулиан.

— Мне просто не до детских дел, — объяснил он. — Я с собой-то не знаю, что делать.

— Тебе не о чем волноваться. Мы с тобой не будем делать детей. Я уже вышла из этого возраста.

— О! — произнес Треслав.

Это был первый намек на то, что вечером им предстоит не только — и не столько — просмотр пилотной серии. «Ха!» — мысленно сказал он чуть погодя, стоя под душем и ощущая себя скорее жертвой, нежели соучастником того, что должно было скоро произойти. Он не мог противиться Тайлер, хотя и понимал, что та всего лишь использует его для мести мужу.

Обычно Треслав не влюблялся в женщин ее типа, но в Тайлер он влюбился сразу же, как только Финклер познакомил его со своей молодой женой. Перед тем он довольно долго не общался с Сэмом и не знал, что у того завязался серьезный роман, не говоря уже про женитьбу. Впрочем, это было вполне в духе Финклера. Время от времени

он приподнимал завесу над своей личной жизнью — ровно настолько, чтобы заинтриговать Треслава, — и тут же опускал, заставляя его чувствовать себя исключенным из круга доверия.

Новоиспеченная миссис Финклер была не то чтобы писаной красавицей, но внешность ее впечатляла: темная, резкая в движениях, с такими острыми чертами, что о них легко мог порезаться кто-нибудь неосторожный, и с безжалостноязвительным взглядом. Хотя на костях ее было очень мало мяса, она умела подать себя как «роскошное блюдо». При каких бы обстоятельствах Треслав ее ни встречал, Тайлер всегда выглядела так, словно собралась на официальный банкет, где она будет очень мало есть, отпускать меткие замечания и грациозно танцевать с разными партнерами, притягивая к себе восхищенные взгляды всего зала. Именно такая супруга нужна успешному мужчине: умная, светская, холодно-элегантная и уверенная в себе — уверенная до той поры, пока муж не забудет о ней, поднявшись на гребень успеха. Когда Треслав думал о Тайлер Финклер, ему почему-то приходило в голову слово «влажный» — весьма странно, поскольку внешне она была как раз очень даже сухой. Но Треслав пытался угадать, какова она за внешней оболочкой,

если проникнуть в ее темную загадочную сущность. Она обитала в каких-то непостижимых и вряд ли достижимых для него сферах. Она была вечной финклерской женщиной. Вот почему у него не было ни малейшей возможности воспротивиться Тайлер, когда она сделала свое предложение. Теперь, хотел он того или нет, ему предстояло узнать, каково это — проникнуть во влажную темную загадочную сущность финклерской женщины.

Они включили телевизор, но не просмотрели ни одного кадра из Сэмовой программы.

— Он такой лжец! — сказала она, выскальзывая из платья, с виду вполне подходящего для дворцового приема по случаю возведения ее мужа в рыцарское достоинство. — Где будет вся его философия, если я не приготовлю вовремя ужин? Куда денется эта философия, если заставить его держать свой хрен в трусах?

Треслав ничего не сказал. Было очень странно видеть лицо своего друга на телеэкране и в то же самое время обладать его женой. Хотя понятие «обладать» в данном случае было весьма условным. Тайлер не давала ему почувствовать себя *обладателем,* занимаясь любовью отрешенно, словно ничего такого и не происходило. Она

легла спиной к Треславу и, заведя назад руку, направляла в себя его член так деловито, словно возилась с какой-то сложной застежкой, а попутно издевательски комментировала доносившиеся с телеэкрана рассуждения мужа. Она попросила Треслава оставить свет включенным и не считала нужным сохранять молчание во время интимного акта. И только войдя в нее — ненадолго, поскольку она сказала, что не хочет затяжного секса, — Треслав наконец открыл для себя ту темную, горячую финклерскую *влажность,* о которой он столько размышлял. И открытие превзошло все его ожидания.

Он лежал на спине и чувствовал, как на глазах закипают слезы. Он сказал, что любит ее.

— Не будь дураком, — сказала она. — Ты меня даже не знаешь. По сути, ты сейчас не меня поимел, а Сэма.

— Ничего подобного! — сказал он, садясь в постели.

— Лично я не против. Меня это устраивает. Если хочешь, можем даже повторить. А если тебя заводит мысль о том, что ты трахаешь своего друга — не важно, в прямом или переносном смысле, — пусть будет так.

Треслав перегнулся, опираясь на локоть, и по-

пытался заглянуть ей в лицо, а затем протянул руку, чтобы погладить ее волосы.

— Не делай этого, — сказала она.

— Ты не понимаешь, — сказал он. — Для меня это впервые.

— Ты впервые занимался сексом? — В ее голосе не чувствовалось удивления.

— Я впервые… — Он не мог сформулировать мысль таким образом, чтобы она не прозвучала пошло. — Понимаешь…

— Ты впервые так однозначно наебал Сэмюэла? На твоем месте я бы не слишком переживала. Он при случае без колебаний сделает то же самое с тобой. Возможно, уже делал. Он полагает это своим *droit de philosophe.*[52] Как мыслитель, он мыслит себя вправе наебывать всех подряд.

— Я не об этом. Я хочу сказать, что ты моя первая…

Он чувствовал, что эти колебания начинают ее раздражать. Постель вокруг нее как будто похолодела.

— Первая кто? Скажи прямо. Замужняя женщина? Мать семейства? Жена телеведущего? Женщина без университетского образования?

---

[52] Примечания: 52
Правом философа *(фр.).*

— Ты разве не училась в университете?

— Сперва скажи, что ты имеешь в виду, Джулиан!

Он дважды не смог произнести это слово, но сейчас чувствовал, что должен это сделать. Это казалось ему почти столь же греховным, как сам поступок.

— Еврейка, — сказал он наконец.

Но тут же понял, что это не совсем то слово, которое он в действительности хотел употребить.

— Жидовка, — поправился он, позволив начальному «ж» смачно размазаться по языку.

Она повернулась и взглянула так, словно впервые за этот вечер им по-настоящему заинтересовалась. В глазах ее плясали насмешливые огоньки.

— Жидовка? По-твоему, я *настоящая* жидовка?

— А разве нет?

— Это лучший вопрос, какой ты мог бы мне задать. И на чем основано это твое убеждение?

Ошарашенный, Треслав не знал, что сказать.

— Ну, на всем вообще, — только и смог выдавить он, вспомнив, как посещал празднование бар-мицвы[53] одного из сыновей Финклеров, од-

---

[53] Примечания: 53

Достижение ребенком религиозного совершеннолетия согласно законам иудаизма (13 лет для мальчиков и 12 лет для девочек).

нако он не был уверен, которого из них, и потому промолчал.

— Всё вообще — это вообще ничто, — сказала она.

Он был ужасно расстроен. Выходит, она не еврейка? Тогда что означала эта удивительная темная влажность, в которую он только что проник?

Она нависла над ним, едва не касаясь его лица одним из сосков. (И *вот это* — разве *это* не было еврейским?)

— И ты всерьез думаешь, что Сэмюэл взял бы в жены еврейку? — спросила она.

— А почему бы ему этого не сделать?

— Выходит, ты очень плохо его знаешь. Его целью всегда было покорить гоев. Уж это-то ты должен знать. Он родился евреем, он один из них, и они не могут лишить его того, что дано ему от рождения. Так зачем еще тратить на них время? Если бы я только заикнулась, он венчался бы со мной в церкви. Он даже немного злился на меня за то, что я этого не сделала.

— А почему ты этого не сделала?

Она рассмеялась. Это был сухой, хрипловатый смех.

— Видишь ли, я противоположная версия того

же Сэмюэла. Каждый из нас хотел покорить чуждый ему мир. Он хотел влюбить в себя нееврейку, а я хотела влюбить в себя еврея. И мне нравилась идея иметь еврейских детишек. Я думала, что они будут лучше успевать в школе. И тут они действительно молодцы!

(Когда она с гордостью говорила о детях — как по-еврейски это прозвучало!)

Треслав был озадачен:

— Но если ты не еврейка, разве могут твои дети считаться евреями?

— По мнению ортодоксов, не могут. В любом случае это очень трудно устроить. У нас была неортодоксальная свадьба, но мне все равно пришлось сменить веру. Два года я убила на то, чтобы научиться вести хозяйство и воспитывать детей на еврейский манер. Спроси меня что угодно про иудейские обряды и обычаи, и я отвечу. Как кошеровать курицу, как зажигать свечи в Шаббат, как совершать омовение в микве. Хочешь, расскажу тебе, как благочестивые еврейки узнают о завершении своих месячных? Да во мне этой еврейскости больше, чем во всех чистокровных еврейках Хэмпстеда, сваленных в одну кучу!

Треслав живо представил себе кучу, состоящую из всех чистокровных евреек Хэмпстеда. Но спро-

сил он о другом:

— А что такое миква?

— Ритуальный бассейн. В нем ты очищаешься для своего еврейского мужа, которого может хватить удар, если он увидит хоть каплю твоей менструальной крови.

— Сэм хотел, чтобы ты это делала?

— Не Сэмюэл — этого хотела я сама. Сэмюэлу на это наплевать. Он считает варварством так беспокоиться из-за менструальной крови, которая ему, напротив, очень даже нравится. Извращенец. Я омываюсь в микве ради себя, — как оказалось, на меня это действует умиротворяюще. Из нас двоих я куда евреистее его, хотя и родилась католичкой. Я — та самая еврейская принцесса, о которой говорится в сказках, только вот по крови я не еврейка. Ирония в том…

— …что он трахается с нееврейками?

— Это было бы слишком просто. Я для него по-прежнему нееврейка, так что запретный плод он может сорвать и дома. Ирония в том, что он трахается с еврейками. С этой жирнючей блядью Ронит Кравиц, ассистенткой режиссера. Я не удивлюсь, если он заставит ее сменить веру.

— Я думал, она и так иудейка.

— Сменить иудейство на христианство, ту-

пица.

Треслав временно утратил дар речи. Как много всего он не понимал! Он чувствовал себя так, будто получил приз, о котором долго мечтал, и тут же этого приза лишился, не успев даже пристроить его на каминной полке. Тайлер Финклер была не из финклеров! Выходит, он так и не познал влажную темную загадочную сущность финклерской женщины?

Она начала одеваться.

— Надеюсь, я тебя не разочаровала, — сказала она.

— Разочаровала меня? Ничуть. Ты придешь смотреть вторую серию?

— Подумай об этом сам.

— А о чем тут думать?

— Ты должен знать, — сказала она.

При прощании она его не поцеловала, но, уже выйдя за порог, обернулась:

— Один полезный совет: не произноси в их присутствии слово «жидовка». — Она растянула звук «ж», подражая тому, как он сделал это ранее. — Им это очень не нравится.

Вечно им что-нибудь не нравится.

Однако Треслав не пренебрег ее рекомендацией «подумать самому».

Он думал о своем предательстве по отношению к другу и о том, кто в этом более виновен — он или Финклер? Он думал: можно ли считать отдельным удовольствием саму мысль о проникновении вслед за Финклером в лоно его жены? Во всяком случае, эта мысль была существенным дополнением к физическому удовольствию. И еще он думал: не могла ли Тайлер в результате долгого сожительства с Финклером «кошероваться изнутри», и тогда он, Треслав, через нее познал-таки тайную сущность евреек — или жидовок (используя раздражающий их термин)? А если нет, значило ли это, что он нисколько не продвинулся в их познании и должен вернуться к исходной точке?

Он продолжал ломать голову над этими и другими загадками религиозно-эротического свойства и после трагической смерти Тайлер.

3

Обычно Треслав спал крепко, но в последнее время он ночь за ночью лежал без сна, снова и снова прокручивая в голове обстоятельства нападения.

Что же такое произошло? Как бы он описал случившееся в полиции, если бы туда обратился?

Итак, он провел вечер с двумя старыми друзьями, Либором Шевчиком и Сэмом Финклером, оба они недавно овдовели («Нет, офицер, сам я не женат»). Они говорили о личных утратах, о музыке и о ситуации на Ближнем Востоке. Он ушел от Либора около одиннадцати часов вечера и немного постоял перед решеткой парка, вдыхая запах листвы («Часто ли я это делаю? Нет, офицер, только когда я хочу успокоить нервы»), а затем проследовал пешком мимо Дома вещания — чтоб ему провалиться в тартарары! («Это шутка, просто шутка, офицер») — до того места, где его отец когда-то держал магазин табачных изделий («Уверяю вас, офицер, я твердо стоял на ногах и не впадал в пьяную ностальгию»), и вдруг откуда ни возьмись…

Именно «откуда ни возьмись» — вот что его особенно потрясло. У него не было предчувствия опасности, тогда как обычно эти предчувствия возникают по малейшему поводу.

Хотя…

Хотя, сворачивая на Мортимер-стрит, он как будто заметил фигуру в тени на противоположной стороне улицы — довольно крупную, смутно различимую, но, вполне возможно, женскую…

Отсюда следовал закономерный вопрос: если

он в самом деле заметил эту фигуру, почему не насторожился, а беспечно подошел к витрине Гивье, подставляя свою спину нападавшему, кто бы им ни был?

Виновен.

Опять виновен.

Имело ли значение то, что он видел или не видел в тени?

Судя по всему, имело. Если он увидел ее и затем повернулся, как бы *провоцируя* нападавшую, это хотя бы отчасти объясняло ее последующие слова. Он понимал несправедливость и безнравственность утверждений, будто евреи сами провоцируют своих гонителей, но не заложена ли в этих людях подсознательная готовность к катастрофе, которую и распознала нападавшая? Иными словами, не повел ли он себя по-финклерски?

Если да, то почему он так поступил?

Вопросы возникали один за другим. Допустим, он повел себя по-финклерски, и допустим, женщина это поняла, но разве это само по себе может стать поводом для нападения?

Чем бы ни объяснялись *его* действия, как объяснить действия *нападавшей?* Или человек уже не имеет права прикинуться финклером, если ему

взбредет в голову такая мысль? Если Треслав, стоя перед витриной скрипичного магазина, походил на Горовица, или Малера,[54] или Шейлока,[55] или Феджина,[56] а также на Билли Кристала, Дэвида Швиммера, Джерри Сайнфелда, Джерри Спрингера, Бена Стиплера, Дэвида Духовны, Кевина Клайна, Джеффа Голдблюма, Вуди Аллена и прочих граучо Марксов — послужило ли именно это сходство причиной ее нападения?

Неужели принадлежность к финклерам автоматически означает, что ты напрашиваешься на оскорбления или побои?

До сих пор он полагал случившееся своей личной неприятностью (еще бы не полагать, когда некто выкрикивает что-то похожее на твое имя и лишает тебя личного имущества), но теперь задумался: а не стал ли он жертвой одной из антисемитских выходок, оказавшейся неудач-

---

[54] Примечания: 54

Малер Густав (1860–1911) — австрийский композитор и дирижер, в 1897–1907 гг. директор Венской оперы; постоянно подвергался травле из-за своего еврейского происхождения.

[55] Примечания: 55

Шейлок — еврей-ростовщик в комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (1596).

[56] Примечания: 56

Феджин (тж. Фейгин) — персонаж романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839), лондонский еврей, промышлявший скупкой краденого.

ной лишь в том смысле, что он не был семитом? Сколько подобных инцидентов происходит на улицах столицы каждую ночь? Сколько финклеров вот так подвергаются нападениям? Да еще и под боком у Би-би-си, чтоб ей было пусто!

У кого бы спросить? Сэм Финклер для бесед на эту тему не годился. А Либора он не хотел тревожить расспросами о том, сколько евреев обычно избивают по ночам под окнами его дома. Тогда он решил покопаться в Сети и, набрав «антисемитские инциденты» в строке поиска, был изумлен, обнаружив свежий перечень длиной более ста страниц. Конечно, далеко не все перечисленные инциденты произошли под боком у Би-би-си, но все же их количество в странах, относящих себя к цивилизованным, оказалось гораздо большим, чем он ожидал. Найдя толково построенный сайт, предлагавший выборку по странам, он начал издалека.

Венесуэла.

В Каракасе полтора десятка вооруженных людей связали охранника и ворвались в синагогу, где исписали все стены антисемитскими лозунгами, растоптали свитки Торы и творили прочие бесчинства на протяжении почти пяти часов. Граффити включали фразы: «Долой евреев!»,

«Жиды — вон!», «Израильские убийцы!»; кроме того, они оставили в синагоге картину, изображающую дьявола.

Последняя деталь заинтриговала Треслава. Она означала, что эти люди заранее планировали нападение, а не просто оказались во время прогулки вблизи синагоги и ворвались внутрь по внезапному побуждению. Ибо кто же берет с собой на прогулку картину, изображающую дьявола?

Аргентина.

Группа евреев, праздновавших годовщину независимости Израиля, была атакована бандой юнцов с ножами и бейсбольными битами. Тремя неделями ранее, в День памяти жертв холокоста — «ну пошло-поехало: холокост, холокост…», — памятники на старом еврейском кладбище были разрисованы свастикой.

Канада.

Канада?! Да, Канада.

Во время ежегодно проводимой Недели борьбы против израильского апартеида, включающей мероприятия в студенческих городках по всей стране, силы безопасности жестко расправились с еврейскими пикетчиками; при этом один из агентов пригрозил отрезать бензопилой голову студенту-еврею.

«Средство устрашения в самый раз для страны лесорубов, — подумал Треслав. — Интересно, это у них тоже стало традицией, как и Неделя борьбы?»

Затем он переместился поближе к дому.

Франция.

В Фонтене-су-Буа мужчина, носивший на шее цепочку со звездой Давида, получил из-за этого несколько ударов ножом.

В Ницце надписи «Смерть жидам!» появились на стенах начальной школы. То есть смертью грозили им уже с юных лет.

В Эльзасе три бутылки с коктейлем Молотова были брошены в синагогу.

В Кретее, близ Парижа, два шестнадцатилетних еврея были избиты перед входом в кошерный ресторан группой лиц, кричавших: «Палестина победит вас, грязные жиды!»

Германия.

Что, они по-прежнему занимаются этим в гребаной Германии?

И он пролистнул дальше, не потрудившись уточнить, чем и как они по-прежнему занимаются в гребаной Германии.

Англия.

Ну вот и родная Англия. В Манчестере трид-

цатиоднолетний еврей был избит несколькими мужчинами, которые сопровождали этот процесс криками: «За Газу!»

В Бирмингеме двенадцатилетняя школьница еле убежала от толпы сверстников, вопивших: «Смерть жидам!»

А в Лондоне, неподалеку от здания Би-би-си, нееврей сорока девяти лет, с голубыми глазами и правильными чертами лица, был ограблен и назван «жидом».

В конце концов он позвонил Финклеру и после приветствия спросил, известно ли тому, что в Каракасе… и в Буэнос-Айресе… и в Торонто — да, Торонто!.. и под Парижем… и в Лондоне… но тут Финклер его прервал.

— Не скажу, что мне приятно все это слышать, — заявил он, — но ведь это еще не Хрустальная ночь?[57]

Спустя час раздумий Треслав позвонил ему снова.

— Но ведь Хрустальной ночи тоже что-то предшествовало, — сказал он, имея, впрочем, самое

---

[57] Примечания: 57

Ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., когда по всей территории Третьего рейха прокатилась волна еврейских погромов, санкционированных властями. Название «хрустальная» было дано из-за множества разбитых витрин и окон домов, принадлежавших евреям.

смутное представление о том, что предшествовало Хрустальной ночи.

— В следующий раз звони мне, когда евреев начнут убивать на Оксфорд-стрит только за то, что они евреи, — сказал Финклер.

4

Хоть это и не была Хрустальная ночь, но в сознании Треслава неспровоцированное нападение на него «в качестве еврея» постепенно начало ассоциироваться если не со зверствами нацистов, то с чем-то почти столь же чудовищным. Он понимал, что перевозбужден (как и той ночью с Кимберли, которая сочла его евреем, и ее ошибка обернулась для него лучшим сексом за всю жизнь — в сорок девять лет!) и в таком состоянии не может полагаться на собственную память.

И тогда он решил вернуться на то самое место и восстановить цепь событий, начиная не от Либора — он не хотел вовлекать его в свои проблемы, — а от ворот Риджентс-парка. За прошедшие недели похолодало, и он не мог одеться так же легко, как той ночью. В пальто он выглядел массивнее, что уменьшало вероятность его узнавания бандиткой — про себя он именовал ее Джудит, — если та вдруг объявится там одновре-

менно с ним.

Имя Джудит — Юдифь — он дал ей, вспомнив историю с канадским агентом, который грозился отпилить голову студенту-еврею, и проведя аналогию с Юдифью, обезглавившей Олоферна. Правда, в библейском случае еврейка расправилась с неевреем, а не наоборот, но для аналогии был важнее сам дух нетерпимости и насилия, столь характерный для ближневосточных конфликтов. Там, где жил Треслав — условно назовем это Хэмпстедом, — даже злейшие враги все же оставляли на плечах голову друг друга.

Мобильник и кредитки он с собой не взял, сочтя за благо перестраховаться.

Так в чем же была его цель: подставиться под новое нападение? Давай, Джудит, покажи себя во всей злодейской красе (но теперь он будет не такой легкой добычей, предупрежденный и, значит, вооруженный). *Надеялся* ли он на новое нападение или просто хотел посмотреть в глаза этой антисемитке, а там будь что будет?

Ни то ни другое — а может, и все вместе в процессе «собственного расследования».

Одновременно где-то в глубине его помраченного сознания вызревало решение задержать преступницу, как только она объявится, чтобы

затем передать ее властям.

Он ухватился за решетку парковых ворот, вдыхая запах осенней листвы. Он не мог усилием воли вызвать у себя то безмятежно-ностальгическое настроение, в котором он пребывал, стоя здесь же двумя неделями ранее. Да и был ли он так уж безмятежен? Может статься, он уже тогда подсознательно искал неприятностей?

Он вспомнил споры между Финклером и Либором, в которых сам он выступал лишь статистом, и всегда завидовал той увлеченности, с какой они обсуждали очередной финклерский вопрос, перебивая друг друга дежурным «пошло-поехало», словно взаимное недоверие было намертво врезано в сознание финклеров, как название приморского курорта, врезанное в нависающую над ним скалу, — примерно так же бывает и со взаимной любовью. В ходе спора оба разгорячились, и на Треславе мог остаться их запах, который, в свою очередь, мог потом уловить кто-то посторонний. Он подумал, что, пожалуй, стоило сперва заглянуть к Либору и выпить с ним по бокалу вина. Как можно в точности смоделировать события того вечера, если не начать с Либора?

Он вернулся от парка к дому Либора и нажал кнопку звонка. Никто не ответил. Либор куда-то

ушел, — возможно, ему опять устроили свидание и теперь он вынужден беседовать о знаках зодиака с девицей, слишком юной, чтобы слышать о Джейн Расселл. Или он сейчас лежит у себя в квартире перед «бехштейном» рядом с пустым флаконом из-под снотворного и с петлей из рояльной струны вокруг шеи — именно так лежал бы Треслав, если бы Малки была его женой и оставила его в одиночестве на этом свете.

В голове всплыл тот экспромт Шуберта, и глаза его наполнились слезами. Почему отец не позволил ему учиться музыке? Что он боялся обнаружить в своем сыне? Болезненность восприятия? Выражение из лексикона Финклера. Ну и что такого неладного с этим восприятием?

Настороженным шагом он проследовал мимо опасностей (духовных и вполне материальных) Дома вещания и обогнул Нэшеву церковь. Он не мог в точности восстановить маршрут, каким следовал в ночь нападения, но помнил, что какое-то время проторчал перед лавками на Райдинг-Хаус-стрит, где прежде находилось и заведение его отца. Он прошел дальше по этой улице, а затем перешел на параллельную Мортимер-стрит и двинулся в обратном направлении, к магазину Гивье. Чтобы приблизиться к нему с правильной

стороны — как в прошлый раз, — ему пришлось пройти еще немного до Риджент-стрит и потом вернуться. При этом он внимательнее, чем обычно, всматривался в тени у подъездов. Он также постарался выглядеть особенно уязвимым, хотя случайно встреченный знакомый вряд ли заметил бы какие-нибудь изменения в его обычной походке или же его повышенную, против обычной, нервозность.

Улицы были оживленны примерно в той же степени, что и двумя неделями ранее. Та же парикмахерская и тот же китайский ресторан были еще открыты; тот же газетчик выкладывал на прилавок свежие номера. Если не считать теперешней прохлады, эти две ночи были идентичными. Треслав затаил дыхание, приближаясь к витрине «Ж. П. Гивье и К°». Он понимал, что это глупо. У женщины, напавшей на него в тот раз, наверняка были дела поважнее, чем дожидаться в засаде его возможного возвращения. Да и зачем? Она и так уже забрала все его ценные вещи.

Но если тогда ее поведение было необъяснимым, почему бы ей сейчас не совершить еще один необъяснимый поступок? Вдруг она пожалела о содеянном и собиралась вернуть его вещи? С другой стороны, грабеж мог быть лишь первой

пробой перед тем, что она заготовила для него в дальнейшем — нож в сердце? пулю в голову? бензопилой по горлу? Расплата за воображаемое зло, которое он ей якобы причинил. Или расплата за реальное зло, причиненное Финклером, с которым она его спутала.

Последний вариант казался воистину ужасным — и не потому, что его приняли за Сэма Финклера (хотя это само по себе уже было оскорбительным), а потому, что он должен по ошибке нести ответственность за какие-то гнусные деяния Финклера. С этого Финклера станется обидеть женщину и довести ее до безумной ярости. Он представил себя умирающим вместо Финклера, беспомощно распростертым на асфальте, — умирающим за преступления, которые сам он никогда и ни за что бы не совершил. «Какая горькая ирония судьбы!» — подумал он, ощущая предательскую слабость в коленках. Подобный горько-иронический финал его жизни не был для Треслава абстрактным предположением: он отчетливо предвидел его, как предвидел внезапно возникающие перед ним поваленные столбы и деревья.

И вот ему уже виделось его собственное тело, распростертое на улице Каракаса — или Буэнос-Айреса, или Фонтене-су-Буа, или Торонто, — и

пинки неравнодушных прохожих, обзывающих его «еврейской собакой».

Он стоял перед витриной Гивье, любуясь инструментами в футлярах и новым набором канифолей, похожих на шоколадки в красивых обертках, — этого набора здесь не было во время его прошлого визита. И вдруг на плечо ему опустилась рука.

— Джудит! — вскричал он, мгновенно холодея от ужаса.

Глава 4

1

Примерно в то же самое время (плюс-минус полчаса) в ресторане, расположенном неподалеку (от силы четверть мили), сыновья Треслава оплачивали счет за ужин. Оба были со своими матерями. Это была уже не первая встреча двух женщин, хотя они не знали о существовании друг друга в ту пору, когда были беременны соответственно Ральфом и Альфом, а также в первые несколько лет после их рождения.

Треслав не был Финклером. Он не мог одновременно любить двух и более женщин; каждая влюбленность поглощала его целиком. Но он всякий раз заранее чувствовал, когда женщина была готова его бросить, и по возможности не мешкал с очередной всепоглощающей влюбленностью. Как следствие, иногда промежуток между его старой и новой влюбленностями бывал очень кратким. Он принципиально не сообщал об этом ни прежней, ни новой возлюбленной, полагая, что у женщин и так много поводов для расстройства, и не желая расстраивать их еще больше. В

этом он также видел разницу между собой и Финклером, который не считал нужным скрывать от жены своих любовниц. Треслав завидовал Финклеру из-за его любовниц, но признавал, что сам он не мог бы их нормально содержать. Он не смог бы нормально содержать и жену, довольствуясь материально независимыми «подругами». Но при этом он соблюдал правила приличия, не знакомя своих подруг между собой.

Из тех же соображений он никогда не свел бы вместе своих сыновей, если бы однажды не перепутал день, который он имел право провести с Родольфо (Треслав не одобрял английских сокращений их имен), с днем, предназначенным для Альфредо. Мальчикам было шесть и семь лет, хотя Треслав не всегда мог вспомнить, которому из двоих сколько именно, — для этого он слишком редко с ними виделся, а когда никого из них не было рядом, они сливались в его сознании. Да и так ли это важно? Он одинаково любил обоих, а спутанные порой имена и возраст свидетельствовали лишь о том, что он в своей любви не отдавал предпочтения тому или другому.

Мальчики удивились, в первый раз встретившись у отца, но им пришлась по душе идея играть с кем-то приблизительно своего возраста, нежели

пинать мячик в пустынном парке с Треславом, который быстро уставал от детских игр, вечно смотрел куда-то в сторону, а когда вспоминал о присутствии сыновей, начинал задавать слишком много вопросов о здоровье их мам. Так что Альф и Ральф попросили отца и впредь встречаться с ними обоими одновременно.

У себя дома каждый из мальчиков возбужденно сообщил о наличии у него единокровного брата, и очень скоро Треслав получил сердитые послания от своих бывших подруг: мама Родольфо упрекала его в давней неверности, добавляя, что лично ее это нисколько не трогает, а мама Альфредо уведомляла, что отказывает ему в праве встречаться с сыном и намерена продолжать разговор на эту тему только через адвокатов. Но в конечном счете желания мальчиков возобладали над бездумной злостью (как назвал это Треслав) их матерей, а последние со временем пришли к выводу, что могут найти какое-то удовольствие в совместном злословии насчет Треслава или же совместно найти ответ на вопрос, почему обе согласились иметь детей от человека, на которого обеим было глубоко плевать. Когда Треслав окольными путями узнал о содержании их бесед, он счел такую формулировку в корне неверной,

поскольку согласие одной стороны предполагает просьбу другой, а он никогда не просил женщин завести ребенка. С какой стати ему это делать? В его мечтах о счастье занавес опускался тот в момент, когда он восклицал: «Мими!» или «Виолетта!» — целуя мертвые губы возлюбленной, которая должна оставить его безутешным вовеки. Ребенок здесь был неуместен. Ребенок превращал трагическую оперу в оперу-буфф и делал необходимым как минимум еще один акт, на который у Треслава не хватало ни силы духа, ни фантазии.

При первой встрече женщины были озадачены внешним сходством не только между их детьми, но и между ними самими.

— Я могла бы понять, если бы он после меня нашел грудастую бабенку с жирными ляжками и огненным латинским темпераментом, — сказала Джозефина. — Но что такое он мог искать в тебе, чего бы уже не было во мне? Мы обе тощие англосаксонские клячи.

Ей было вовсе не смешно, однако она попробовала рассмеяться — получился кашляющий выдох с кислой улыбочкой, искривившей ее тонкие губы.

— Это если считать, что он изменял *тебе* со

мной, а не *мне* с тобой, — внесла поправку Дженис; ее губы также имели прихотливый изгиб, как створки морского гребешка или кайма кружевного нательного белья, при улыбке раздвигаясь в стороны, но не вверх-вниз.

Они не знали точно, кто из них раньше сошелся с Треславом, а возраст мальчиков был ненадежным ориентиром, поскольку Треслав, как правило, не сразу прекращал отношения и порой встречался со старой подругой уже после того, как обзавелся новой. Но обе согласились, что он заслуживал изгнания — «пинка под зад», по словам Дженис, — и что они были счастливы от него избавиться.

Треслав познакомился с Джозефиной на Би-би-си и сразу же проникся к ней сочувствием. Самые красивые женщины на Би-би-си были еврейками, а он в ту пору боялся иметь с ними дело. Одна из причин его сочувствия к Джозефине как раз и заключалась в том, что она была не такой яркой и самоуверенной, как корпоративные еврейки. Но это была только одна из причин. Будучи костлявой клячей (по ее собственному признанию), она при этом имела непропорционально широкие бедра и носила чулки с рисунком в виде паучков. Еще ей нравились прозрачные

блузки — сквозь которые виднелся бюстгальтер, вдвое превосходящий размер ее груди, — а также нелепые платья-рубашки и то, что мама Треслава, помнится, именовала «корсажами в стиле либерти». Сидя напротив нее на торжественной церемонии — она тогда получала награду Академии радио компании «Сони» за программу о мужской менопаузе, — Треслав, никаких наград не получавший, от нечего делать стал считать ее бретельки и насчитал по пяти штук на каждом плече. Произнося краткую речь (о притоке свежих идей и все такое в дежурном би-би-сишном стиле), она сильно покраснела — точно так же она краснела всякий раз, когда Треслав заговаривал с ней в коридоре или столовой, и красные пятна часами не сходили с ее кожи. Треслав понимал ее смущение и однажды предложил ей найти убежище от этого мира у себя на плече.

— Унижение делает нас более человечными, — прошептал он, касаясь губами ее мертвых волос.

— А кто тут унижен?

— Я, — сказал он, щадя ее чувства.

Она завела ребенка по собственной инициативе, даже не сообщив ему о беременности. Кроме правильных черт лица, она не находила в Треславе ничего, что побудило бы ее выбрать

этого мужчину в отцы своему ребенку. Она и сама не понимала, зачем ей вообще понадобился ребенок. Страх перед абортом был одним из возможных объяснений, почему она оставила ребенка. И потом, она знала многих женщин, самостоятельно воспитывавших детей; в тот период матери-одиночки даже вошли в моду. Из тех же модных соображений она могла бы приобщиться к лесбийской любви, но эта идея привлекала ее не больше, чем мысль об аборте.

Еще одним объяснением, не хуже прочих, была злость. Она заимела ребенка от Треслава, чтобы ему досадить.

С Дженис Треслав сошелся, когда почувствовал, что Джозефина вот-вот его отвергнет (или в обратном порядке, учитывая путаницу с их очередностью). Обе совершенно справедливо отметили свое сходство. Все женщины Треслава так или иначе напоминали одна другую, ибо вызывали в нем сочувствие своей неврастенической бледностью, своим выпадением из ритма — не в танцевальном смысле, хотя танцевали все они никудышно, а в смысле «ритма жизни», — то есть они не умели правильно использовать в разговоре современные идиомы и не могли подобрать два предмета одежды так, чтобы те не резали

глаз своей дисгармонией. Он, разумеется, обращал внимание и на других, здоровых и бойких женщин, умевших складно говорить и хорошо одеваться, но он просто не видел, каким образом может *улучшить* их жизнь.

Кроме того, здоровые и бойкие женщины оставляли мало надежд на свою преждевременную смерть у него на руках.

У Дженис были ботинки, которые она носила круглый год, подклеивая их скотчем, когда они грозили развалиться. Основную одежду ее составляли широкая складчатая юбка неопределенной расцветки и серо-голубой кардиган с чересчур длинными рукавами, так что она могла прятать в них ладони. Конечности Дженис мерзли в любую погоду, чем она напоминала Треславу бедную сиротку из какого-нибудь викторианского романа. Она не состояла в штате Би-би-си, но, по мнению Треслава, отлично вписалась бы в когорту тамошних сотрудниц и даже могла бы недурно смотреться на их фоне. Как искусствовед и автор толстых монографий о духовной пустоте в работах Малевича и Ротко,[58] она регулярно

[58] Примечания: 58

Ротко Марк (Маркус Яковлевич Роткович, 1903–1970) — американский художник, один из лидеров абстрактного экспрессионизма; родился в еврейской семье на территории царской России.

появлялась в никем не замечаемых остаточно-финансируемых ночных программах, режиссером которых был Треслав. Она специализировалась на выявлении разного рода недостатков у художников-мужчин, причем относилась к этим недостаткам снисходительнее, чем это было модно у тогдашних критикесс. Треслав почувствовал глубокое эротическое сострадание к этой женщине в первую же минуту, когда она появилась в студии и надела наушники, которые, казалось, выдавили остатки крови из ее висков.

— Если ты думаешь, что я позволю тебе трахнуть меня на первом же свидании, — сказала она, отдаваясь ему на их первом свидании, — то ты жестоко ошибаешься.

Впоследствии она объяснила, что не считает ту их встречу свиданием.

Тогда он позвал ее на свидание, и она явилась в длиннющих эдвардианских[59] перчатках, купленных на благотворительной распродаже, и не позволила ему себя трахнуть.

— Тогда давай встретимся просто так, не на свидании, — предложил он.

Она сказала, что любая запланированная встре-

[59] Примечания: 59

Т. е. по моде столетней давности — времен Эдуарда VII (правл. 1901–1910).

ча уже будет считаться свиданием.

— Тогда давай не будем ничего планировать, — предложил он. — Давай просто трахаться.

Она дала ему пощечину.

— За кого ты меня принимаешь? — спросила она.

Одна из перламутровых пуговиц на перчатке рассекла Треславу щеку. Перчатка была такой старой и грязной, что он всерьез испугался заражения крови.

После этого случая они больше не устраивали свиданий, что позволяло Треславу трахать ее когда заблагорассудится.

— Еби меня, еби меня! — твердила она на выдохах, таращась в потолок, будто читала там эту фразу.

Он жалел ее всей душой. Но жалость не мешала ему выполнять ее просьбу.

Возможно, и она его жалела, в свою очередь. Из всех женщин, с которыми Треслав сходился в тот период, Дженис была едва ли не единственной, кто испытывал к нему подобие нежных чувств, — впрочем, не до такой степени, чтобы наслаждаться его обществом.

— Тебя нельзя назвать плохим, — сказала она однажды. — Я не о том, что ты неплохо выгля-

дишь или неплох в постели. Я о том, что ты по сути своей не злой. Тебе кое-чего не хватает, но только не доброты. Не думаю, что ты сознательно желаешь зла кому-нибудь. Даже женщине.

Возможно, она решила завести от него ребенка просто потому, что не видела в этом ничего плохого. Но сразу же заявила, что будет растить ребенка сама, без участия Треслава. Он не стал возражать и только спросил — почему?

— С твоим участием это будет слишком трудно, — сказала она. — Не обижайся.

— Без обид, — сказал Треслав, испытывая глубокую обиду и столь же глубокое облегчение.

Возможно, ему будет не хватать ее хладных конечностей, рассудил он, но уж точно не ее ребенка.

Познакомившись и увидев сыновей друг друга (каждый из которых обладал невыразительной — чтобы не сказать невзрачной — красотой их отца), обе женщины с раздражением отметили, что поддались влиянию Треслава, назвав детей Родольфо и Альфредо. В ту пору Треслав без конца крутил записи «Богемы» и «Травиаты». Поневоле обе досконально изучили эти оперы, особенно любовные дуэты и душещипательные финалы, в которых Треслав, уподобляясь Родольфо или

Альфредо, выкрикивал: «Мими!» или «Виолетта!» — иногда в волнении путая имена героинь, но всегда вкладывая в этот крик всю безысходную печаль человека, не мыслящего своей жизни без них — Виолетты или Мими.

— Из-за него я до сих пор ненавижу эти оперы, — сказала Джозефина. — И я не собиралась даже сообщать ему о сыне. Но почему я тогда назвала мальчика Альфредо? Ты можешь это объяснить?

— Я могу объяснить, почему назвала своего мальчика Родольфо, — сказала Дженис. — Это может прозвучать парадоксально, но я поступила так для того, чтобы полностью исключить Джулиана из моей жизненной схемы. Все эти его оперы зациклены на смерти, а если я заменю их новой жизнью, Джулиану тут уже не будет места.

— Я тебя отлично понимаю. Как ты думаешь, он, вообще, способен ужиться с какой-нибудь нормальной женщиной?

— Нет, конечно, как и с нормальным ребенком. Поэтому я держала Родольфо подальше от него. Я боялась, что он начнет крутить проигрыватель у его колыбели и забивать бедную детскую голову всякой дребеденью про нервических дамочек с ледяными руками.

— Я тоже так думаю, — сказала Джозефина, на самом деле подумав о том, что Родольфо, как сын Дженис, не имел шансов уберечься от подобных дамочек и от их ледяных рук.

— Нет ничего хуже этих романтиков, верно?

— Совершенно верно. Их нужно отрывать от себя, как пиявок.

— Прежде чем оторвать пиявку, ее следует чем-то прижечь.

— Или облить спиртом. Ты ведь понимаешь, о чем я. Они твердят вам о страстной любви, одновременно уже присматривая следующую женщину.

— Они всегда сидят на чемоданах — мысленно.

— Вот именно. Правда, в моем случае я собрала вещи раньше его.

— Я тоже.

— Чертовы оперы! Как подумаю о всех этих музыкальных смертях…

— Вот-вот. «О боже, умереть столь юной!» и так далее. До сих пор в этих звуках мне чудится запах смертного ложа. Иногда я думаю, что он таким образом подспудно старается свести меня в могилу.

— Пуччини?

— Нет, Джулиан. А если о музыке, то Верди. Это

твой из Пуччини.

— Но как он это делает?

— Пуччини?

— Нет. Джулиан.

— Вот бы знать!

Они встречались раз в два-три года, выбирая поводом то день рождения Альфа или Ральфа, то еще что-нибудь приемлемое, вроде годовщины удаления из их жизни Треслава (не суть важно, кто из них удалил его чуть раньше). Эта традиция не прервалась и после того, как их сыновья стали взрослыми и поселились отдельно от матерей.

В этот вечер они намеренно избегали всяких упоминаний о Треславе, которому и так уже было уделено незаслуженно много времени в их предыдущих беседах и который дополнительно раздражал их тем, что зарабатывал на жизнь столь малопочтенным способом. Как ни крути, он оставался отцом Альфа и Ральфа, и матерям хотелось бы сознавать, что отец их детей достиг в этой жизни чего-то большего, нежели роль двойника по вызову.

Но когда они уже одевались перед выходом из ресторана, Джозефина обратилась к Родольфо, сыну Дженис.

— Были новости от отца в последнее время? —

спросила она.

Почему-то она была не в силах задать тот же вопрос собственному сыну.

Родольфо отрицательно покачал головой.

— А у тебя? — обратилась Дженис к Альфредо.

— Забавно, что вы о нем вспомнили, — сказал Альфредо. — Сказать по правде, кое-что есть…

После этого они вернулись за столик, сказав официанту, что посидят здесь еще немного.

2

— Кто такая Джудит?

Если бы ноги Треслава подкосились — а это чуть было не произошло, — у Либора Шевчика вряд ли хватило бы сил удержать его от падения.

— Либор!

— Я тебя напугал?

— Разве это не очевидно?

— Я неправильно спросил. *Почему* я тебя напугал?

Треслав взглянул на свое запястье, прежде чем вспомнил об утрате часов.

— Уже очень поздно, Либор, — сказал он, как будто считывая эту информацию с невидимого наручного циферблата.

— Я все равно не сплю, — сказал Либор. — Ты

же знаешь, что я совсем не сплю.

— Но я не знал, что ты разгуливаешь по ночным улицам.

— Обычно я этого не делаю. Я гуляю только после тяжелого дня. Этот день был тяжелым. И предыдущий тоже. Однако и я не знал, что ты заделался ночным гулякой. Почему ты не позвонил, чтобы мы прогулялись вместе?

— Вообще-то, я сейчас не гуляю.

— Это связано с Джудит?

— О чем ты? Я не знаю никакой Джудит.

— Ты только что произнес это имя.

— Джудит? Тебе показалось. Наверно, я воскликнул: «Уйди!» Спонтанная реакция на неожиданное прикосновение.

— Если ты не гулял и не ожидал Джудит, что ты здесь делал — выбирал виолончель?

— Я всегда останавливаюсь перед этой витриной.

— Я тоже. Малки приводила меня сюда, чтобы оценить мою скрипку. Для нас это была одна из остановок на крестном пути.

— Ты разве веришь в Христа?

— Нет, но я верю в страдания.

Треслав тронул друга за плечо. Либор казался ниже ростом, чем обычно, как будто его подав-

ляли окружающие дома. Или он физически уменьшился после смерти Малки?

— Ну и как они оценили твою скрипку? — спросил Треслав, просто чтобы продолжить беседу и не дать выход внезапным слезам.

— Не настолько высоко, чтобы стоило ее продавать. Но я пообещал Малки, что больше не буду играть с ней дуэтом. Моя игра на скрипке была в ее глазах моим единственным недостатком, а она не хотела видеть во мне недостатки.

— Разве ты плохо играл?

— Сам я считал, что играю прекрасно, но я все равно недотягивал до уровня Малки, хотя и состою в родстве с Хейфецом.[60]

— В родстве с Хейфецом? Ты никогда об этом не говорил.

— Ты никогда об этом не спрашивал.

— Я не знал, что Хейфец родился в Чехии.

— Вообще-то, он из Литвы. Предки моей матери жили в местечке под названием Сувалки, на границе Литвы и Польши. Кто только его не захватывал в разное время. Красная армия передала его немцам, чтобы те могли истреблять местных

---

[60] Примечания: 60

Хейфец Яша (Яков Рувимович Хейфец, 1901–1987) — один из величайших скрипачей XX в., родом из Вильно; в 1917 г. уехал из России, с 1925 г. — гражданин США.

евреев. Потом красные снова захватили Сувалки и добили тех, кто там еще оставался. Я прихожусь Хейфецу пяти- или шестиюродным братом, хотя моя мама и утверждала, что мы состоим в куда более близком родстве. Она позвонила мне из Праги, когда прочла в газете, что Хейфец будет выступать в Альберт-холле, и заставила меня торжественно пообещать ей, что пройду за кулисы и с ним познакомлюсь. Я попробовал, но в то время у меня еще не было нужных связей и я еще не научился проникать куда нужно без всяких связей. Закулисные прислужники всучили мне заготовленное фото с автографом и дали от ворот поворот. «И что он тебе сказал?» — на другой день спросила по телефону мама. «Он передал сердечный привет», — сказал я. Иногда не вредно и соврать. «Он хорошо выглядел?» — «Отлично». — «А как он играл?» — «Великолепно». — «Он помнит своих родственников?» — «Помнит всех поименно, а тебе шлет поцелуй».

И, стоя перед витриной Гивъе поздним лондонским вечером, он послал в никуда печальный прибалтийский поцелуй, который Хейфец передал бы его матери, если бы Либор сумел до него добраться.

«Вот они, евреи», — с удивлением думал Тре-

слав. Евреи и музыка. Евреи и их семьи. Евреи и их сплоченность (Финклер не в счет).

— Но вернемся к тебе, — сказал Либор, беря Треслава за руку. — Что тебя привело в это место, если дело не в Джудит? Я уже несколько дней не имел от тебя весточки. Ты не звонишь, не пишешь, не стучишься в дверь. Помнится, ты говорил, что переволновался и хочешь побыть один. А теперь мы встречаемся в сотне шагов от моего дома. Надеюсь, ты сможешь объяснить свое странное поведение.

И тут Треслав — любивший, когда Либор брал его под руку на улице, что занятным образом заставляло его самого ощущать себя этаким мудрым маленьким сморщенным евреем, — тут Треслав понял, что пришла пора излить душу.

— Посидим в кафе, — предложил он.

— Лучше пойдем ко мне, — сказал Либор.

— Нет, лучше в кафе где-нибудь поблизости. Мы можем оттуда ее увидеть.

— Ее? Кого это ее? Ту самую Джудит?

Не желая сразу пускаться в объяснения, Треслав согласился пойти к Либору.

По мнению Либора, его друг нуждался в отдыхе и перемене мест. Посему он предложил вместе отправиться куда-нибудь в теплые края. В Рими-

ни, например. Или в Палермо.

— Сэм говорил мне то же самое.

— Что нам с тобой нужно съездить в Римини? — уточнил Либор. — Или он сам собирался с тобой в Римини? Почему бы, кстати, нам не поехать втроем?

— Нет, Сэм тоже говорил, что мне нужен отдых, но не собирался отдыхать со мной. Наоборот, он считает, что мне надо поменьше общаться с вами обоими. Слишком много смертей и слишком много вдовцов в моей жизни, так он сказал. А он как-никак философ по профессии.

— Тогда последуй его совету. Мне будет не хватать твоего общества, но я это переживу. Я могу связать тебя со своими друзьями в Голливуде. Или, по крайней мере, с праправнуками моих друзей.

— И ты тоже считаешь меня фантазером. Почему мне никто не верит?

— Потому что женщины обычно не грабят мужчин таким образом: хватая за шею и размазывая рожей по стеклу. С дряхлым старцем вроде меня она еще могла бы рискнуть на такое, но ты молод и силен. Это во-первых. Во-вторых, женщины обычно не нападают на мужчин посреди улицы с криком «ах ты, жид!», особенно — и это в-тре-

тьих — если эти мужчины не являются евреями. Третий пункт непробиваем, и он закрывает эту тему.

— Однако она действовала и говорила именно так.

— Это тебе показалось.

Треслав утонул в плюшевом дискомфорте бидермейерского дивана Либора.

— А что, если?.. — спросил он, осторожно опираясь на подлокотник, чтобы не протирать рукавом вычурную обивку.

— Если что?

— Что, если она права?

— В том, что ты…

— Именно.

— Но ведь это не так.

— Мы *думаем*, что это не так.

— А прежде у тебя были поводы так думать?

— Нет… Хотя, пожалуй, да. Я был музыкальным ребенком. Я слушал оперы и хотел играть на скрипке.

— Само по себе это не признак еврейства. Вагнер тоже слушал оперы и хотел играть на скрипке. Гитлер любил оперы и хотел играть на скрипке. Когда Муссолини встречался с Гитлером в Альпах, они вместе сыграли Концерт для двух

скрипок Баха. «А теперь займемся истреблением евреев», — сказал Гитлер, когда они закончили. Для того чтобы любить музыку, не обязательно быть евреем.

— Это правда?

— Разумеется. Совсем не обязательно.

— Нет, я про Гитлера с Муссолини — это правда?

— Да какая разница, правда это или нет? С мертвого фашиста взятки гладки. Послушай, если бы ты был тем, кем посчитала тебя эта воображаемая женщина, и при этом хотел бы играть на скрипке — будь уверен, ты бы на ней играл. И ничто бы тебя не остановило.

— Я послушался отца. Это о чем-нибудь говорит? Я уважал отцовскую волю.

— Повиновение отцу вовсе не делает тебя евреем. А нежелание отца учить тебя игре на скрипке означает, что он, скорее всего, евреем не был. Если и есть что-то, в чем все еврейские отцы единодушны…

— Сэм сказал бы, что ты подгоняешь их под стереотип. Возможно, отец был против моей учебы как раз потому, что не желал мне повторения собственной участи.

— Он играл на скрипке?

— Да, как и ты. Теперь понимаешь?

— И почему он не желал тебе той же участи? Он был настолько плохим скрипачом?

— Либор, я пытаюсь говорить серьезно. У него наверняка были свои причины.

— Прости. Но почему он не хотел, чтобы ты походил на него? Он был несчастлив? Он страдал?

Треслав немного подумал и сказал:

— Да. Он принимал все очень близко к сердцу. Смерть моей мамы его совершенно подкосила. Но страдать он начал еще задолго до этого, как будто предвидел такой исход и всю жизнь к нему готовился. Быть может, он старался оградить меня от сильных переживаний, от чего-то такого, что страшило его в самом себе, — чего-то крайне нежелательного и даже опасного.

— Евреи не единственный народ-страдалец в этом мире, Джулиан.

Треслав был разочарован. Он надувал щеки, тяжело дышал и тряс головой, одинаково неудовлетворенный как собственными доводами, так и контрдоводами Либора.

— Вот еще одна деталь, — сказал он. — За все годы моего детства при мне ни разу не прозвучало слово «еврей». Тебе это не кажется странным? И за все годы моего детства я не видел ни одного

еврея в обществе отца, в его лавке или у нас дома. Я слышал все прочие слова. Я встречал всех прочих людей. Даже готтентоты и люди с островов Тонга бывали в отцовской лавке. Но никогда там не бывало евреев. До встречи с Сэмом Финклером я даже не знал, как выглядят евреи. А когда он побывал у нас в гостях, отец сказал, что не считает его подходящей для меня компанией. «Ты все еще водишься с этим *Финклером*?» — спрашивал он позднее. Объясни мне это.

— Проще простого. Твой отец был антисемитом.

— Если бы он был антисемитом, слова «евреи», «жиды» и производные от них звучали бы в нашем доме с утра до ночи.

— А как насчет твоей матери? Еврейство определяется по материнской линии.

— Черт возьми, Либор! Еще пять минут назад я был гоем, а теперь ты рассуждаешь о правильном наследовании моего еврейства. Что дальше — ты захочешь проверить, сделано ли мне обрезание? Я не знаю насчет моей матери. Могу лишь сказать, что внешне она не походила на еврейку.

— Джулиан, внешне ты тоже не походишь на еврея. С виду ты *наименее* евреистый из всех людей, каких я встречал, а мне доводилось встре-

чать шведских ковбоев, каскадеров-эскимосов, прусских кинорежиссеров и польских нацистов, работавших декораторами на Аляске. Готов поклясться, что ни един еврейский ген не попал в твою родословную за последние десять тысяч лет, а десять тысяч лет назад еще и евреев-то не было. Благодари свою судьбу. Человек вполне может жить хорошо и счастливо, не будучи при этом евреем. — Он сделал паузу. — Возьми, к примеру, Финклера.

Тут оба расхохотались, громко и язвительно.

— Злая шутка, — сказал Треслав, сделав глоток из бокала. — Но это лишь подтверждает мою правоту. Такие вещи нельзя решать поверхностно. Ты можешь зваться Финклером и при этом оставаться за бортом, а можешь зваться Треславом…

— Не очень-то еврейское имя.

— Согласен. И тем не менее даже с этим именем ты можешь попасть на борт. Допустим, отец не хотел, чтобы я и все окружающие узнали о нашем еврействе, и потому сменил фамилию на Треслав — самую нееврейскую из всех, какие он смог подобрать. Назваться Треславом, это ж надо придумать! Да это все равно что наклеить себе на лоб ярлык «нееврей». Как тебе такая версия?

— Я скажу, что думаю об этой версии, мистер Перри Мейсон.[61] Почему бы тебе не бросить все эти смехотворные гадания и не расспросить кого-нибудь знающего? Спроси своего дядю или друзей своего отца, спроси кого угодно, кто знал твою семью. Эта загадка может быть разрешена одним телефонным звонком.

— Никто толком не знал мою семью. Мы всегда держались особняком. И нет у меня никакого дяди. Отец не имел братьев и сестер, как и мама. Это их и сблизило, они сами так говорили мне. Двое сирот, два сапога пара. Два отрезанных ломтя. Какова метафора?

Либор покачал головой и долил виски в бокалы.

— Это лишь указывает на твое нежелание выяснять правду, поскольку тебя больше устраивают выдумки. О'кей, продолжай в том же духе. Будь евреем. *Trog es gezunterhait!*[62] — И он отсалютовал бокалом.

Либор сидел, скрестив ноги, на которых (он сменил обувь, придя с улицы) красовались старо-

---

[61] Примечания: 61

Хитроумный адвокат, герой серии детективных романов С. Гарднера (1889–1970).

[62] Примечания: 62

На здоровье! *(идиш)*

модные тапочки с его инициалами, вышитыми золотой нитью. Подарок от Малки, предположил Треслав. В этих тапочках он казался еще более ветхим, полупрозрачным, угасающим. И все же его положение в этом мире было более надежным, чем у Треслава. Либор был у себя дома. Он был самим собой. Он продолжал любить ту единственную женщину, которую он любил в своей жизни. На каминных свадебных фото они были вместе с раввином — Малки под вуалью, Либор в шапочке на макушке. Уходящие корнями в древность. Знающие все о себе. Музыкальные — потому что музыка соответствовала романтике их отношений.

Еще раз взглянув на тапочки Либора, он заметил, что на одном были инициалы ЛШ, а на другом — ЭС. Ну да, конечно: в свой голливудский период Либор Шевчик работал под псевдонимом Эгон Слик. Евреи запросто меняют имена, когда им это нужно. Так почему же Либор/Эгон не мог проявить больше снисхождения, скажем, к Тейтельбауму/Треславу?

Он сделал рукой круговое движение, и виски закрутился в бокале. Богемский хрусталь. Его отец тоже любил пить виски из хрустальных бокалов, но те бокалы были несколько иными.

Более официальными, что ли. Может, и более дорогими. Отцовские бокалы казались холоднее, когда Треслав касался их края губами. Собственно, это и было главное различие между ними — температура. Либор и Малки — пусть даже ныне покойная — были согреваемы своим прошлым, как вечерним теплом земли, хорошо прогретой за долгий солнечный день. По сравнению с ними Треслав казался сам себе чахлым овощем, обреченным прозябать на грядке под холодными ветрами и вечно пасмурным небом.

Либор улыбнулся.

— Ну вот, теперь ты у нас еврей, — сказал он. — По такому случаю я приглашаю тебя на ужин — без Сэма — и хочу кое с кем познакомить. Они будут рады тебя повидать.

— Это звучит зловеще. *Кое-кто.* Кто именно? Какие-нибудь ревнители еврейских традиций, которые тщательно проверят мои основания называться евреем? Но у меня нет никаких оснований. И почему они не были рады меня повидать до того, как я сделался евреем?

— Это хорошо, Джулиан. Твоя подозрительность и обидчивость — хороший признак. Это уже по-еврейски.

— Я скажу тебе так: я приду на эту встречу толь-

ко в том случае, если смогу найти и привести с собой женщину, меня ограбившую. Она и есть мое основание.

Либор пожал плечами:

— Так приведи ее. Найди и приведи.

Он произнес это с такой безнадежной интонацией, словно речь шла о попытке Треслава привести к ним на ужин Господа Бога собственной персоной.

Одна деталь вызывала у Треслава смутное беспокойство, когда он лежал в постели с закрытыми глазами и старался поймать ниточку, уводящую из реальности в сон: это был рассказ Либора о Хейфеце и Альберт-холле… В нем угадывалась какая-то изощренность и манерность, какое-то типично еврейское хитромудрие, а сюжет был как-то уж слишком созвучен с другой историей Либора: о встрече Малки с Горовицем в Карнеги-холле.

Обе истории вполне могли быть правдой, но Треслава смущало их разительное сходство.

Правдивые или нет, но как семейные предания они были на высоте. И персонажи идеально соответствовали жанру. Если уж Малки называла кого-то «маэстро», то это был не Элвис Пресли. Это был Горовиц. В свою бытность Эгоном Сликом

Либор полжизни водил компанию со звездами экрана и эстрады, но в моменты, когда ему хотелось произвести впечатление, он беззастенчиво тянул карты из другой колоды. Если уж претендовать на родство, то не с Лайзой Минелли или Мадонной, а с Хейфецом. В этом был особый интеллектуальный шик: этак невзначай ввести в игру Горовица или Хейфеца. И какой же финклер не любит интеллектуальных игр?

Надо отдать этим финклерам должное — за их наглостью и бесстыдством зачастую стояла высокая музыкальность.

На этой стадии рассуждений поймав наконец желанную ниточку, Треслав погрузился в сон.

3

Между родственниками Финклера и Треслава никогда не было особой близости — таковая между Тайлер и Джулианом не в счет, — но сыновья Финклера временами виделись с сыновьями Треслава. Альфредо и Родольфо достаточно хорошо знали Финклера по его книгам и телевыступлениям, чтобы гордиться им как своим знаменитым «дядюшкой Сэмом». Другое дело — думал ли Сэм о них как о «милых племянниках Альфе и Ральфе»? Треслав подозревал, что Финлкер при встрече не

смог бы распознать, кто из них кто.

В этом, да и во многих других вещах, как связанных, так и не связанных с Финклером, Треслав был не прав. Кто действительно мог ошибиться, спутав при встрече его сыновей, так это он сам.

А Финклер, между прочим, всегда помнил о детях старого друга и питал к ним расположение — не в последнюю очередь потому, что Треслав был его негласным соперником в отцовстве, как и во всем остальном, и он был не прочь выступить в роли доброго дядюшки, способного дать сыновьям Треслава то, чего не мог им дать собственный родитель. К примеру, дать им более высокие жизненные ориентиры. Из них двоих он лучше знал Альфа благодаря одной случайной встрече в истборнском гранд-отеле, который Финклер как-то раз посчитал достаточно романтичным и укромным местечком (чайки, кружащие за окнами, и старички-постояльцы, вряд ли его знающие или могущие что-нибудь предпринять в случае опознания), чтобы посетить его с женщиной в пятницу вечером и задержаться до субботнего утра. Разумеется, он никак не рассчитывал обнаружить Альфа за роялем в гостиничном ресторане.

Это случилось за два года до смерти Тайлер и

задолго до выявления у нее смертельной болезни, так что эта измена не была из разряда совсем уж непростительных гнусностей. Он знать не знал, что Тайлер изменяет ему в то же самое время — причем не с кем-нибудь, а с Треславом, — каковое обстоятельство, ничуть не умаляя его вины, приводило чаши весов в положение более близкое к равновесию. Как бы то ни было, когда Финклер подошел к пианисту, чтобы заказать «Stars Fell on Alabama»[63] для Ронит Кравиц, он был отнюдь не в восторге, обнаружив перед собой сына Треслава.

Он узнал Альфредо не сразу — так бывает при встрече не с очень близким знакомым там, где ты никак не ожидал его встретить, — чего нельзя сказать об Альфредо, часто видевшем Финклера на телеэкране.

— Дядя Сэм! — сказал он. — Вау!

В первый миг Финклер был готов изобразить неузнавание и ретироваться, но затем понял, что это выйдет неубедительно, и ограничился многозначительным «гм», тем самым как бы принимая роль попавшегося с поличным дядюшки-греховодника. В любом случае предельная

[63] Примечания: 63

«Звезды падали на Алабаму» *(англ.)* — джазовый стандарт (1934; музыка Ф. Перкинса, слова песни М. Пэриша).

откровенность декольте Ронит Кравиц не позволяла ему сослаться на якобы деловую встречу в Истборне. Альфредо взглянул на только что покинутый Финклером столик и спросил:

— Тетя Тайлер сегодня не с тобой?

И тут Финклер отчетливо осознал, что ему никогда не нравился Альфредо. То же самое он, пожалуй, мог бы сказать и о его отце, но школьные друзья есть школьные друзья. Альфредо был очень похож на Треслава, только в «ретроверсии»: он носил круглые очки в золотой оправе (вряд ли нуждаясь в них по состоянию зрения), а его густо напомаженные волосы вызывали ассоциацию с берлинскими жиголо 1920-х годов. Правда, в отличие от последних, его нельзя было назвать сексуально привлекательным.

— Я собирался заказать мелодию для моей спутницы, — сказал Финклер, — но в данном случае…

— Нет-нет, я сыграю, конечно, — сказал Альфредо, — для того я здесь и сижу. Что исполнить — «С днем рожденья тебя»?

По какой-то причине Финклер не смог назвать песню, которую его просила заказать Ронит, то ли позабыв ее в замешательстве, то ли решив таким образом насолить заказчице, которая невольно

это замешательство спровоцировала.

— Сыграй «My Yiddishe Mama»,[64] — попросил он, — если ты ее знаешь, конечно.

— Как не знать, частенько ее играю, — сказал Альфредо.

И он ее сыграл — Финклер никогда прежде не слышал столь ироничного исполнения этой песни, с переходами от кабацки-небрежных синкоп к невыносимо затянутым медленным пассажам; в целом это звучало скорее насмешкой над материнством, нежели его прославлением.

— Но это не «Звезды над Алабамой», — сказала Ронит Кравиц.

Кроме груди монументальных размеров, в ней мало что еще могло привлечь взор. Она носила туфли на высоком каблуке, украшенные стразами, но в тот момент они были скрыты под столом. У нее были красивые иссиня-черные волосы, блестевшие при свете канделябров, но и эти волосы оттеснялись на задний план могучим рельефом декольте, который она выставляла напоказ, как гордый инвалид выставляет напоказ свое увечье.

---

[64] Примечания: 64

«Моя еврейская мама» *(англ.)* — популярный американский шлягер 1920-х гг. (авторы: Дж. Йеллен и Л. Поллак).

«Ущелье Манавату»[65] — так Финклер мысленно называл этот рельеф в те минуты, когда он не любил Ронит Кравиц, а сейчас он ее не любил.

— Это он так импровизирует, — сказал Финклер. — Потом я напою тебе «Алабаму» в привычном ключе.

Похоже, Финклер был не в состоянии усвоить один простой урок: появляясь на людях с вызывающе сексапильной женщиной, мужчина всегда выглядит дураком. Слишком длинные ноги, слишком короткая юбка, слишком открытая грудь — и сопровождающий все это мужчина вызывает у других не зависть, а насмешку. На секунду он пожалел, что не находится сейчас дома с Тайлер, но тут же вспомнил, что Тайлер в последние дни тоже стала проявлять склонность к чересчур откровенным нарядам. А ведь она была матерью семейства.

Он обошелся без заговорщических подмигиваний Альфредо со своего места за столиком, а в конце вечера не стал отзывать его в сторону и совать в нагрудный кармашек смокинга пятидесятку: мол, сам понимаешь, пусть это все останется между нами. Как практикующий фи-

---

[65] Примечания: 65

Манавату — узкое ущелье с очень крутыми и высокими склонами, разделяющее два горных массива на Северном острове Новой Зеландии.

лософ, Сэм Финклер поднаторел в искусстве лжи и притворства. Он посчитал неправильным вступать в тайный мужской сговор с сыном старого друга, а тем паче вовлекать его в амурные делишки старшего поколения, пусть даже обращая это в шутку. Обозначив узнавание неопределенным «гм», он решил этим и ограничиться. Но вышло так, что они напоследок встретились в мужской уборной.

— Вот и прошла еще одна ночка в Копакабане,[66] — устало произнес Альфредо, застегивая молнию на ширинке.

Покончив с этим, он легким ударом вмял круглую тулью шляпы, и та вмиг утратила берлинский вид, а ее хозяин стал походить на типичного обитателя Бермондси.[67]

«А сынок-то весь в отца, — подумал Финклер, — может закосить под кого угодно, кроме себя самого».

— Тебе нравится эта работа?

— Нравится?! Попробовали бы вы играть для

---

[66] Примечания: 66

Район Рио-де-Жанейро, знаменитый своим пляжем и увеселительными заведениями.

[67] Примечания: 67

Старый рабочий район в центральной части Лондона, на южном берегу Темзы.

людей, которые здесь только для того, чтобы набить брюхо. Или чтобы отбросить коньки. Или сначала то, затем другое. Они слишком заняты, прислушиваясь к урчанию своих желудков, чтобы расслышать хотя бы ноту из моей музыки. Им что Шопен, что Шампань — один хрен. Я только создаю звуковой фон. А знаете, чем я развлекаюсь во время игры? Сочиняю скабрезные истории про тех, кто сидит за столиками: как вон тот подкатил яйца к этой, а вот этот впендюрил той и так далее. Со здешней публикой для таких историй нужна нехилая фантазия — большинство из них в последний раз подкатывали яйца и пендюрились еще до моего рождения.

Финклер не стал переводить стрелки на себя как на исключение из правил этой богадельни.

— Ты удачно скрываешь свое неприятие всех, — солгал он.

— В самом деле? Это, наверно, потому, что я просто исчезаю. Мысленно я нахожусь где-нибудь в другом месте, например даю концерт в Сизарс-Паласе.[68]

— Ты удачно скрываешь и это.

— Я просто тяну лямку, и ничего больше.

---

[68] Примечания: 68

Развлекательный комплекс в Лас-Вегасе с концертным залом, стилизованным под древнеримский театр.

— Все мы просто тянем лямки, и больше ничего. — Эта фраза была подана так, будто Финклер говорил на камеру.

— И вы так же относитесь к своей работе?

— По большей части — да.

— Выходит, вам тоже не сладко.

— «Тоже» — это значит, как и тебе?

— Как и мне, но я-то еще не старый хрыч. В моей жизни еще многое может быть. Может, и в Сизарс-Паласе когда-нибудь выступлю. Говоря «тоже», я больше имел в виду отца.

— По-твоему, он несчастлив?

— А как по-вашему? Вы с ним знакомы чуть не всю жизнь. Похож он на человека, довольного собой?

— Не похож, но ведь он такой с детства.

— С детства? Ха! Это изрядный срок. Я вообще не могу представить его молодым. Мне кажется, он всегда был старым.

— А мне, напротив, кажется, что он всегда был молодым, — сказал Финклер. — Представление о человеке во многом зависит от того, в каком возрасте ты с ним познакомился.

Альфредо округлил глаза под полями шляпы, словно говоря: «Только не надо философии, дядюшка Сэм».

— Мы с отцом не очень-то ладим, — сказал он. — Думаю, он втайне предпочитает мне брата, но все равно я за него переживаю — противно, должно быть, корчить из себя кого закажут. На его месте я бы жутко комплексовал.

— Чего уж там, в твоем возрасте стакан еще наполовину полон.

— Нет, это в *вашем* возрасте он наполовину полон. А нам стакан вообще не нужен — ни наполовину полный, ни наполовину пустой, никакой вообще. Нам нужна здоровенная кружка, и чтобы в ней плескало через край. Наше поколение хочет все и сразу.

— Наше поколение хотело всего и сразу намного раньше вас. И что?

— Ну, тогда мы просто запойное поколение больших кружек.

Финклер ухмыльнулся, чувствуя, как созревает очередной опус: «Полупустой стакан: Шопенгауэр и поколение больших кружек».

В этом не было циничного расчета. Неожиданно для самого себя он вдруг начал испытывать к Альфредо подобие отеческих чувств. Возможно, те же чувства он долгие годы подсознательно питал к Треславу, и вот теперь они всплыли на поверхность. В этом было своеобразное упоение

узурпатора: ощутить себя отцом чужих детей. Если так, чувства Финклера были зеркальным отражением того, что в тот же самый час переживал Треслав, ощущая себя мужем чужой жены — пусть даже эта жена поворачивается к тебе спиной и обращается с твоим членом, как с какой-нибудь застежкой на платье или лифчике.

Прежде чем они вместе покинули уборную, Финклер дал Альфредо свою визитку.

— Позвони мне как-нибудь, когда будешь в городе, — сказал он. — Ты ведь не все время торчишь в этой глуши?

— Нет, конечно. Я бы тут с тоски загнулся.

— Тогда звякни, если что, поговорим о твоем отце… или о чем-нибудь еще.

— Хорошо. Да, кстати, в ближайшие недели я буду работать в «Савое» и «Клэридже»,[69] так что вы всегда сможете заглянуть на огонек…

«Гаденыш намекает, что я могу водить туда шлюх, — подумал Финклер. — Так-то он обо мне думает. Разок подловил с „Ущельем Манавату“ и теперь уже не даст мне этого забыть».

И Финклер представил себе, как постоянно сталкивается с Альфредо в мужских уборных на

---

[69] Примечания: 69
Престижные лондонские отели.

протяжении следующего полувека, пока Альфредо не станет старше, чем сейчас Финклер, а сам он не превратится в дряхлую развалину.

Они улыбнулись и пожали друг другу руки. Встреча слегка утомила обоих, но при этом оба слегка потешили свое самолюбие.

«С этим парнем надо держать ухо востро, — думал Финклер. — Ну да ладно, все утрясется со временем».

«Он думает, что я хочу извлечь какую-то пользу из знакомства с ним, — думал Альфредо. — Возможно, так оно и есть. Но и для него знакомство со мной может быть небесполезным — авось научится выбирать себе в спутницы менее отвязных потаскух».

Таким вот образом началась эта не столько взаимовыгодная, сколько взаимно раздражающая дружба двух очень разных по возрасту и интересам мужчин.

Альфредо не рассказывал ни матери, ни брату о своих периодических встречах с Финклером. Это было не в его духе. Но на сей раз у него имелась новость, которой он не мог не поделиться; и он поделился, когда все четверо вернулись за ресторанный столик.

— Вы в курсе, что отца недавно отлупили и

ограбили? — спросил он.

— Любого могут отлупить и ограбить, — сказал Родольфо. — Это же Лондон.

— Но этот грабеж был особенным. Это был мегаграбеж.

— О боже, он сильно пострадал? — спросила Дженис.

— В том-то и штука. По его словам, нет, но дядя Сэм считает, что очень сильно.

— Ты виделся с дядей Сэмом?

— Пересеклись в баре. От него и узнал.

— Если бы твой отец реально пострадал, он устроил бы из этого великую трагедию, — сказала Джозефина. — Он может устроить трагедию даже из порезанного пальца.

— Это травма другого порядка. По словам Сэма, он в полном дерьме, но отказывается это признавать.

— Он всегда от всего отказывался, — заметила Джозефина. — Этот сукин сын до сих пор отказывается признать себя сукиным сыном.

— А от чего именно он отказывается, по словам Сэма? — спросила Дженис.

— От себя самого… или типа того, я не очень врубился.

Джозефина фыркнула:

— Все та же старая песня.

— Тут вроде как нечто новое. Его избила и ограбила женщина.

— Женщина? — Родольфо не удержался от смеха. — Я знал, что он тряпка, но чтобы до такой степени…

— Это похоже на исполнение давних желаний, — сказала Дженис.

— В том числе моего, — сказала Джозефина. — Я жалею лишь о том, что не я ему врезала.

— Джозефина! — с упреком сказала Дженис.

— Да ладно тебе! Только не говори, что ты сама не врезала бы ему, увидев, как это чучело шкандыбает по улице в образе дедушки Леонардо Ди Каприо, или кого он там сейчас изображает…

— Почему бы тебе наконец не сказать нам о своих настоящих чувствах к отцу? — спросил Родольфо, все еще веселясь при мысли о том, что его папашу отделала какая-то бабенка.

— Ты хочешь, чтобы я созналась в любви к нему?

Дженис схватила себя за горло, как будто сдерживая рвоту.

— Однако Сэм считает, что все это полная чушь, — сказал Альфредо. — По его версии, отец просто навоображал невесть что под влиянием

стресса.

— А отчего у него стресс? — спросила Дженис.

— Из-за смерти тети Тайлер и жены еще одного его друга. Дядя Сэм думает, что двух смертей подряд оказалось многовато для его слабой психики.

— В этом он весь, — сказала Джозефина. — Мелкий вонючий осквернитель праха. Ну почему он не даст другим людям спокойно оплакать смерть их собственных жен? Почему он должен соваться туда же?

— Сэм сказал, что Треславу очень нравились обе эти женщины.

— Кто бы спорил! Особенно когда они лежали при смерти.

Но Дженис уже думала о другом:

— Значит, по мнению Сэма, грабительница материализовалась из горя Джулиана…

— Из горя, вот еще!

— Нет, погоди, это интересная мысль. Может быть, вот так и появляются все эти призраки — материализуясь из наших страданий. Но почему в виде грабительницы? При чем тут насилие?

— Все это слишком сложно для меня, — сказал Родольфо. — Давайте вернемся к добротной истории о том, как папе начистила рыло уличная побирушка.

— Я думаю, он чувствовал свою вину, — сказала Джозефина, игнорируя его предложение. — Наверное, трахался с ними обеими. Или, того хуже, пел им арии Пуччини.

— В твоем случае это Верди, — напомнила Дженис.

— Тут вот еще что, — сказал Альфредо, — Сэм считает, что отца надо бы на время удалить отсюда.

— Засадить в психушку?

— Нет, устроить ему отпуск. Вы же знаете, как он не любит куда-нибудь выбираться. Боится поездов, боится самолетов, боится любого заграничного места, где он не будет знать, как потамошнему называется парацетамол. Дядя Сэм сказал, что лучше всего кому-нибудь из нас его сопровождать. Есть желающие прошвырнуться на курорт с отцом?

— Только не я, — сказал Родольфо.

— И не я, — сказала Дженис.

— Ни за что, даже если он останется последним мужчиной на этой планете, — заявила Джозефина. — Пусть Финклер с ним и едет, если ему этот отпуск кажется хорошей идеей.

— Итак, с нашей стороны полный отказ, — со смешком констатировал Альфредо.

Договорившись в конце концов, что мальчики хотя бы звякнут родителю и, может, посидят с ним часок в кафе, они уже вставали с мест, чтобы вторично двинуться к выходу, когда Альфредо вспомнил еще кое-что из разговора с дядюшкой Сэмом.

— Ах да, ему с чего-то взбрендилось, будто он еврей.

— Дядя Сэм? А он что, и без того не жид в натуре?

— Нет, я про отца. Он вроде как объявил себя евреем.

И все четверо снова опустились на стулья.

— Ну и дела!

— Как это так: взял и объявил? — удивился Родольфо. — Нельзя же вот так просто встать поутру и объявить: я с этого дня еврей!.. Или можно?

— Я знавала многих евреев на Би-би-си, которые однажды поутру вдруг становились нееврями, — сказала Джозефина.

— Да, но в обратную сторону это так легко не срабатывает.

— Я не в курсе подробностей, — сказал Альфредо. — Но насколько я понял дядю Сэма, отец не то чтобы решил заделаться евреем — он типа вбил себе в башку, что *всегда им был.*

— Вот ни хрена себе! — вскричал Родольфо. — Это значит, что и мы с тобой тоже евреи?

— Никакой ты не еврей, — сказала Джозефина, — будь спокоен. Евреи не доверяют верности своих женщин, так что стать евреем можно только через еврейскую матку. А у меня не еврейская матка.

— Как и у меня, — сказала Дженис. — Только не моя.

Альфредо и Родольфо переглянулись и сделали вид, будто их тошнит.

Но Родольфо, помимо тошноты, продолжал мучиться вопросами.

— Не понимаю, как это так? — сказал он. — Если евреи не доверяют своим женщинам, почему тогда они только через женщин передают свое еврейство?

— Потому что тебе вообще не бывать евреем, если ты будешь передавать еврейство через отца, а отцом твоим окажется потный араб с золотыми зубами.

— А что, разве еврейки спят с арабами?

— Милый мой, а с кем еврейки не спят?

— Тише! — шикнула Дженис, мотая головой в ответ на вопросительный жест официанта. — Не забывайте, что мы в *ливанском* ресторане.

— Однако я хочу знать, — гнул свое Родольфо, — если окажется, что я наполовину еврей, стану ли я от этого умнее?

Дженис дернула сына за ухо:

— Чтобы быть умным, тебе не требуются *его* гены.

— Тогда, может быть, я стану богаче?

Глава 5

1

Не стоило говорить «найди и приведи ее» человеку, и без того одержимому навязчивой идеей.

Треслав не сомневался в том, что искать нужно именно женщину. Так или иначе, надо положить конец этой неопределенности. Несколько раз он собирался на выход и даже надевал пальто, но потом снимал его. Хватит уже дурью маяться! Он больше не рассматривал варианты; теперь он твердо знал, что именно услышал тем вечером; «Ах ты, жид!» Не «грязный жид», не «чертов жид» и не «милый жид». Просто «ах ты, жид». Без особой интонации, помогающей раскрыть смысл сказанного. И почему надо все усложнять? Почему не принять это за простую констатацию факта? Тогда «ах ты, жид» будет означать «ты типичный еврей», и ничего более, пусть даже такое толкование не согласовывалось ни с какой из его теорий и абсолютно ничего не проясняло.

Впрочем, сама неопределенность варианта «ах ты, жид» говорила в пользу его подлинности. В данном случае Треслава нельзя было упрекнуть

в стремлении подогнать услышанное под какую-то надуманную интерпретацию. Оставалась нападавшая — уж она-то наверняка знала, что и почему говорит. Могла она назвать его евреем просто ради шутки? Нет, она явно назвала его так потому, что видела в нем еврея. Другое дело — зачем ей говорить это вслух? Ей не было нужды вообще что-нибудь говорить, могла бы молча забрать его вещи и смыться. Он не оказал сопротивления и не произнес ничего, что требовало бы ответа с ее стороны. Насколько он знал, грабители в процессе грабежа не имеют обыкновения информировать потерпевших об их национальной или религиозной принадлежности: «ах ты, протестант», «ах ты, китаец» и тому подобные. К чему лишние хлопоты? Протестант или китаец и без того знает, кто он такой, и потому сообщение грабителя не представляет для него интереса. Так что выкрик «ах ты, жид!» либо непроизвольно вырвался у взбесившейся, психически больной преступницы, либо содержал информацию, которую в развернутом виде можно было представить так:

«Я лишила тебя твоего бумажника, твоих часов, твоего телефона, твоей ручки и твоего самоуважения, но взамен я тебе кое-что сообщу на тот

случай, если тебе это неизвестно — а у меня такое чувство (не спрашивай, откуда оно взялось), что тебе это неизвестно, — словом, ты еврей. Пока-пока!»

Треслава не удовлетворяли версии о случайном столкновении с буйнопомешанной или о нападении на него по ошибке. В его жизни и так было предостаточно случайностей и ошибок. Да и сама его жизнь была всего лишь случайностью. Он появился на свет по ошибке — об этом прямо говорили его родители: «Мы тебя не планировали, Джулиан, но ты оказался приятным сюрпризом». При сходных обстоятельствах появились на свет и его сыновья. Правда, он никогда не называл их «приятными сюрпризами». Такой же нелепостью было и его образование — в другие эпохи он бы специализировался по античной литературе или богословию. На Би-би-си он попал случайно — и это был очень несчастный случай. Все его влюбленности были ошибками. И так далее. Но если в твоей жизни нет смысла и предназначения, зачем тогда жить? Иные люди обретают Бога там, где меньше всего думали Его найти. Другие обретают себя в общественной деятельности или в самопожертвовании. А Треслав, сколько он себя помнил, всегда чего-то ждал. Одно лишь

ожидание. «Выходит, такова моя судьба», — подумал он.

Два дня спустя он ужинал у Либора в компании собратьев-евреев.

2

За полгода до смерти жены Сэм Финклер принял участие в программе «Диски необитаемого острова».[70]

Безусловно, между этими двумя событиями не было никакой связи.

Финклер впервые упомянул о «Дисках», когда они с женой находились в своем саду, сразу за низкой оградой которого начинался Хэмпстедский парк. В тот момент Финклер завел речь о приглашении в программу только затем, чтобы уклониться от садовых работ. Их садик был отнюдь не местом отдыха — Тайлер без конца возилась с лужайкой и цветами, тогда как у Сэма

---

[70] Примечания: 70

«Desert Island Discs» — еженедельная радиопередача, выходящая на Би-би-си (канал «Радио-4») с 1942 г. Гостю программы предлагается выбрать восемь аудиозаписей, один предмет роскоши и одну книгу — в дополнение к Полному собранию сочинений Шекспира и Библии (или иному религиозно-философскому труду), — которые он взял бы с собой, отправляясь на необитаемый остров. В эфире гость аргументирует свой выбор, что сопровождается проигрыванием отрывков из соответствующих аудиозаписей.

была на них аллергия. «Полежи в шезлонге, расслабься», — поначалу призывала его Тайлер, но со временем и она убедилась в том, что сам Финклер знал всегда: его тело просто не было приспособлено для расслаблений в шезлонгах. «Когда-нибудь я в нем расслаблюсь вконец», — говорил он. Посему он редко появлялся в саду, а появляясь, обходил его по периметру, как частный детектив, разыскивающий в кустах мертвое тело, лишь иногда задерживаясь, чтобы поделиться с Тайлер какой-нибудь мыслью, — как правило, о своей работе. Если в разговоре возникала пауза, это уже было чревато привлечением к делу — Тайлер могла сунуть ему в руки бамбуковый колышек или моток зеленой бечевки с приказом держать его так-то и там-то. Не ахти какой тяжкий труд, но и он действовал угнетающе на Финклера, которому при этом казалось, будто его жизнь стремительно истлевает, обращаясь в перегной и мульчу.

— Я попал в «Диски необитаемого острова», — сообщил он с самого дальнего конца садика, на всякий случай спрятав руки за спину и опираясь на водопроводный кран.

Тайлер сидела на корточках и колдовала над каким-то чахлым ростком. Она ответила, не оглядываясь и не отрываясь от своего занятия:

— Попал? Как это «попал»? Я и не знала, что ты туда метил.

— А я и не метил. Это *они* в меня метили.

— Ну так скажи им, пусть метят в кого другого.

— Почему я должен им отказывать?

— А на кой тебе сдались эти «Диски»? Тебе и в саду-то становится дурно, чего уж говорить про целый зеленый остров. И дисков у тебя никогда не было, и вообще ты не знаешь никакой музыки.

— Нет, знаю.

— Ну так назови свою любимую.

— Я сказал, что *знаю* музыку, но это не значит, что я ее *люблю.*

— Буквоед хренов! — сказала она. — Мало того что ты лжец, так ты еще и хренов буквоед. Не советую тебе соваться в эту программу, только хуже будет. Слушатели сразу распознают фальшь: когда ты начинаешь врать, ты повышаешь голос.

Но Финклера не так легко выбить из колеи.

— Я не буду врать, — сказал он. — И не все мои записи будут музыкальными.

— Ну и что ты тогда возьмешь: диктофонные мемуары Бертрана Рассела?[71] Только не смеши меня.

---

[71] Примечания: 71

Рассел Бертран (1872–1970) — английский философ, математик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1950).

Она встала с колен и вытерла руки о фартук, который он купил ей много лет назад. Серьги в ее ушах также были куплены Финклером, да и золотой «ролекс» — он подарил его жене на десятую годовщину их свадьбы. Тайлер всегда работала в саду при украшениях и полном макияже. Чтобы перейти от подкормки растений к званому обеду в «Рице», ей требовалось совсем немного: только снять перчатки и фартук да пригладить волосы. Тайлер, вдруг возникающая над кучей компоста в облике светской Венеры, — это зрелище стоило того, чтобы периодически появляться в садике, как бы сильно Финклер ни страшился этого места. В такие минуты он удивлялся, зачем нужно заводить любовниц, если его собственная жена красивее и желаннее, чем все они, вместе взятые.

Был ли он дурным человеком или же просто дураком? Сам Финклер не считал себя плохим мужем. Что поделаешь, если моногамия не соответствует мужской природе. И он отдавал долг природе даже тогда, когда эта природа вступала в противоречие с его желанием остаться дома в объятиях жены.

Таким образом, винить следовало пресловутый зов природы, и только его, а никак не самого

Финклера.

— Ну, для начала, — сказал он, становясь сентиментальным, — я подумал о музыке, которая играла на нашей свадьбе…

Она приблизилась к нему, чтобы отвернуть кран для поливки.

— Марш Мендельсона? Неоригинально. И вообще, я не думаю, что тебе стоит приплетать сюда нашу свадьбу, о который ты и не вспомнил бы, взаправду попав на необитаемый остров. Раз уж тебе не лезет в башку ничего, кроме свадебного марша, мой совет: откажись от участия в программе. Скажи им, что слишком занят. Другое дело, если бы Мендельсон написал «Адюльтерный марш»…

— Слишком занят для «Дисков»? Для этой программы никто не бывает слишком занят. Это предложение, за которое надо уцепиться, — оно может здорово помочь в карьере.

— Ты уже и так сделал карьеру. Уцепись-ка лучше за конец шланга.

Финклер имел слабое представление о шлангах и потому снова начал обследовать садик на манер частного детектива, заглядывая под кусты и растерянно почесывая затылок.

— Конец — это то место шланга, откуда течет

вода, олух царя небесного! Сколько лет здесь живешь, а все конец найти не можешь. Ха! — Она рассмеялась над случайным намеком.

Финклер не улыбнулся.

— Тебе легко рассуждать, ведь это не тебя пригласили в «Диски», — сказал он, обнаружив-таки конец шланга и теперь недоумевая, что с ним делать дальше.

— Да, пригласили *тебя.* Но почему ты не можешь отказаться от приглашения? Отказ поможет твоей карьере еще лучше, чем участие. Так ты покажешь им всем, что ты не жадюга. Направь струю вот сюда.

— Жадюга?

— В смысле не слишком жадный до славы.

— Ты сказала «жадюга».

— И что?

— То есть *жидюга?*

— Ради бога, ты же знаешь, что я не это имела в виду. Жида ты сам сюда приплел. Если ты боишься того, как тебя воспримут другие, — это твоя проблема, а не моя. Просто, на мой взгляд, ты слишком рьяно лезешь во все дырки. А что до евреев в нашей семье, то это скорее уж я, чем ты.

— Ты говоришь глупости и сама это знаешь.

— Тогда прочти Амиду или хотя бы одно из

восемнадцати благословений.[72]

Финклер отвел взгляд.

Было время, когда она подумывала о том, чтобы шутя облить его водой из шланга, зная, что он постарается ответить тем же и борьба за шланг завершится дружным смехом, а то и сексом прямо на лужайке — плевать на соседей! Но то время прошло…

…Если *то время* вообще у них было. Она попыталась представить себе, как он ее ловит, стискивает в объятиях, впивается поцелуем в ее губы, и с тревогой осознала, что не в состоянии вообразить эту сцену.

Он посоветовался с друзьями. Не о том, участвовать в программе или нет — он и не думал отказываться, — а насчет музыки, которую он взял бы с собой на необитаемый остров. Либор предложил экспромты Шуберта и несколько скрипичных концертов. Треслав написал ему на листке названия великих предсмертных арий из итальянских опер.

— Сколько тебе положено записей? Шесть? — спросил он.

---

[72] Примечания: 72

Амида — главная молитва в иудаизме, состоящая из восемнадцати благословений.

— Восемь, но арии хватит и одной. Им нужно разнообразие.

— Я даю тебе шесть, на выбор. Они все очень разные. В некоторых умирает женщина, в других — мужчина. А есть одна ария, где они умирают вместе. Это будет шикарный финал программы.

«И финал моей карьеры», — подумал Финклер.

В конечном счете, поговорив еще и с Альфредо, а также руководствуясь собственным популистским чутьем, Финклер остановился на Бобе Дилане, *Pink Floyd*, *Queen*, Феликсе Мендельсоне (но не «Свадебный марш», а скрипичный концерт, как советовал Либор), *Girb Aloud*, явно напрашивавшемся Элгаре,[73] Бертране Расселе как чтеце собственных мемуаров и Брюсе Спрингстине, которого он в телестудии по-свойски именовал Боссом.[74] Из книг он выбрал диалоги Платона и еще — в обход правил — попросил полный цикл о Гарри Поттере.

— Легкая разрядка после серьезных вещей? —

---

[73] Примечания: 73

Элгар Эдвард Уильям (1857–1934) — считается «истинно английским композитором», хотя он был католиком (т е. принадлежал к религиозному меньшинству), а в своем творчестве больше ориентировался на музыку континентальной Европы.

[74] Примечания: 74

Прозвище, полученное Брюсом Спрингстином (р. 1949) в самом начале его музыкальной карьеры, когда он после выступлений в клубах распределял выручку между членами своей группы.

поинтересовался ведущий.

— Нет, для этого у меня будет Платон, — сказал Финклер.

Шутка, конечно, но также и повод задуматься для тех, кто примет его слова всерьез.

Желая показать Тайлер, что в их семье есть правоверные иудеи и помимо нее, он поведал слушателям о том, как в юности ходил в Синагогу вместе со своим отцом, читавшим там поминальные молитвы. Его глубоко волновали эти скорбные плачи. «Исгадал выискадаш…» — слова древнего языка, посвященные памяти усопших. «Да возвысится и освятится Его великое имя…» Впоследствии, осиротев, он сам читал эту молитву в память о родителях. Философ-рационалист, признающий Бога перед лицом истин, непостижимых человеческому разуму. Он сделал паузу, и в студии установилась такая тишина, что можно было услышать полет мухи.

— Мое еврейство всегда было исключительно важно для меня, — продолжил Финклер. — Оно дарует мне утешение и вдохновение. Но я не могу молчать о несправедливостях, причиненных палестинцам. В случае с Палестиной… — Голос его слегка дрогнул. — В случае с Палестиной я испытываю глубокий стыд.

— Тут ты явно зарвался, — сказала Тайлер, прослушав передачу. — Как ты мог это сказать?

— А почему бы нет?

— Потому что программа совсем не об этом. Потому что тебя никто об этом не спрашивал.

— Тайлер…

— Знаю-знаю, ты скажешь, что тебя вынудила твоя совесть. Чертовски удобная штука эта твоя совесть. Она вынуждает тебя делать только то, что ты сам хочешь сделать, а если чего не хочешь — тут и совесть молчит себе в тряпочку. Мне стыдно за твою публичную демонстрацию стыда, и это притом, что я не еврейка.

— Вот потому тебе и стыдно, — сказал Финклер.

Он был разочарован, когда ни одно из его остроумных и глубокомысленных высказываний не попало в недельную подборку лучших фраз на Би-би-си, но зато его тщеславие потешило письмо, полученное им через пару недель после радиопередачи. В этом письме видные еврейские деятели из театральных и научных кругов предлагали ему войти в общественную группу, находящуюся в стадии формирования и названную в честь его смелого и откровенного выступления: «Стыдящиеся евреи».

Финклер был польщен. Похвала от стольких известных людей тронула его почти так же глубоко, как те молитвы, что он когда-то слушал в синагоге. Он просмотрел список. Перечисленные профессора в большинстве своем были ему знакомы и малоинтересны, но актеры представляли собой новую категорию лиц, могущих быть полезными на пути к вершинам славы. Прежде он не был любителем театра и обычно воротил нос от предложений Тайлер посмотреть какую-нибудь пьесу, однако тот факт, что к нему обратились с письмом актеры — пусть даже такие, о чьих талантах он был невысокого мнения, — позволял взглянуть на ситуацию в ином свете. Среди подписантов фигурировали также знаменитый кулинар и парочка популярных эстрадных комиков.

— Черт возьми! — сказал Финклер, ознакомившись с письмом.

Тайлер была в саду и на сей раз, вопреки обыкновению, лежала в шезлонге. Чашечка кофе на столике под рукой, на коленях развернутые газеты. Она дремала, хотя было около полудня. Финклер и не заметил, что в последнее время она стала быстрее утомляться.

— Черт возьми! — сказал он громче, чтобы она

его услышала.

Тайлер не пошевелилась, но подала голос:

— Кто-то притянул тебя к суду за нарушение обязательства, дорогой?

— Похоже, *не всем* стыдно за мое выступление, — сообщил он и прочел вслух самые громкие имена из списка. Медленно. Одно за другим.

— И что с того?

На то, чтобы задать этот вопрос, у нее ушло столько же времени, сколько у ее мужа на перечисление дюжины имен.

Он рассердился:

— Как это «что с того»?

Тайлер приподнялась в шезлонге и взглянула на мужа:

— Сэмюэл, среди названных тобой людей нет ни одного, к кому ты испытывал бы хоть малейшее уважение. Ты ненавидишь академиков. Ты не любишь актеров — и в особенности *этих самых* актеров, у тебя нет времени для кулинаров, и ты на дух не переносишь эстрадных комиков — в особенности *этих самых* комиков. «Совсем не смешно», — говоришь ты про их номера. С какой стати меня — нет, с какой стати *тебя* должно интересовать их мнение?

— Моя оценка их актерских талантов к делу не

относится.

— А что тогда относится к делу? Твоя оценка их как аналитиков? Как историков? Как богословов? Как философов? Не припоминаю, чтобы ты говорил о них в таком духе: «Эти парни дешевые кривляки, но котелок у них варит отменно». Всякий раз, когда ты работал в студии с актерами, ты отзывался о них как о законченных кретинах, не способных связать двух слов и сформулировать хоть какую-то мыслишку. И уж точно не способных понять твои мысли. Что теперь изменилось, Сэмюэл?

— Я доволен, что получил поддержку.

— Все равно откуда? Не важно от кого?

— Я бы не стал называть этих людей «не важно кем».

— Но в твоих, еще недавних высказываниях они были никем и даже *меньше чем никем.* А теперь, похвалив тебя, они сразу же стали *кем-то.*

Он не мог прочесть ей все письмо, не мог сказать ей, что они вдохновляются его «смелостью» при создании общественного движения — пока еще небольшого, но способного вскоре разрастись, — не мог сказать: «Черт возьми, Тайлер, мне просто приятно, когда меня хвалят».

Но и так сразу прервать разговор он не мог.

Посему он высказался кратко:

— Похвала значит больше, когда она исходит от собратьев.

Тайлер прикрыла глаза — ей не требовалось глядеть на Финклера, чтобы читать его мысли.

— Не пори муру, Шмуэль, — сказала она. — Твои *собратья!* Разве ты забыл, что ты не любишь евреев? Ты сторонишься их общества. Ты публично обливал грязью евреев за то, что они при удаче не в меру зазнаются и важничают, а если что не так, тут же заводят плач о страдании и сочувствии. И вот стоит нескольким худо-бедно известным евреям тебя похвалить, как ты уже писаешь кипятком. Так тебе только этого и не хватало? И ты в детстве был бы самым примерным из примерных еврейских мальчиков, если бы другие еврейские мальчики вовремя спели тебе дифирамбы? Это выше моего понимания: в одночасье снова сделаться евреем, чтобы с этих позиций нападать на еврейство.

— Я нападаю не на еврейство.

— А на что тогда — не на христианство же? «Стыдящиеся евреи»? Лучше бы завел дружбу с

Дэвидом Ирвингом[75] или вступил в БНП,[76] оно выглядело бы не так позорно. Подумай, что тебе на самом деле нужно, Сэмюэл… Сэм! Тебе нужно вовсе не внимание других евреев. В любом случае тебе этого слишком мало.

Но Финклер ее уже не слушал. Он поднялся на второй этаж, в свой кабинет, и написал письмо «Стыдящимся евреям», выразив им признательность за то, что они выразили признательность ему, и объявив, что будет счастлив и горд примкнуть к их движению.

И сразу же он позволил себе выступить с инициативой. В нынешнюю эпоху рекламных слоганов одно короткое емкое слово может стоить тысячи пространных манифестов. Как насчет того, чтобы выделить первые буквы названия — «СТЫДящиеся евреи», а некоторых случаях, если уважаемые коллеги не будут против, можно использовать сокращение «СТЫД».

Еще до конца недели он получил исполненный

---

[75] Примечания: 75

Ирвинг Дэвид (р. 1938) — британский историк-ревизионист и писатель, известный своими симпатиями к Третьему рейху и отрицанием холокоста.

[76] Примечания: 76

Британская национальная партия — праворадикальная партия, выступающая за удаление из страны иммигрантов и «нечистокровных британцев».

энтузиазма ответ на бланке с надписью: «СТЫДящиеся евреи».

Финклер испытал законное чувство гордости, само собой разбавленное печальными мыслями о тех, чьи страдания сделали необходимым появление на свет СТЫДящихся евреев.

Тайлер жестоко ошибалась на его счет. Его жажда всеобщего признания — или одобрения — не была столь уж ненасытной. Бог свидетель, он получил достаточно одобрения в своей жизни. Дело было не в признании. Дело было в правде. Кто-то ведь должен сказать правду. И теперь нашлись люди, готовые сказать ее с ним вместе — и даже с ним во главе.

Если бы Ронит Кравиц не была дочерью израильского генерала, он бы сейчас же позвал ее на уик-энд в Истборн, чтобы СТЫДящийся еврей мог отпраздновать свой успех по полной программе.

3

Вторую серию нового проекта Финклера его жена также смотрела в «псевдохэмпстедском» жилище Треслава. Потом, с достаточно большими промежутками, были и другие совместные просмотры, позволявшие ей расслабиться на фоне бурной телевизионной активности супруга.

Эти встречи так и не переросли в полноценную, постоянную связь, да они к этому и не стремились — по крайней мере, Тайлер, тогда как Джулиан просто не был способен на решительные шаги, — но оба приноровились находить утешение в обществе друг друга вдобавок к собственно любовным утехам, подогреваемым гневом и ревностью.

От внимания Треслава не ускользнуло, что Тайлер с каждой новой встречей выглядит все более усталой.

— Ты сегодня очень бледна, — сказал он однажды, покрывая поцелуями ее лицо.

Она засмеялась, не уклоняясь от его ласк. На сей раз ее смех был тихим, а не хрипловато-резким.

— И ты кажешься какой-то подавленной, — добавил он, сопровождая эти слова очередным поцелуем.

— Извини, — сказала она, — я здесь не затем, чтобы вгонять тебя в депрессию.

— Ты не вгоняешь меня в депрессию. Напротив, мне очень нравится твоя бледность. Я люблю, когда у женщины трагический вид.

— Что, уже и трагический вид? Неужели мои дела так плохи?

Да, ее дела были так плохи.

Треславу хотелось сказать: «Приходи умирать в мои объятия», но он никогда не озвучил бы это предложение. Женщина должна умирать у себя дома, на руках у своего мужа, пусть даже любовник мог бы окружить ее куда большей заботой.

— Я люблю тебя, ты это знаешь, — сказал он на том свидании, которому суждено было стать последним.

То же самое он говорил еще во время их первого свидания, перед лицом Сэма, маячащим на телеэкране. Но теперь он был абсолютно искренним. Это не значит, что он был неискренним в первый раз, просто теперь все представлялось ему иначе — глубже и серьезнее.

— Глупости, — сказала она.

— Это правда.

— Ничего подобного.

— Чистейшая правда.

— Это не так, но все равно спасибо. Ты был очень мил со мной. Я не строю иллюзий, Джулиан. Я могу понять мужчин. Я имею представление о странном механизме мужской дружбы. И никогда не думала, что отличаюсь от других жен в сходной ситуации, имея в виду вашу дружбу и ваше соперничество. Об этом я говорила тебе еще в самом начале. Мне посчастливилось исполь-

зовать это, к своему удовольствию. Спасибо, что дал мне почувствовать себя желанной.

— Я всегда тебя желал.

— Верю, что желал. Но не так сильно, как ты желал Сэма.

Треслав пришел в ужас:

— Что?! Я желал Сэма?!

— Не в том смысле, что ты хочешь его трахнуть. Я и сама любила его не в смысле желания трахаться. И вряд ли он вызывал такое желание у других. Он вообще не трахаль по натуре. Хотя это никогда не мешало ему… или этим бабам. Но в моем муже есть нечто — не то чтобы аура, скорее, какая-то загадка, которую хочется разгадать, какое-то тайное знание, частицу которого хочется урвать себе. Он относится к тому типу евреев, которым в прошлые века давали высокие посты даже самые антисемитски настроенные императоры и султаны. У него есть чутье, он знает, как преуспеть, и тебе кажется, что, если будешь держаться поближе к нему, его успех станет и твоим. Хотя что я тебе рассказываю — ты и сам это чувствуешь. Я знаю, что ты это чувствуешь.

— Однако я не знал, что я это чувствую.

— Чувствуешь, поверь мне. И я ничуть не против того, чтобы ты через мое посредство получил

немного его удачи. Когда я бываю с тобой, мне приятна не только месть мужу, мне приятно ощущение твоей заботы.

Она поцеловала его. Это был поцелуй благодарности.

Такой поцелуй, подумал Треслав, женщина дарит мужчине, который не смог потрясти ее до глубины души. Из той же серии слова о его заботливости, означающие, что он был добр к ней, но не более того, — то есть он не представлял собой загадку и не мог уделить ей частицу своего тайного знания или своего успеха, за отсутствием таковых. Да, она приходила в его дом, ныряла в его постель и занималась с ним сексом, но при этом как будто едва замечала его присутствие. И этот ее поцелуй был сродни воздушному поцелую, посланному издали, через всю комнату.

А как насчет мысли, что Треслав, совокупляясь с женой Финклера, тем самым причащается к его успеху? Если это так, почему тогда после совокупления он не чувствует себя более успешным человеком? Ему понравилась ее фраза, что Сэм «не трахаль по натуре», но велико ли утешение, если и сам Треслав такой же «не трахаль»? Бедная-бедная Тайлер, вынужденная трахаться с двумя не трахалями по натуре. Неудивительно,

что она выглядит больной.

«И бедный-бедный я», — подумал Треслав.

Тайлер назвала себя инструментом их соперничества. *Их* соперничества, следовательно, она считала его взаимным. Означало ли это, что Сэм знал про эти свидания? Возможно ли, чтобы по возвращении домой Тайлер рассказывала мужу, каким неважнецким трахалем проявил себя намедни его старый друг? Может статься, Финклеры весело обсуждали эту тему за ужином?

Впервые Треслав нарушил правило, которому должны следовать все любовники, или они будут обречены: он вообразил ее и Сэма в постели. Тайлер, только что после свидания с Треславом, улыбается, лежа лицом к мужу — как она никогда не лежала с Треславом — и держа перед собой его член, подобно свадебному букету, любуясь им и, возможно, называя его всякими ласковыми именами, какового обращения ни разу не удостаивался детородный орган Треслава.

— Ну а сейчас, — сказала она, взглянув на часы, словно имела в виду сию самую минуту, — у Сэма новое увлечение.

Какое Треславу дело до этого?

— Что за увлечение? — спросил он.

Она отмахнулась от мысли, как будто жалея,

что завела речь о предмете, все равно недоступном его пониманию, и продолжила нехотя:

— Это связано с Израилем. Вернее, с Палестиной, как он предпочитает называть эту страну.

— Да, он всегда так говорит.

— Ты слышал его в «Дисках необитаемого острова»?

— Нет, я пропустил передачу, — соврал Треслав.

На самом деле он не смог ее по-настоящему *пропустить*, то есть оставить незамеченной, хотя честно старался: специально не включал радио и не разговаривал с людьми, ее слышавшими. Смотреть на Финклера в телевизоре, одновременно вставляя его жене, — это было одно, но «Диски», которые слушала вся страна, — это совсем другое.

— И правильно сделал. Жаль, что я не смогла ее пропустить. Мне бы надо было прийти сюда, чтобы пропустить ее с тобой, но он настоял, чтобы я слушала ее вместе с ним. Меня это сразу насторожило — чего такого он мог наплести во время записи, что помешало ему слушать ее вместе с этой сучкой Ронит?

И опять Треслав представил себе супругов в постели, лицом к лицу, слушающими «Диски

необитаемого острова», и Тайлер опять любуется Сэмовым членом, склоняется над ним, а в это время голос Сэма вещает из динамика о всяких там палестинских проблемах.

Вслух Треслав ничего не сказал.

— С той передачи все и началось.

— Что началось?

— Он заявил о своем стыде.

— Стыде из-за Ронит?

— Стыде за Израиль, тупица!

— Ах это. Я слышал их разговоры с Либором. Ничего нового.

— Новое в том, что он заявил об этом во всеуслышание. Ты представляешь, сколько людей слушает эту передачу?

Треслав имел об этом представление, но предпочел не вдаваться в подробности. Его всегда раздражали упоминания о «многомиллионной аудитории слушателей» и т. п.

— И теперь он об этом сожалеет?

— Как бы не так! Он теперь похож на кота, дорвавшегося до сметаны. Теперь у него куча новых друзей. Они называют себя «СТЫДящимися евреями». Чем-то это напоминает Потерянных

мальчишек.[77] И те и другие — жертвы банального недосмотра.

Треслав рассмеялся — отчасти ее шутке, а отчасти мысли о том, что Финклер обзавелся новыми друзьями.

— Он знает, что ты их так называешь?

— Потерянными мальчишками?

— Нет, СТЫДящимися евреями.

— Это вовсе не мое изобретение, они сами себя так назвали. У них вроде как общественное движение, вдохновленное — не поверишь — моим муженьком. А занимаются они тем, что сочиняют открытые письма и шлют их в газеты.

— За подписью «СТЫДящиеся евреи»?

— Именно так.

— В этом есть что-то ущербное, ты не находишь?

— Ты о чем?

— О том, что они ставят во главу угла свой стыд. Это напоминает мне «джеймсианок».

— Не слыхала о таких. Они тоже антисионисты? Тогда не рассказывай про них Сэму. Если они антисионисты — а тем паче *антисионистки,* — он

---

[77] Примечания: 77

Потерянные мальчишки (Lost Boys) — персонажи сказки Дж. М. Барри «Питер Пэн» (1904), обитатели острова Нет-и-не-будет, где они оказываются после того, как нянечки потеряли их во время прогулки.

тут же к ним примкнет.

— Я имел в виду чокнутых феминисток из книги «Мир глазами Гарпа». Джон Ирвинг — может, слыхала? Плодовитый американский писатель. Бывший рестлер к тому же. Одну из своих первых передач на Би-би-си я сделал про этих «джеймсианок». Они отрезали себе языки из солидарности с малолеткой, которую кто-то там изнасиловал и потом лишил языка. Вышло все по-дурацки, поскольку без языков они даже не могли внятно озвучить свой протест. Славная антифеминистская шутка — только не подумай, будто я…

— Ну, от Сэмовой компании отрезания языков не дождешься. Это завзятые словоблуды, любящие свет рампы и звук собственных голосов. Сэм без конца треплется с ними по телефону. И еще ходит на заседания.

— Они устраивают заседания?

— Не открытые, насколько мне известно. До открытых дело пока не дошло. Просто собираются в доме одного из них, как заговорщики. Даже противно. «Прости меня, отче, ибо я согрешил». Сэм у них типа отца исповедника. «Прощаю тебя, сын мой. Произнеси троекратно „стыжусь“ и не езди на отдых в Эйлат». В моем доме я эти сборища не позволю.

— И в этом вся их программа: стыдиться своего еврейства?

— Нет-нет! — Она положила руку ему на предплечье. — Так говорить у них не позволено. Они не стыдятся своего еврейства. Они стыдятся Израиля и его палестинской политики.

— А сами они израильтяне?

— Ты же знаешь, что Сэм не израильтянин. Он отказывается бывать там даже как турист.

— Я про других.

— Про всех не скажу, но те актеры и эстрадные комики, которых я знаю, точно не израильтяне.

— Тогда чего им стыдиться? Это же не их страна.

— Потому что они евреи.

— Но ты же сказала, что они не стыдятся своего еврейства.

— Зато они стыдятся, *будучи* евреями.

— А почему, будучи евреями, они должны стыдиться страны, гражданами которой они не являются?

— Знаешь, чтобы понять это, ты должен быть одним из них, — сказала Тайлер.

— Одним из них? То есть вступить в их общество?

— Нет, быть евреем. Ты должен быть евреем,

чтобы понять, почему ты стыдишься быть евреем.

— Все время забываю, что ты сама не из их числа.

— Я не еврейка, хотя их веру и обычаи усвоила.

— Думаю, этого стыдиться не нужно.

— Я этого и не стыжусь. Напротив, скорее, даже горжусь, но только не своим мужем. Вот за него мне стыдно.

— Выходит, вы оба стыдитесь.

— Да, но разных вещей. Ему стыдно, что он является евреем, а мне стыдно, что он им *не* является.

— А дети?

— Они уже студенты, Джулиан, — сухо заметила она. — Это значит, что они достаточно взрослые и могут решать за себя… но я воспитала их как евреев совсем не для того, чтобы они этого стыдились. — Она рассмеялась. — Только послушай эту фразу: «воспитала как евреев».

— А что они?

— Один еврей, другой нет, третья и сама не знает.

— У тебя их трое?

Она стукнула его, но не сильно:

— Вот уж кому надо бы постыдиться.

— И я стыжусь, будь уверена. Я стыжусь многих вещей, но ни одна из них не связана с евреями — вот разве что наша с тобой связь.

Она долго смотрела ему в глаза, и во взгляде ее было только прошлое, никакого будущего.

— Ты еще не устал от нас? — спросила она, как будто желая сменить тему. — Я не о нас с тобой. Я о нас, евреях. Тебя еще не воротит от нашей — от их — защищенности на самих себе?

— Я никогда не устану от тебя.

— Брось. Ответь по существу: ты бы хотел, чтобы все они наконец заткнулись?

— Ты о СТЫДящихся евреях?

— Я о евреях вообще — с их бесконечными спорами об их еврейскости, о соблюдении обрядов, ношении пейсов, поедании бекона, об их безопасности или небезопасности в этой стране, о ненависти к ним всего мира, о долбаном холокосте, о долбаной Палестине…

— Меня эти споры не трогают. Хотя, когда Сэм говорит о Палестине, мне кажется, что он этими речами за что-то мстит своим родителям. Это похоже на ругательства ребенка, который хочет показать, что он уже дорос до сквернословия. Я плохо разбираюсь в политике, но, по-моему, когда есть вещи, которых стоит стыдиться, то стыдить-

ся их должен всякий приличный человек.

— Вот именно — всякий. А эти СТЫДящиеся евреи корчат из себя черт знает что, воображая, будто весь мир следит за конвульсиями их совести. Вот почему мне за них стыдно…

— Как жидовке.

— Я предупреждала тебя насчет этого слова.

— Я помню, — сказал Треслав, — но мне нравится, как оно звучит.

— Зато другим не нравится.

— Моя жидовка, — сказал он. — Моя милая нестыдливая жидовка.

Он обнял ее и заметил, что она как будто уменьшилась по сравнению с той Тайлер, которую он впервые попытался обнять около года назад. Ее тело стало менее упругим, а ее одежда — менее разящей. В буквальном смысле разящей — в прошлый раз он до крови порезался острыми складками ткани. В ней еще чувствовался гнев, но она уже не вырывалась из его объятий, и это также свидетельствовало о происшедшей перемене. Чем меньше ее оставалось в целом, тем большая доля ее доставалась ему.

— Я правда люблю тебя, — сказал он.

— А я правда тебе благодарна за доброе отношение.

На какой-то миг Треславу почудилось, что они здесь, в этой темной комнате, напрочь отрезаны от всего остального мира. Он не хотел, чтобы она уходила к себе домой, обратно в постель Сэма, обратно к Сэмову члену. «Интересно, Сэм нынче стыдится своего члена, поскольку это еврейский член?» — подумал он.

Когда-то в школьной душевой Сэм гордо демонстрировал Треславу свой член с обрезанной крайней плотью.

— Женщинам это нравится, — говорил он.

— Враки!

— А вот и не враки!

— Откуда ты знаешь?

— Я об этом читал. С такой штукой ты можешь наяривать до бесконечности.

Через пару дней Треслав нашел нужную книжку.

— Зато ты получаешь меньше удовольствия, — сказал он другу по ее прочтении. — Ты лишился самой чувствительной части.

— Она чувствительна, но отвратительна. Ни одна женщина не захочет притронуться к твоему стручку. А на кой тебе тогда чувствительность? Будешь всю жизнь чувствительным сам по себе.

— Но ты не сможешь испытать то же, что и я.

— Ни фига ты вообще не испытаешь с таким необрезанным уродством.

— А вот увидим.

— Увидим.

А что теперь? Распространялся ли еврейский стыд Сэма на его член? Или член остался единственным исключением из «стыдобного правила»? Может ли СТЫДящийся еврей доставить женщине больше удовольствия, чем нестыдящийся нееврей?

Понятно, что размышлять на эти темы всерьез было глупо. С евреями не поймешь, когда они шутят, а когда нет; с Финклером и того сложнее, так как он, вообще-то, не из шутливых. Треславу очень хотелось спросить об этом у Тайлер. Разрешить эту загадку раз и навсегда. Что больше нравится женщинам? Благо у нее имелась какая-никакая база для сравнения. Мог ли ее Шмуэль наяривать до бесконечности? Связано ли ее нежелание видеть член любовника-нееврея с наличием у него крайней плоти, притом что член мужа-еврея она созерцает с восторгом? Неужто необрезанный орган Треслава кажется ей настолько уродливым? Этим, кстати, могло объясняться и ее поведение в постели, когда она направляла в себя его член, повернувшись к нему

спиной.

Он так и не спросил ее об этом. Не хватило духу. А скорее всего, ему не хотелось услышать ответ. Да и ситуация была не самой подходящей для таких расспросов, учитывая ее нездоровье.

Надо использовать шанс, когда ты его получаешь. Другой такой шанс ему уже не представился.

4

— Ну и где она? — спросил Либор, распахивая перед Треславом дверь своего подъезда.

В другое время он бы просто нажал в квартире кнопку электрического замка, но сейчас спустился на лифте и встретил Треслава внизу. Ему хотелось отдельно от прочих гостей познакомиться с таинственной грабительницей, способной по запаху определять национальность и религию своих жертв.

Треслав продемонстрировал ему пустые ладони, а затем ткнул пальцем себе в сердце и сказал:

— Здесь.

В свою очередь Либор указал на голову друга:

— А ты уверен, что не здесь?

— Я могу уйти.

— И снова нарваться на ограбление? Нет уж, заходи и познакомься с моими гостями. Кстати, у нас как раз Седер.

— А что это такое?

— Пасхальный обряд.

— Тогда я лучше зайду в другой раз.

— Не глупи, тебе это понравится. Все любят Седер. Будет даже пение.

— Нет, спасибо.

— Давай без разговоров. Это старинная, очень интересная церемония. Считается, что сам Господь на ней присутствует. Или, на худой конец, присылает одного из своих ангелов. Мы наливаем для него стакан вина.

— Поэтому ты так официально одет? Для попойки с ангелом?

Либор был в строгом сером костюме и сером галстуке. На этом сером фоне его лицо как будто растворялось и исчезало. Дабы подчеркнуть это ощущение, Треслав даже притворился, что заглядывает внутрь пиджака в поисках своего исчезнувшего друга.

Либор понимающе кивнул:

— Ты удивлен?

— Твоим нарядом? Да. И особенно тем, что брюки тебе ничуть не коротки.

— Я сам укорачиваюсь в правильной пропорции, только и всего. Спасибо, что отметил эту деталь, но я говорил о другом удивлении — тем, что мы отмечаем еврейскую Пасху в сентябре.

— А когда ее обычно отмечают?

Либор взглянул на него искоса, словно говоря: «И он еще метит в евреи!»

— В апреле или марте — примерно в одно время с христианской Пасхой. Это привязано к весеннему полнолунию.

— Тогда почему вы сейчас празднуете раньше обычного? Ради меня?

— Мы празднуем не раньше, а позже обычного. У меня есть дальняя родственница со стороны жены, ей без малого лет полтораста, я так думаю. В этом году она пропустила Седер из-за болезни и сомневается, что доживет до следующего. Вот мы и устроили последнее в ее жизни празднование.

Треслав прикоснулся к серому рукаву его пиджака. Мысль о чем-то последнем в жизни всегда находила у него сочувственный отклик.

— А это допускается?

— Раввинами, может, и не допускается. Но для меня это не имеет значения. Я считаю, что отмечать праздник можно в любое время, если чувствуешь в этом необходимость. Быть может,

это и мой последний Седер.

Треслав предпочел не реагировать на эту ремарку.

— Я должен буду что-нибудь делать? — спросил он.

— Так, кое-что. Мы празднуем по ускоренной программе. Торопимся, пока теплится жизнь.

Таким образом, в то самое время, как древняя родственница клевала носом на своем последнем празднике, Треслав, тихо раскланявшись с другими гостями, стал участником первого Седера в своей жизни.

Он знал эту историю с детства — с тех пор, как в составе школьного хора исполнял ораторию Генделя «Израиль в Египте». Этот чересчур помпезный концерт был организован при активной поддержке отца Сэма Финклера, который подготовил сценические костюмы и вдобавок одарил каждого исполнителя упаковкой своих чудо-пилюль (и не важно, что костюмы представляли собой всего лишь примитивные балахоны, сшитые из простыней мамой Сэма, а от пилюль весь хор потом страдал поносом). Все, что Треслав когда-либо пел, прочно сохранялось в его памяти… Итак, новый фараон, не ценивший былые заслуги Иосифа, приказал своим надсмотрщикам

взвалить на сынов Израиля непосильное бремя, и сыны Израиля начали под этим бременем тяжко стонать — ему особенно нравилось вместе с хором имитировать стоны сынов Израиля, — а потом Моисей с Аароном стали превращать воду в кровь, подкидывать лягушек в фараонову спальню, покрывать людей и скотов гнойными язвами, застилать все вокруг тьмой кромешной — «и руки могли ощутить эту тьму». В этом месте хористы закрывали глаза и вытягивали вперед руки, как бы пытаясь нащупать кромешную тьму. И Треслав по сей день мог ее нащупать, стоило только закрыть глаза. «Представляю, как рад был Египет избавиться от этих сынов Израиля, напустивших на страну такие ужасы», — думал он. Потом евреи всей толпой бежали из Египта, тут вроде бы и конец истории.

Однако была и вторая часть, в которой сыны Израиля все больше роптали да осыпали своего Бога упреками за то, что Он с ними сделал или, наоборот, не сделал.

— Выходит, ваш Бог покинул вас потому, что вы достали Его своим нытьем? — помнится, спросил он Финклера по окончании концерта.

— Наш Бог вовсе нас не покинул! — возмутился Финклер. — И нечего тут богохульствовать.

Эх, славные были деньки!

Наблюдая за тем, как гости вокруг него справа налево читают свои тексты, он вспомнил школьную похвальбу Финклера.

— Мы можем читать книгу с обоих концов, — сказал он Треславу.

Треслав тут же попытался вообразить, какие тайные магические силы нужно привлечь для обретения столь удивительных способностей. Причем речь шла о столь древних письменах, что их когда-то вырезали острым камнем на поверхности скалы, поскольку бумаги в ту пору еще не было. Неудивительно, что Финклер не видел снов — в его голове просто не хватало места для подобных пустяков.

Либор поместил Треслава ближе к середине длинного стола, за которым расположилось человек двадцать, и все они уткнулись в книги, читая справа налево. Он сидел между двумя женщинами, старой и молодой, то есть молодой по меркам этого собрания. Несмотря на глубокие морщины старой и на чрезмерную пухлость молодой, Треслав углядел сходство в их лицах и решил, что они близкие родственницы. И склонялись они над столом в похожей манере — как птицы над кормушкой. Он решил, что это бабушка и внучка

— или, может, обе с приставкой «пра», — но счел невежливым разглядывать их слишком пристально, пока они читали историю Исхода. Но одна деталь приковала к себе его взор. Это была книга, которую читала старуха. С удивлением он узнал в ней детскую книгу-раскладушку с разными хитроумными вставками. Вот старуха добралась до страданий сынов Израиля в египетском плену; вращающееся колесико на странице показывало смену дня и ночи и нескончаемый тяжкий труд евреев под палящим солнцем и серповидной луной. А на соседней странице уже маячили лягушки, гнойные язвы и пятно кромешной тьмы, которое вполне можно было почувствовать на ощупь.

Когда дело дошло до пересечения Красного моря, старуха потянула за петельку и — шутки в сторону! — воды расступились, давая проход сынам Израиля. После этого она еще несколько раз дергала за петельку, снова и снова топя в морских волнах фараоновы полчища.

«Кажется, это называют несоразмерной ответной реакцией», — подумал Треслав, вспоминая слова Финклера о том, что евреи вечно норовят взять два ока за одно. Но когда он какое-то время спустя опять взглянул на книгу, старуха с немень-

шей увлеченностью дергала за другую петельку, заставляя мальчика в ермолке снова и снова залезать под стол, чтобы появиться обратно с кусочком мацы в руке. Так что, видимо, и предыдущий случай с морскими волнами был всего лишь игрой, а не проявлением мстительности.

Глядя по сторонам, Треслав дивился тому, как сильно отличается это застолье от тех, которые проходили здесь при жизни Малки, да и позднее, когда он навещал Либора вместе с Сэмом. Так много финклеров вокруг — но без Сэма Финклера, — так много неизвестных ему блюд, и так много пожилых людей, чья молитвенная сосредоточенность очень напоминала полудрему или бессвязный старческий бред.

Но вот настал момент, когда к нему обратились как к самому молодому из присутствующих мужчин: не зачитает ли он вслух четыре вопроса.

— Я? — Треслав был потрясен. — Я бы с радостью, тем более что у меня накопилось гораздо больше четырех вопросов, но я не умею читать на иврите.

— Все неправильно, — сказала старуха, не отрывая взгляда от своей книжки. — Четыре вопроса надо было задавать раньше. В этой семье вечно все наперекосяк. И вообще, кто он такой? Это

Бернис опять кого-то притащила?

— Матушка, Бернис умерла тридцать лет назад, — раздался голос с другой стороны стола.

— Тогда ему нечего здесь делать, — отрезала старуха.

Треслав сидел как на иголках.

Внучка — или, может, правнучка — легонько тронула его за руку и прошептала:

— Не обращайте внимания. Она всегда такая во время Седера. Она любит этот праздник, но при этом уж очень раздражается. Наверное, чувствует вину из-за казней египетских — ей кажется, что Моисей и прочие слегка перестарались. Вам нет нужды читать на иврите. Можете прочесть четыре вопроса на английском.

— Но я не умею читать справа налево, — так же шепотом ответил Треслав.

— А в английском варианте этого и не требуется.

Она открыла пасхальную Агаду[78] на нужной странице и ткнула в нее пальцем. Треслав через стол посмотрел на Либора, который кивнул ему и сказал:

— Прочти вопросы.

---

[78] Примечания: 78

Сборник молитв, толкований Библии и песен, связанных с темой Исхода евреев из Египта.

Эти слова он сопроводил выразительной мимикой, по всей видимости означавшей: «Ты же теперь еврей, мой мальчик, ну так и задай нам эти вопросы».

И Треслав, в сильном смущении, с громко бьющимся сердцем, начал читать по книге:

«Чем эта ночь отличается от других ночей?»

«Почему в эту ночь мы должны есть горькую зелень?»

«Почему в эту ночь мы обмакиваем еду дважды?»

«Почему во все другие ночи мы можем есть и сидя прямо, и облокотившись, а в эту ночь мы все едим облокотившись?»

Ответы он почти не слышал, сосредоточившись на задавании вопросов. И откуда ему знать, как положено задавать еврейские вопросы в комнате, полной незнакомых евреев? Может, это риторические вопросы? Или это вообще шутка? Может, их надо задавать в стиле Джека Бенни и Шелли Бермана,[79] смешно коверкая слова? Или добавить пафоса, чтобы подчеркнуть горечь еврейских страданий? Евреи любят все преувеличивать. А что, если подпустить драматичности

---

[79] Примечания: 79

Бенни Джек (Бенджамин Кубельски, 1894–1974) и *Берман Шелдон* (Шелли, р. 1925) — популярные американские комики и актеры.

на манер Дональда Уолфита[80] в роли тени отца Гамлета?

— Ты не так читаешь! — крикнула старуха еще до того, как он завершил первый вопрос.

Несколько человек попросили: «Тише, матушка». Кроме нее, никто не возмущался чтением Треслава. Правда, никто им и не восхищался.

Если ответы на вопросы имели какое-то значение, то оно заключалось в бесконечном повторе все той же истории. «Всякий, умножающий рассказ об Исходе, достоин похвалы», — прочел он далее в книге. Насколько он мог судить, это было совершенно не в духе Сэма Финклера. «Ну пошло-поехало, опять этот холокост…» — говорил он в подобных случаях. Интересно, а о еврейской Пасхе он отзывался так же? «Ну пошло-поехало, опять этот Исход…»

А вот Треславу, с его склонностью к навязчивым идеям, бесконечные повторы были по душе. Вот и еще одно косвенное подтверждение, если только в этих подтверждениях есть надобность…

Праздничная церемония — или как еще это назвать? — шла своим чередом, ни шатко ни валко. Периодически возникали споры по поводу места,

---

[80] Примечания: 80

Уолфит Дональд (1902–1968) — британский актер, сыгравший много ролей в шекспировских пьесах.

с которого следует продолжать чтение; кто-то из гостей, как показалось Треславу, тихонько беседовал на посторонние темы; кто-то мирно дремал; кто-то удалился в один из множества туалетов в квартире Либора и не возвращался оттуда до тех пор, пока евреи не удалились на безопасную дистанцию от Египта; кто-то просто глядел в пространство, и невозможно было угадать, вспоминает ли он удачный исход своих предков из страны фараонов пять тысяч лет назад или же прикидывает шансы на удачный исход каких-нибудь завтрашних дел.

— Здесь слишком мало детей, — сказал сидевший напротив Треслава старик с дряблой морщинистой кожей и копной черных волос, из-под которой он сверкал глазами на собравшихся так, словно каждый из них в свое время причинил ему какой-нибудь вред.

Треслав огляделся и осторожно заметил:

— А здесь вообще нет детей.

Старик устремил на него гневный взгляд:

— Именно это я и сказал. Почему ты меня не слушаешь? Я сказал, что здесь нет детей.

Наконец приступили к пасхальной трапезе. Треслав ел все, что ему давали, заранее не рассчитывая получить удовольствие. Горькая зелень

между двумя пресными лепешками, «чтобы напомнить о горьких временах, которые мы пережили», — сказал мужчина, поменявшийся местами с женщиной, которая помогала ему отвечать на четыре вопроса.

— И наши горькие времена еще не закончились, — добавил кто-то.

С другого конца стола возразили:

— Ничего подобного, это символизирует цемент и блоки пирамид, которые мы возводили голыми руками.

За этим последовали вареные яйца в соленой воде («это символ пролитых нами слез»), потом куриный бульон с клецками, потом курица с картофелем, который, насколько понял Треслав, не символизировал ничего. Ему это понравилось. Еда, ничего не символизирующая, переваривается не в пример лучше.

Либор подошел его проведать.

— Курица понравилась? — спросил он.

— Мне все понравилось, Либор. Ты сам готовил?

— Нет, этим занимались наши женщины. Курица символизирует удовольствие, получаемое еврейским мужчиной оттого, что у него есть женщины, которые ее готовят.

Но если Треслав думал, что трапеза завершает церемонию, он ошибался. Как только блюда опустели, все началось по новой: прославление Господа за Его любовь и милосердие, песни, которые подхватывали все, загадки, которые никто и не думал отгадывать, изречения еврейских мудрецов. Треслав сидел и изумлялся. «Как сказал рабби Иегошуа… А Гиллель поступил так… О рабби Элиэзере рассказывают, что…» Это было не просто обсуждение чьих-то слов и деяний, это было обращение к исторической мудрости народа.

Его народа…

Улучив подходящий момент, он представился женщине, которую ранее счел правнучкой сварливой старухи. Она только что вернулась на свое место за столом после разговора с кем-то в дальнем углу комнаты. При этом она имела вид усталого странника, возвратившегося домой после долгого и трудного путешествия.

— Джулиан, — представился он, растягивая первый слог своего имени.

— Хепзиба, — назвалась она и протянула ему пухлую руку со множеством серебряных перстней. — Хепзиба Вейзенбаум.

Произнесение собственного имени, похоже, еще больше ее утомило.

Треслав улыбнулся и повторил: «Хепзиба Вейзенбаум», постаравшись воспроизвести звук «п», как это делала она, — с добавлением немножко от «ф» и еще немножко от «х». Это ему не удалось. Какой-то специфический финклерский звук?

— Хефзиба, — попробовал он еще раз. — Хехзиба. Я не могу правильно произнести, но имя очень красивое.

Ее это позабавило.

— Спасибо хотя бы за старание, — сказала она.

Руки ее беспрестанно двигались, выполняя мелкие и ненужные, с точки зрения Треслава, действия.

Серебряные перстни сбивали его с толку — они казались купленными в лавке «Ангелов ада».[81] Зато он совершенно точно знал место, где была куплена ее одежда: Хэмпстедский торговый ряд, расположенный неподалеку от дома Треслава. Проходя мимо этих витрин, он порой задумывался, почему ни одна из женщин, которым он делал предложение, не походила на эти внушительные манекены в просторных ниспадающих одеяниях.

---

[81] Примечания: 81

Международный клуб байкеров, среди прочего располагающий сетью легальных торговых заведений. Многие байкеры носят массивные перстни на всех пальцах, используя их, подобно кастету, в драках с враждебными группировками.

Хэмпстедский торговый ряд специализировался на обслуживании клиенток, которым было что скрывать и от чего избавляться, а его тощим, костлявым возлюбленным избавляться было не от чего, кроме собственно Треслава. Он порой задумывался, как бы повернулась его жизнь, питай он склонность к более корпулентным особам. Может быть, одна из таких смогла бы с ним ужиться и он нашел бы в ней свое счастье?

Хепзиба Вейзенбаум носила головной платок, что напомнило ему о Ближнем Востоке. На Оксфорд-стрит есть арабский магазин, из дверей которого струится специфический восточный запах, смешиваясь с запахами лондонской улицы. Когда Треслав забредал в те края, он всякий раз приостанавливался, чтобы вдохнуть эту своеобразную смесь. Точно так же сейчас пахла Хепзиба Вейзенбаум — смесью из выхлопных газов, потных туристов и ароматов далекого Евфрата, на берегах которого начиналась история.

Она улыбнулась, разумеется не догадываясь, о чем он думает. И эта улыбка обволокла его, как теплые воды, принимающие в себя пловца. Он почувствовал себя плывущим отражением в ее глазах, черных с фиолетовым оттенком, и легонько погладил тыльную сторону ее ладони,

не осознавая, зачем он это делает. В ответ она другой рукой погладила его кисть. Прикосновение серебряных перстней подействовало на него как легкий удар тока.

— Итак, — сказал он.

— Итак, — повторила она.

Голос у нее был мягкий, как растаявший шоколад. Может, и вся она состоит из мягкого шоколада, подумал Треслав. Ему никогда не нравились полные женщины, но ее полнота не вызывала у него неприятия; очень скоро он перестал замечать этот лишний жир — или этот жир перестал казаться ему лишним.

У нее было волевое лицо с широкими скулами — скорее монголоидными, чем семитскими — и широким насмешливым ртом. Нет, она не насмехалась над ним и не насмехалась над церемонией. Просто ее губам был свойствен этакий насмешливый изгиб.

Неужто он в нее влюбился? Сейчас ему казалось, что да, хотя еще минуту назад он не мог бы представить себе роман с женщиной, которая выглядела настолько здоровой.

— Стало быть, это для вас впервые, — сказала она.

Треслав был потрясен. Как она догадалась, что

он впервые в жизни запал на вполне здоровую с виду женщину?

Она заметила его смущение.

— Я имела в виду, что это ваш первый Седер, — пояснила она.

Он улыбнулся с облегчением:

— Верно. Но надеюсь, что не последний.

— Тогда на следующий праздник я приглашу вас к себе, — сказала она, глядя ему в лицо.

— Буду рад, — сказал Треслав и понадеялся, что она угадала в нем новичка по незнанию им ритуалов, а не по его чужеродной внешности.

— Либор много раз о вас говорил, — сказала она. — О вас и о вашем друге.

— О Сэме.

— Да, Джулиан и Сэм. Мне кажется, что я хорошо знаю вас обоих. Я прихожусь Либору правнучатой племянницей со стороны Малки.

— Здесь все кому-нибудь прапародичи? — спросил Треслав.

— Да, если не в более близком родстве.

Он кивнул на старуху, сидевшую с другой стороны от него:

— И это ваша?..

— И она моя родня, только не просите уточнить, кем я ей прихожусь. Все евреи в той или иной

мере родственники, притом что мы выделяем не шесть, а только три степени родства.

— Одна большая счастливая семья?

— Насчет счастливой не уверена, но что одна семья — да. Порой это раздражает.

— Это бы не так вас раздражало, поживи вы в маленькой семье.

— Вы о себе?

— Да, вся моя семья была: мать да отец.

Он вдруг почувствовал себя несчастным сиротой, надеясь, что она не воспримет это как попытку выжать у нее слезу сочувствия.

— Иногда я мечтаю о том, чтобы вся моя семья ограничивалась только мамой и папой, — заявила Хепзиба, к его удивлению. — Мне их так не хватает.

— Их здесь нет?

— Они умерли, и я перешла на положение всеобщей дочери.

«И может быть, матери?» — подумал Треслав.

— А братья-сестры у вас есть?

— Не в самом прямом смысле. Зато я что-то вроде всеобщей сестры. У меня много теток, дядьев, кузин, кузенов и так даже… На одни только поздравительные открытки к дням рождений уходит месячная зарплата. При этом половину из

них я не помню даже по именам.

— А свои дети у вас есть? — Треслав постарался, чтобы этот вопрос прозвучал естественно и вскользь, как упоминание о погоде.

Она улыбнулась:

— Пока нет. Я с этим не спешу.

И тут Треславу, в чьих видениях прежде не было места младенцам, представилось нечто новое — дети, которых они с ней заведут. Иаков, Эсфирь, Руфь, Мойша, Исаак, Рахиль, Авраам, Лия, Леопольд, Лазарь, Мириам… У него начал иссякать запас имен… Самуил — нет, только не Самуил, — Исав, Элиэзер, Вирсавия, Енох, Иезавель, Тавита, Тамара, Юдифь…

Джудит. Худит.

— А у вас? — спросила она.

— Братья-сестры? Нет.

— А дети?

— Двое. Сыновья. Уже взрослые. Но я мало участвовал в их воспитании. Если честно, я их едва знаю.

Он не хотел, чтобы Хепзиба (Хефзиба… Хехзиба) Вейзенбаум почувствовала угрозу соперничества со стороны его сыновей. «Но у меня еще много других детей впереди» — таков был подтекст.

— Значит, вы с их матерью разведены?

— У них разные матери, и я с ними не состоял в браке. Мы просто жили вместе — в разное время, естественно. И в обоих случаях это длилось недолго.

Он также не хотел, чтобы она воспринимала как потенциальных соперниц женщин, родивших от него сыновей. В то же время ему не хотелось выглядеть в ее глазах безответственным повесой. Посему он сделал движение плечами, долженствовавшее означать душевные муки, — легкое движение, чтобы с этим не переборщить.

— Если вы не настроены говорить на эту тему… — начала она.

— Нет-нет. Просто речь зашла о большой семье, а у меня семейные отношения как-то не сложились. — Он чуть было не добавил «пока», но вовремя остановился, подумав, что ей может не понравиться такой намек.

— Только не надо нас идеализировать, — предупредила она, взмахивая окольцованными руками.

«Нас». Он хотел бы слиться с этим словом.

— Почему?

— Потому что это всегда неправильно. И не стоит придавать слишком большое значение нашей семейственности.

«Нашей». Треслав старался выглядеть спокойным, хотя пол под ним, казалось, начал покачиваться.

— Хорошо, не буду, — сказал он. — Однако меня удивляет, что Либор, по вашим словам, часто обо мне упоминавший, не счел нужным нас познакомить. Вот уж не думал, что тут есть что скрывать.

Черт, неудачное выражение — как из рекламы одежды для толстух.

С его лица еще не сошла краска после четырех вопросов, иначе он покраснел бы заново. И не только из-за отсутствия такта, но и по причине своей несдержанности. «Где ты была до сих пор?» — означали его слова.

Она плотно сомкнула губы и пожала плечами — движение, которого, по мнению Треслава, ей следовало избегать, учитывая сопутствующее ему колыхание жировых складок под подбородком. Когда они поженятся, он найдет способ тактично сказать ей об этом.

Потом она рассмеялась, как будто ей понадобилась целая минута для того, чтобы понять намек.

— Да, тут и впрямь есть что скрывать, — сказала она, поправляя шаль, или накидку, или что там на ней было.

Треслав окончательно смутился:

— Извините.

— Вам не за что извиняться.

Он заглянул ей в глаза, пытаясь сформулировать вопрос, ответ на который стал бы для них сигналом к сближению.

— Хепзиба, — начал он, — Хефзиба… — Но, запнувшись на имени, потерял и вопрос.

Однако это побудило ее наклониться поближе к нему.

— Послушайте, — сказала она, — если вам так трудно произносить мое имя…

— Ничуть!

— Но если вы…

Он решил продемонстрировать твердость и повторил уже категорически:

— Поверьте, мне ничуть не трудно!

— Я только хотела сказать — на тот случай, *если* вам трудно, — друзья зовут меня Джуно.

Треслав едва не свалился со стула:

— Джуно? Джуно?!

Не понимая причину столь сильного изумления, она провела руками сверху вниз вдоль своего тела, подчеркивая пышность форм.

— Джуно — Юнона — это древняя богиня, — пояснила она, смеясь.

Он рассмеялся в ответ. Точнее, попытался рассмеяться. Вышло натужное гыканье — так мог бы гоготать какой-нибудь древний бог войны.

— На самом деле повод более прозаический, — поспешила добавить она. — Меня так прозвали после того, как я сыграла Юнону в школьной постановке «Юноны и павлина».[82]

— Джуно? На кой же тут Джуно?

Она смотрела на него озадаченно.

«Ага, не уловила, это уже лучше, — подумал Треслав. — Выходит, не все они подвинуты на словесных вывертах». Впрочем, ради нее он был готов освоить все приемы финклерских языковых сумасбродств. Он где-то читал, что для финклеров каждое слово имеет числовое значение. И даже имя Бога у них закодировано числом. Вне всякого сомнения, имя Джуно в числовой расшифровке (если бы он знал, как это делается) сигнализировало Треславу: «Твой час настал».

«Чем эта ночь отличается от других ночей?»

Вот он и получил ответ на этот вопрос.

Джуно. Боже правый, Джуно!

---

[82] Примечания: 82

Пьеса ирландского драматурга Шона О'Кейси (1880–1964).

Часть вторая

Глава 6

1

Каждую вторую среду месяца, если только она не совпадала с праздниками или Днями трепета,[83] Финклер и другие СТЫДящиеся евреи устраивали встречи в Граучо-клубе.[84] Не все они в детстве мечтали врезать под дых своему папаше, а иные сохранили прочную привязанность к традициям, в которых были воспитаны, и потому не участвовали в собраниях СТЫДящихся, когда те приходились на святые дни: Рош Ха-Шана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат-Тора, Шавуот, Пурим, Песах, Ханука… «И далее по списку», — саркастически добавлял Финклер.

Эта часть СТЫДящихся евреев делала особый упор на то, что стыдятся они не еврейства, а сио-

---

[83] Примечания: 83

В иудаизме 10 дней между еврейским Новым годом (Рош Ха-Шана) и Судным днем (Йом-Кипур), посвящаемые молитвам и покаянию.

[84] Примечания: 84

Клуб в лондонском квартале Сохо, большинство членов которого принадлежат к миру искусства, моды, шоу-бизнеса и СМИ. Он был основан в 1985 г. и назван в честь комика Джулиуса Генри «Граучо» Маркса (1890–1977), который однажды заявил: «Я ни за что не соглашусь стать членом такого клуба, который согласится принять в члены такого человека, как я».

низма. Такой подход подогревал разногласия по поводу названия их группы: не будет ли более правильным, учитывая источник и природу их стыда, именоваться «СТЫДящимися сионистами»?

Финклер был против этого варианта из соображений благозвучия. А равно из логических соображений.

— Если вы назоветесь «СТЫДящимися сионистами», — говорил он, — это сразу отвратит от движения людей вроде меня, которые не считают и никогда не считали себя сионистами. С другой стороны, вы откроете доступ в группу многим неевреям, которые стыдятся сионизма просто потому, что они гуманисты по натуре. Мы тоже гуманисты по натуре, но мы еще и евреи, и стыдимся мы не просто так, а *будучи евреями.* Вот в чем разница, на мой взгляд.

Некоторые члены движения усмотрели в его словах намек на расизм, ибо еврейский стыд как бы ставился выше любого другого стыда, но Финклер успокоил их контраргументом: разумеется, они не имеют монополии на стыд и готовы действовать сообща с теми, кто испытывает аналогичные чувства, — лично он приветствует расширение связей и сотрудничества, — однако

только евреи могут стыдиться сионизма *по-еврейски,* когда стыду сопутствует ощущение, что их обманули и предали.

Это породило новые споры: не лучше ли тогда назваться «ОБМАНутыми евреями»? Но Финклер снова взял верх, убедив соратников, что «ОБМАН» — не самое подходящее слово для начертания его на знаменах; кроме того, это можно истолковать так, будто они сами прежде увлекались идеями сионизма и теперь сокрушаются только из-за собственных заблуждений, а не из-за сионистских преступлений против человечности.

Наверняка некоторые СТЫДящиеся отметили, что Финклер тоже не очень дружит с логикой, сперва делая акцент на исключительности «еврейского стыда», а затем отрекаясь от этой исключительности в пользу «общечеловечности». Но вслух они этого не высказали, возможно, потому, что сами не могли толком разобраться со своим стыдом, который одновременно был и не был частью их биографии, стучался и не стучался в их сердца, являлся и не являлся общим достоянием, основываясь то на доводах трезвого рассудка, то на туманных поэтических образах.

Ситуация с посещаемостью собраний была разрешена, по крайней мере временно, следую-

щим образом: тем СТЫДящимся евреям, которые стыдились сионизма не в ущерб своей еврейскости, было позволено забывать о стыдливости во время Рош Ха-Шана, Йом-Кипура, Хануки и тому подобных, чтобы с новыми силами устыдиться уже по окончании праздников.

Остальные участники движения представляли собой на редкость разношерстную компанию. Здесь были евреи вроде Финклера, чей стыд распространялся на все еврейское и которые ни в грош не ставили святые дни; были и такие, кто даже не имел понятия о еврейских праздниках, будучи воспитан в марксистском и атеистическом духе; были и те, чьи родители давно сменили фамилии и заделались сельскими сквайрами, разводя лошадей где-нибудь в Беркшире, а сами они теперь признали себя евреями только для того, чтобы публично отказаться от своего еврейства.

Логика, согласно которой человек не мог именоваться «СТЫДящимся сионистом», если он прежде сионистом не был, не распространялась на евреев, которые прежде не были евреями. Чтобы влиться в ряды СТЫДящихся евреев, совсем необязательно было на протяжении всей жизни сознавать себя евреем. Один из членов группы, к

примеру, узнал о своем еврейском происхождении во время телепередачи, когда ему сообщили об этом перед камерой, а в финале передачи он уже был показан рыдающим у мемориала в Освенциме, где, как выяснилось, погибли его предки. «Теперь понятно, откуда у меня комический талант», — заявил он тогда газетчикам, но очень скоро отрекся от этого заявления. Сделавшись евреем в понедельник, он уже к среде стал СТЫДящимся евреем, а в субботу появился среди пикетчиков перед израильским посольством, вместе с ними скандируя: «Мы все — Хезболла!»

Граучо-клуб был выбран местом их встреч по предложению Финклера. Прежде они собирались дома у кого-нибудь из членов группы, но Финклер раскритиковал такую практику, поскольку она делала собрания чересчур замкнутыми, превращая их в «домашние посиделки». Тех соратников, кого коробила мысль об обсуждении животрепещущих проблем в месте, где рекой льется спиртное и гремит пошлый смех (к тому же названном в честь еврея, высмеивавшего все еврейское), Финклер убедил ссылкой на важность паблисити для успеха их общего дела. Глупо стыдиться своей принадлежности к СТЫДящимся евреям, ибо вся значимость их стыда именно в

том и заключается, что этот стыд выставлен на всеобщее обозрение.

По мнению Тайлер, ее муж использовал СТЫДящихся прежде всего для налаживания связей в высшем эшелоне шоу-бизнеса. Она побывала на их первых собраниях в Граучо-клубе и сразу отметила особенности в поведении Финклера: показную щедрость, с которой он одаривал опустившихся интеллигентов и бездомных продавцов «Важного вопроса»[85] на улице перед клубом; слишком жирный и размашистый росчерк, которым он завершал свою подпись в книге посетителей; благосклонно-пустые фразы, которыми он удостаивал прислугу, отвечавшую ему медоточивой любезностью; наслаждение, с которым он тусовался в компании кинорежиссеров и медиашишек у стойки клубного бара. Теперь, когда он фактически возглавил СТЫДящихся евреев, Тайлер ясно видела цель всей этой суеты — любыми средствами распространить свое влияние далеко за пределы попсовой философии.

После смерти Тайлер можно было ожидать,

---

[85] Примечания: 85

«The Big Issue» — газета, которую выпускают профессиональные журналисты, а продают на улицах бездомные граждане. Целью проекта является предоставление бездомным легального заработка.

что Финклер, уже не сдерживаемый ее ироничными комментариями, пустится во все тяжкие ради утоления своих амбиций. Однако этого не произошло; более того, он стал держаться тише и скромнее, чем прежде. Сам он считал такую перемену в своем поведении данью памяти жене, чем-то вроде ненаписанной эпитафии.

Он знал, что Тайлер понравился бы его полный разрыв со СТЫДящимися евреями, но на это он пойти не мог. Он был нужен движению. Он был нужен палестинцам. Он был нужен Грауч-клубу.

Между тем дела их шли не так чтобы очень гладко. В спокойные вечера угловой стол в ресторане клуба вполне подходил для собраний: здесь они были на людях и в то же время сами по себе. Но когда в клубе становилось многолюдно, другие посетители могли невольно услышать их беседу и счесть себя вправе к ней присоединиться. Ладно еще, если посторонние вмешательства были благожелательными и не слишком шумными, но временами возникали скандалы, например когда группа дельцов от музыки, с каббалистическими красными нитками на запястьях, уловила коечто из сказанного СТЫДящимися и потребовала исключения их из клуба как антисемитов. После-

довавшая потасовка обернулась для комика Айво Коэна вторым нокдауном в качестве СТЫДящегося еврея (первый он получил во время митинга на Трафальгарской площади, разойдясь во мнениях с группой лиц, называвших себя «Христианами для Израиля»).

— Недурной образчик еврейской духовности! — пропыхтел комик, поднявшись с пола и заправляя рубаху; здесь он слегка перефразировал собственную реплику: «Недурной образчик христианской духовности!» — произнесенную после падения на трафальгарскую мостовую.

По счастью, он был пухлым коротышкой, так что падать ему было мягко и невысоко. А поскольку на сцене он подвизался в жанре «марксистского балагана», предполагавшего много комичных падений, никто не принял это слишком всерьез. Однако клуб не мог себе позволить частое повторение подобных инцидентов, и СТЫДящимся евреям порекомендовали избрать для своих заседаний другое место либо перенести их в отдельную комнату на втором этаже.

Финклер не имел желания нападать на каббалу, в целом одобряя практическую сторону этого учения, тем более что оно привлекало таких людей, как Мадонна и Дэвид Бекхем, а он видел

в них вероятных читателей его житейско-философских опусов и рассчитывал заполучить их в качестве гостей своей программы. Но в данной ситуации ему ничего не оставалось, как громко заклеймить компанию каббалистов, чье безобразное поведение не делало чести еврейскому мистицизму, приверженцами которого они себя называли. Что до обвинения СТЫДящихся евреев в антисемитизме, то здесь он ограничился одной фразой, произнесенной с каменным лицом:

— Пусть это обвинение останется на совести обвинителей.

Это была цитата — вот только он не помнил автора. Скорее всего, какой-нибудь махровый антисемит. Ну и ладно. Не важно, кто и по какому случаю первым сказал эти слова; важно, какое применение нашел им ты.

Вдохновленный положительной реакцией на эту фразу со стороны СТЫДящихся товарищей, он вставил ее в проект открытого письма, которое после доработки было опубликовано в «Гардиан» за подписями двадцати самых видных членов движения и с упоминанием «еще шестидесяти пяти подписавшихся». «Мы чрезвычайно далеки от порицания своего еврейства, — говорилось в письме. — Более того, именно мы в настоящее

время продолжаем великие еврейские традиции утверждения справедливости и проявления сочувствия».

В ходе доработки один из СТЫДящихся опознал цитату и потребовал ее удаления. Другой опасался, что употребленное в письме выражение «евреи-антисемиты» может быть вырвано из контекста и потом использовано против них самих, как используют в театральной рекламе слова маститого критика: «…я назову эту пьесу достойной внимания публики», опуская начало фразы: «Пусть язык мой отсохнет, если…» Третий возмущался тем, что его имя, как и многие другие имена, не стоит под письмом, но был-таки вынужден довольствоваться унизительной анонимностью в числе «еще шестидесяти пяти». Четвертый вообще ставил под сомнение эффективность публикаций в «Гардиан».

— Газа объята пламенем, а мы препираемся по поводу эффективности публикаций! — пристыдил его Финклер.

Столь высокие чувства были обречены на всеобщее одобрение, однако сам Финклер их ничуть не одобрял. И он сразу пожалел о сказанном. События в Газе способствовали активизации их движения, но Финклер — возможно, потому,

что он предпочитал предвосхищать события, а не плестись у них в хвосте, — имел собственный взгляд на эти вещи, отличный от взглядов коллег. Как философ, он уклонялся от излишне эмоциональных разговоров про бомбардировки и гибель людей на улицах. «Важные и недвусмысленные выражения следует приберегать для важных и недвусмысленных ситуаций», — полагал он. Здесь же была налицо двусмысленность: страна, чье название он не хотел произносить, обвинялась в «неспровоцированном насилии» и «непропорционально жесткой реакции». Напрашивался вопрос: непропорционально жесткой реакции на что? Следовал ответ: на провокации. Но тогда почему насилие именовалось «неспровоцированным»?

С «непропорциональностью» тоже было не все ладно. Как в данном случае измерять пропорции — ракета за ракету, жизнь за жизнь в строгом соответствии? Но разве, подвергшись провокации, вы не вправе сами выбирать ответные меры, а должны, пропорциональности ради, тщательно повторять со своей стороны действия провокатора?

Он предпочитал не вдаваться в детали. Израильтяне слишком обнаглели и распоясались

— этот вывод он не подвергал сомнению. Но его СТЫДящиеся соратники как раз вдавались в детали и доходили до утверждений, которые при иных обстоятельствах показались бы попросту смехотворными. Финклер делал то, что от него требовалось, — составлял проекты открытых писем и сидел в президиумах, — но делал это автоматически, без души. Временами он словно просыпался и с испугом спрашивал себя: а не забывает ли он о том, чего он, собственно, СТЫДится? Возможны ли в принципе такие вещи, как «преднамеренное заражение палестинцев сектора Газа болезнью Альцгеймера»?

Он был достаточно осторожен, чтобы не выдать свои истинные взгляды на ситуацию в Газе, и большинство СТЫДящихся выражали удовлетворение его фактическим лидерством. Он оправдал их надежды, придав молодому общественному движению столь нужный популистский импульс с претензией на интеллектуальность.

После скандала с каббалистами они утвердили следующий порядок заседаний: сначала обед в клубном ресторане, в ходе которого разговоры ведутся на пониженных тонах и на безобидные темы, а затем перемещение в комнату на втором этаже, где они могут беседовать уже без опасения

быть услышанными и прерванными. В комнату не допускались даже официанты с напитками, что придавало заседаниям привкус таинственности и конспиративности.

Минуло почти два года с той поры, как Финклер примкнул к движению — или, скорее, породил его, если называть вещи своими именами, — и вот он впервые ощутил нарастающую оппозицию своему лидерству. Причины этого были ему пока неясны. Возможно, зависть — даже лучшие из нас не застрахованы от этого недоброго чувства. Он сочинил слишком много коллективных писем. Он слишком часто выступал от их имени в разных телепрограммах. Он фактически узурпировал не только лидерство, но и их общий стыд, став его олицетворением: «Сэм Финклер — СТЫДящийся еврей».

— Они скоро поймут свою ошибку, — предсказывала Тайлер еще в начале этой эпопеи. — Связавшись с таким жадюгой, они скоро обнаружат, что ты загреб себе большую часть стыда, оставив им жалкие крохи.

Однако Финклер был уверен, что может распознать зависть по тому, как люди смотрят на тебя, думая, что ты их не видишь, и по тому, как они стараются тебя не слушать, словно каждое твое

слово причиняет им ужасные мучения. Здесь же было что-то другое, менее личное; коллеги скребли подбородки и недовольно щурились, но это недовольство порождалось, скорее, идеологическими причинами. Может, дело было в Газе? Неужто они догадались о его истинном отношении к этой проблеме? В это верилось с трудом: его хитрые ходы порой запутывали даже его самого, что уж говорить про других. Так, среди прочего, он выступил соавтором весьма нашумевшей статьи о непропорциональных реакциях под названием «Сколько зубов за зуб, сколько глаз за око?»

В конце концов он понял, что дело было не в Газе, а в Большом бойкоте — так для краткости именовалось мероприятие, официально известное как «Всесторонний академический и культурный бойкот израильских университетов и иных учебных заведений». На их повестке дня было несколько разных бойкотов, но ни один не мог потягаться с Большим бойкотом, поскольку его организаторами выступали видные деятели науки, — не секрет, что такие меры, как отстранение от участия в международной конференции или отказ солидного научного журнала в публикации статьи, могут быть очень и очень

болезненными.

Финклер облил презрением эту идею, назвав ее убогой.

— И что дальше? — спросил он. — Предложим Британскому союзу филателистов бойкотировать лизание израильских марок?

Вдобавок бойкот прерывал общение в той сфере, где это общение как раз могло быть особенно продуктивным.

— Я принципиальный противник всего, что мешает диалогу или торговому обмену, — сказал он, — но особенно вредным и глупым считаю разрыв связей между интеллектуальными элитами, которые всегда были нашей главной надеждой на мирное решение проблем. Тем самым мы только покажем, что закоснели в своих убеждениях и не желаем даже слушать тех, чье мнение рискует не совпасть с нашим собственным.

— А какое еще мнение тут стоит слушать? — поинтересовался Мертон Кугле, самый активный сторонник бойкота.

Он уже давно бойкотировал Израиль частным порядком, исследуя все товары в своем супермаркете на предмет их израильского происхождения и заявляя протест руководству при обнаружении подозрительной баночки или пакета. В поисках

«расистской продукции» — по его догадке, чаще всего скрываемой на самых нижних полках и в самых темных углах — Мертон Кугле надорвал поясницу и едва не ослеп.

Финклер относил Кугле к разряду «ходячих мертвецов», чье разложение, как известно, бывает заразным. Когда Кугле открывал рот во время заседаний, Финклеру хотелось свернуться калачиком в углу и тихо умереть.

— По любому вопросу всегда найдется, что еще послушать, Мертон, — сказал Финклер, держась за край стола для большей устойчивости. — И точно так же всегда найдется, что еще сказать.

— Кое-кто из нас не имеет времени, чтобы сидеть тут и слушать твои речи, — огрызнулся Кугле. — Ты уже выступал против бойкота израильских товаров, против бойкота туристских поездок в Израиль — кроме тех, что могут принести выгоду палестинцам, — против бойкота израильских атлетов и спортсменов…

— Да их там и нет, — вставил Финклер.

— …Против бойкота овощей и фруктов с оккупированных территорий, против призыва к Евросоюзу прервать торговлю с Израилем…

— А это принесет какую-то выгоду палестинцам?

— …Против изъятия инвестиций из израильских компаний и компаний других стран, субсидирующих экономику этого незаконного государства. И вот сейчас…

Финклер обвел взглядом аудиторию, прикидывая, на какую поддержку может рассчитывать Кугле. Как всегда, он был огорчен, увидев среди присутствующих так мало блестящих актеров и комиков (Айво Коэн не был блестящим) и так мало живых легенд (Мертон Кугле не был живым), чьи имена в списке СТЫДящихся евреев когда-то побудили его примкнуть к этому движению. Ему нравилось быть звездой философского шоу, но он предпочел ему другое шоу, рассчитывая повысить свой звездный статус. Первый среди равных — вот как ему виделась новая роль. Но где же они, эти равные? Время от времени на собраниях зачитывалось послание от кого-нибудь из «великих», гастролирующего по Австралии или Южной Америке, с пожеланиями группе успехов в их чрезвычайно важной и благородной миссии; иногда приходила видеозапись с обращением знаменитого музыканта или драматурга к СТЫДящимся, как будто они были Нобелевским комитетом, чью высокую оценку он чрезвычайно ценил, но, увы, не мог лично присутствовать на

церемонии награждения. Регулярно посещали собрания только научные работники, не имевшие других занятий, писатели вроде Кугле, не написавшие ничего достойного опубликования, плывущие по течению аналитики и горе-комментаторы, один самопровозглашенный директор существующего только на бумаге института да парочка полусветских раввинов с подозрительно бегающими глазками.

Примерно в такой же компании Финклер мог бы оказаться, запишись он на вечерние курсы переквалификации.

И эти люди смеют выражать ему недоверие! Что ж, в таком случае он выражает недоверие им.

Бывали моменты, когда Финклер задавался вопросом: зачем он здесь вообще? Если его не особо привлекает идея еврейского единства, какой смысл в единении с *этими* евреями — только потому, что их тоже не особо привлекает та же идея?

Он заметил, что Рувим Тукман хочет взять слово. Либеральный раввин Тукман во все сезоны носил дорогие летние костюмы и страдал легким заиканием, усугубляемым легкой шепелявостью, — если только это не было притворством, что Финклера не удивило бы, — и всякий раз,

открывая рот, одновременно закрывал глаза. Это придавало его вечно помятому лицу мечтательно-сладострастное выражение, отнюдь не приличествующее его сану. Тукман недавно прославился, в одиночку пикетируя Уигмор-холл, где должен был выступать малоизвестный ансамбль из Хайфы. Правда, ансамбль отменил гастроли по причине болезни кого-то из участников, но Тукман продолжил акцию протеста, чтобы посрамить концертный зал и заодно покрасоваться в новом костюме от Бриони. «Я л-люблю м-мушыку, как вше, — заявил он репортеру, — но я не м-могу ею нашл-лаждатьшя, вшпом-миная о прол-литой невинной крови».

Чем увязать в пустопорожней болтовне Тукмана, Финклер предпочел снова обратиться к Кугле:

— Я хочу тебя спросить, Мертон: разве мы не семья?

— Мы с тобой?!

— Не пугайся так. Я говорю не о тебе и обо мне в частности, а обо всех нас. Мы спорили об этом уже тысячу раз: чего конкретно мы стыдимся, как не самих себя? Мы не назвались бы СТЫДящимися евреями, будь объектами нашей критики Бирма или Узбекистан. Мы стыдимся собственной се-

мьи, не так ли?

Мертон Кугле не мог понять, куда он клонит. В чем тут уловка? Остальные СТЫДящиеся тоже насторожились.

Рувим Тукман сложил руки на манер медитирующего буддиста и начал: «Ш-шэм...» — но Финклер не стал дожидаться, что последует за этим малозвучным вариантом его имени.

— Если мы все одна семья, как быть с бойкотом? Разве можно бойкотировать собственную семью?

Эту фразу он бессовестно украл у Либора. Но друзья для того и нужны, чтобы у них что-нибудь заимствовать.

Финклеру было приятно вспомнить о Либоре — одном из немногих евреев, которые ему нравились.

2

— Папа, как ты определяешь, что вот эта женщина тебе подходит?

— Как *я* определяю или как *вообще* определяют?

— Как *мне* это определить?

Треслав был доволен, что Родольфо выказал какой-то интерес к женщинам и даже задумался

о поиске подходящей пары.

— Сердце тебе подскажет, — сказал он, накрыв ладонью руку сына.

— Пардон за мой непарижский прононс, но это полная хуйня, — вступил в разговор Альфредо.

Они, впрочем, находились не в Париже, а на Итальянской Ривьере, поедая пасту на веранде отеля и рассматривая женщин у бассейна. Треслав таки выбрался в отпуск, о необходимости которого говорили ему Финклер и Либор, но выбрался он в сопровождении сыновей, чего не ожидал никто. Эта идея принадлежала самому Треславу — пятидневная поездка, спешно устроенная и полностью оплаченная отцом, в течение которой сыновья будут вкусно есть, наслаждаться теплом средиземноморской осени и смогут наконец получше узнать друг друга, тогда как Треслав попытается очистить свою голову от всякой ерунды, засорявшей ее в последнее время.

— Почему ты так считаешь? — спросил он Альфредо.

— А ты взгляни, к примеру, вон туда. И только не говори, что, с кем бы ты сейчас ни был, ты не захочешь урвать кусочек *этого.*

— Ее, — поправил Треслав.

— Ну да, ее.

— Я в смысле: *ее*.

Альфредо уставился на отца в недоумении.

— Ты назвал женщину «это» — «кусочек этого». А надо говорить: «ее».

— Черт возьми, папа, я думал, мы сюда приехали, чтобы расслабляться, а не нудить. Пусть будет «ее». Посмотри на ее фигуру: длинные ноги, плоский живот, маленькая грудь. Заполучив такую топ-модель, ты уверен, что и смотреть не захочешь на других женщин. А теперь взгляни вот на это… то есть на *нее* — роскошные формы, большие сиськи, полные бедра, — и через минуту уже будешь удивляться, что такого ты находил в той худышке.

— Да ты прямо философ, — сказал Треслав. — Небось опять листал «Декарта и флирт» дядюшки Сэма?

— А сам ты, можно подумать, образец постоянства, — сказал Родольфо. — Мама говорила, что ты ни с одной женщиной не прожил больше двух недель.

— Мало ли что говорит твоя мама.

— Моя говорила то же самое, — сказал Альфредо.

— Они частенько сходятся во мнениях, — проворчал Треслав и заказал еще одну бутылку

монтальчино.

Он хотел их немного побаловать, дать своим сыновьям то, чего им не хватало. Да и себя побаловать заодно. Прочистить мозги. Эти слова он употреблял постоянно. Прочистить мозги.

После обеда Треслав улегся в шезлонг с книгой — название которой прятал, когда кто-нибудь оказывался поблизости, — а сыновья меж тем купались и болтали о женщинах. Ему здесь нравилось. Речь не о виде, хотя вид отсюда на Лигурийское море действительно впечатлял. Ему нравилось находиться здесь вместе с детьми. «Может, на этом и остановиться? — размышлял он. — Принять роль отца семейства, дважды в год ездить в отпуск с сыновьями и забыть обо всем остальном?» Ему скоро пятьдесят, пора бросать якорь. Больше ничего важного в его жизни не произойдет. Каким он был, таким он и останется. Джулиан Треслав. Холостяк. Нееврей. И все.

Хватит и этого.

Было часа три пополудни, когда Родольфо подошел и опустился в соседний шезлонг.

Треслав спрятал книгу у себя под боком с другой стороны.

— Ну так что? — спросил Родольфо.

— О чем ты?

— Я об ответе на мой вопрос. Как ты определяешь, какая женщина тебе подходит, а какая нет? А если ты не совсем уверен, что она тебе подойдет, может, лучше с ней и не связываться? Я не прошу совета, просто хочу поговорить. Я хочу знать, как это нормально бывает.

Треслав вспомнил фартук, в котором Родольфо готовил сэндвичи у себя в забегаловке. Это был не обычный поварской фартук, белый матерчатый или кожаный. Это был фартучек в цветочек. А по праздникам Родольфо вплетал в свою косичку ленту из черного бархата.

— Тебе не приходило в голову, что ты можешь быть геем? — спросил Треслав наконец.

Родольфо выпрыгнул из шезлонга:

— Ты рехнулся?

— Я просто спросил.

— А почему ты спрашиваешь меня об этом?

— Если на то пошло, ты первый начал задавать вопросы. Ты сказал, что хочешь знать, как это нормально бывает. Нормально — оно и есть нормально. Что конкретно тебя беспокоит?

— Почему ты решил, будто я гей?

— Я не считаю тебя геем. Но если бы ты даже им был…

— Я не гей, понятно?

— Понятно.

Родольфо вернулся в свой шезлонг.

— Мне нравится *она,* — сказал он после изрядной паузы, кивая на молодую женщину, которая выходила из бассейна.

Треславу она тоже понравилась. Да и какая женщина не выглядит похорошевшей, выходя из бассейна? Правда, лично его мог еще сильнее взволновать вид роженицы, у которой только что отошли воды: она выглядела такой трогательно-изможденной… Мало общего с тем, что он ожидал увидеть по возвращении домой.

При выходе из воды трусики ее бикини слегка сползли. Невозможно было не вообразить, как ты запускаешь свою ладонь в эти трусики и твои пальцы добираются до щекочущих волосков… Родольфо должен воображать то же самое, если он не гей. И если он не притворился заинтересованным этой женщиной только для того, чтобы ввести отца в заблуждение.

— Займись-ка ею, сын, — сказал Треслав, и ему самому понравилось, как это прозвучало.

Вечером на веранде отеля были танцы, Альфредо и Родольфо нашли себе партнерш. Треслав наблюдал за ними с удовлетворением. «Все идет как надо», — думал он. Быть хорошим отцом

оказалось не так уж и трудно.

После танца Альфредо подвел к нему свою девушку:

— Ханна, это мой отец… Отец, это Ханна.

— Рад знакомству. — Треслав встал со стула и слегка поклонился. Не помешает быть учтивым с возможной невесткой.

— У вас с ней есть кое-что общее, — сказал Альфредо, пряча глаза за темными очками и улыбаясь ничего не выражающей улыбкой ресторанного тапера.

— Что именно? — спросил Треслав.

— Ваше еврейство.

— Как это следует понимать? — поинтересовался Треслав позднее; девушки ушли, и он не спросил, собираются ли сыновья последовать за ними.

Нынешнее поколение не церемонилось с женщинами. За ними уже не бегали. Если женщина уходила, оставив партнера, ну и ладно. Во времена его молодости уход партнерши был страшным ударом по мужскому самолюбию, едва ли не концом света.

— Было весело, папа.

— Ты знаешь, о чем я: ты назвал меня евреем.

— А ты не еврей?

— А это имеет значение?

— Ну вот, отвечаешь вопросом на вопрос. Очень по-еврейски.

— Спрашиваю еще раз: имеет для вас значение, еврей я или нет?

— Ты это к тому, антисемиты мы или нет? — спросил Родольфо.

— А имеет ли значение, антисемиты мы или нет? — добавил Альфредо.

— Что до меня, то я не антисемит, — сказал Родольфо. — А ты, Альф?

— И я нет. А ты, папа?

— Каждый из нас в какой-то степени антисемит. Даже ваш дядюшка Сэм, хоть он и еврей.

— А как насчет тебя?

— Да к чему это вы клоните? Что вам такое рассказали? Кто рассказал?

— Ты намекаешь на наших мам?

— Это *вы* мне скажите. Что за шутки, в конце концов?

— Не так давно я повстречал дядю Сэма и узнал от него, что ты стал жертвой антисемитской выходки. Я спросил, как ты можешь быть жертвой антисемитской выходки, если ты не семит. Он сказал, что задавал тебе тот же вопрос, а ты в ответ назвался евреем.

— Мой друг Финклер любит все упрощать.

— Ну тогда и ты скажи просто: это так или не так?

Он переводил взгляд с Альфредо на Родольфо и обратно, как будто видел их впервые.

— В любом случае это не значит, что *вы* евреи, если вас беспокоит это. Можете оставаться теми, кто вы есть. Правда, я не знаю, кто вы есть. Ваши матери никогда мне этого не говорили.

— Может, тебе стоило их спросить, — сказал Родольфо. — Может, они были бы только рады, если бы ты принял участие в нашем религиозном воспитании.

На последних словах Родольфо не удержался и фыркнул.

— Нет, давай разберемся, — сказал Альфредо. — По твоим словам, если ты еврей, это еще не значит, что и мы евреи. Но все равно в какой-то части мы ими будем, не так ли?

— Смотря в какой именно части, — снова фыркнул Родольфо.

— Евреем нельзя быть отчасти, — сказал Треслав.

— Почему это нельзя? Ты можешь быть на четверть индийцем и на десятую долю китайцем. Почему ты не можешь быть и чуточку евреем?

Мы вообще получаемся наполовину евреями, а это уже не чуточка. Лично меня эта идея забавляет. А как тебя, Ральф?

Родольфо попытался изобразить Алека Гиннесса[86] в роли Феджина и, потирая руки, прогнусавил:

— Такиж и меня, дгужочек, такиж и меня.

Оба юнца рассмеялись.

— Познакомься с полуизбранным, — сказал Альфредо, протягивая руку брату.

— А вот и вторая избранная половина, — подхватил Родольфо, отвечая на пожатие.

«Похоже, я и вправду не видел их до сей минуты», — думал Треслав. И он не был уверен, что захочет увидеть их вновь — этих своих нееврейских детей.

3

Нежданно-негаданно Либор получил послание от женщины, с которой не имел контактов уже более пятидесяти лет. В письме она спрашивала, ведет ли он по-прежнему свою колонку светских новостей.

---

[86] Примечания: 86

Гиннесс Алек (1914–2000) — британский актер, сыгравший ростовщика Феджина в фильме «Оливер Твист» (1948).

Он ответил, что очень рад получить от нее весточку спустя столько лет, ну а с колонкой он покончил еще в 1979-м.

Она, должно быть, немало потрудилась, его разыскивая, поскольку за эти годы он несколько раз менял адрес.

В своем письме он не упомянул о смерти жены. Она могла и не знать о его женитьбе. В любом случае не стоит с ходу сообщать о своем вдовстве женщине, которую ты не видел полсотни лет и которая предприняла столько усилий, чтобы тебя найти.

«Надеюсь, жизнь была добра к тебе, — написал он. — Ко мне она была добра».

Уже после отправки письма он счел неудачной меланхолическую последнюю фразу, как будто намекавшую, что это было в прошлом, а теперь жизнь повернулась к нему спиной. Более того, эту фразу можно было истолковать как жалобу бедолаги, нуждающегося в участии.

И еще он забыл спросить о причине столь запоздалого интереса к его колонке. Посему он послал вслед за письмом открытку, написав на обороте: «Извини за бестактность. Ты спрашивала про мою колонку с какой-то целью?»

Едва отправив открытку — автопортрет Рем-

брандта в старости, — он тут же пожалел о своем выборе: вдруг она решит, что он таким образом старается вызвать у нее сочувствие? И он послал еще одну открытку вслед, на сей раз с королем Артуром в расцвете сил и при всех регалиях. Без сопроводительного текста — только его подпись. Она должна понять.

Ах да, еще он указал свой телефонный номер. Просто так, на всякий случай.

Результатом всего этого стало его появление в баре Университетского женского клуба в Мейфэре[87] и звон бокалов шампанского при встрече с единственной женщиной, кроме Малки, когда-то покорившей его сердце. Или почти покорившей. Ее звали Эмми Оппенштейн. При первом знакомстве в 1950-х ему показалось, что ее фамилия Оппенгеймер. Разумеется, он не поэтому в нее влюбился, но известная фамилия явно добавила ей привлекательности. Либор не был снобом, однако в свое время он успел соприкоснуться с пропитанной снобизмом атмосферой Австро-Венгерской империи, так что громкие имена и титулы не оставляли его равнодушным. А к тому времени, когда он понял свою ошибку, они успе-

[87] Примечания: 87
Фешенебельный квартал в Вестминстере, Центральный Лондон.

ли стать любовниками и Эмми заинтересовала его уже сама по себе.

По крайней мере, он так думал.

Сейчас он не увидел и намека на былое ни в ее лице, ни тем более в фигуре. Восьмидесятилетние женщины не имеют фигуры. Не желая быть грубым даже в мыслях, он сразу поправился, сказав себе, что под «фигурой» в данном случае имеет в виду лишь сексапильность форм.

По ее нынешнему виду можно было заключить, что когда-то она была красива на славянский манер — с широко расставленными серо-голубыми глазами и такими острыми скулами, что о них мог порезаться неосторожный поклонник при попытке запечатлеть поцелуй. В этой связи он задался вопросом: а какой бы он увидел Малки, будь она сейчас жива и встреться они вот так же, после пятидесятилетнего перерыва? Сохраняла ли Малки с годами свою красоту не только в его глазах, но и в глазах окружающих, или красота ее казалась неувядающей только ему одному, потому что он каждый день смотрел на нее с прежней любовью в сердце? А если последнее верно, не делало ли это красоту Малки всего лишь иллюзией?

О каком-либо флирте с Эмми Оппенштейн

сейчас не могло быть и речи. Он понял это, едва ее увидев. Собственно, он и не имел намерения с ней флиртовать, но если бы имел, то был бы разочарован. Таким образом, отсутствие намерения позволило ему избежать разочарования, а вот если бы такое намерение у него было… Но довольно об этом.

Нельзя сказать, что она плохо сохранилась. Напротив, она выглядела прекрасно для своего возраста: подтянутая, элегантная, в стильном костюме из ворсистой ткани — Малки научила его узнавать Шанель — и даже на высоких каблуках. Да, женщина ее возраста не могла бы выглядеть лучше. Но — *ее возраста…* Либор не искал замену Малки, но если бы он ее искал, то данная женщина была слишком — увы, слишком — стара для этого.

От него не ускользнула жестокая абсурдность подобных рассуждений. Тщедушный лысый старикан, чьи брюки не всегда достают до ботинок, чьи галстуки безнадежно поблекли, пролежав пятьдесят лет в ящике комода, чье тело с головы до ног покрыто печеночными пятнами, — кто он такой, чтобы считать какую бы то ни было женщину слишком старой для себя? Ко всему прочему, пока он с годами усыхал и съеживал-

ся, она, похоже, прибавляла в росте. Во всяком случае, он не мог припомнить, чтобы когда-то имел любовную связь с такой высокой женщиной. Он видел, что она столь же внимательно разглядывает его и наверняка приходит к столь же неутешительным выводам.

Все это промелькнуло в голове Либора за те мгновения, когда они приветственно пожимали руки.

Из разговора выяснилось, что она была — либо успела побывать — школьной директрисой, мировым судьей, председателем крупного еврейского благотворительного общества, матерью пятерых детей и психотерапевтом, специализирующимся на утешении скорбящих. Либор отметил, что работу психотерапевта она упомянула последней. Не потому ли, что она знала о Малки и ее кончине? Быть может, она хотела утешить его в скорби?

— Ты, наверное, удивляешься… — начала она.

— Я действительно удивляюсь, но еще я восхищаюсь, — сказал Либор. — Ты выглядишь превосходно.

Она улыбнулась:

— Жизнь была ко мне добра, как и к тебе, судя по твоему письму.

Она дотронулась до его руки. Ладонь у нее была твердая и жесткая, не в пример его дряблой коже. Ногти ее блестели, покрытые свежим лаком. Он заметил три обручальных кольца, — впрочем, одно могло быть материнским, а второе бабушкиным. А могли быть и ее собственными, все три.

Он ощутил прилив мужской гордости оттого, что некогда обладал такой великолепной женщиной. Как жаль, что он не может вспомнить ее в постели. Время и Малки — или одна Малки без участия времени — стерли из его памяти все эротические подробности той связи.

А может, он с ней и не спал? Либор все чаще замечал, что теряет связь со своим прошлым, забывая места, которые посещал, людей, которых знал, мысли, которые когда-то казались ему очень важными. Неужели он так же забудет и Малки? Неужели из его памяти исчезнут все связанные с ней эротические — «элотишреские» — подробности, как будто ничего этого и не было?

Он рассказал Эмми о Малки и о том, как он надеялся прожить с ней вместе еще хоть немного дольше.

— Мне очень жаль, — сказала она по окончании его рассказа. — Я кое-что об этом слышала.

— Выпьем за Малки, — предложил он. — Ты не

можешь помянуть ее, поскольку ты ее не знала, но ты можешь выпить за *мою* память о ней.

— За твою память о ней, — сказала Эмми, поднимая бокал.

— А что твой муж? — спросил он.

Она опустила глаза:

— С ним то же самое.

— Тогда я пью за тебя и твою память о нем, — сказал Либор.

Так они сидели и потягивали шампанское, поминая своих близких, а дамы из Университетского клуба (иные из них на вид старше Малки ко времени ее смерти) рассеянно дрейфовали мимо или взбирались по лестнице в спальные комнаты для послеобеденного отдыха.

«А что, недурное местечко для ухода в мир иной, если ты одинокая старуха, — подумал Либор. — Или одинокий старик».

— Я польщен, что ты знала о моей колонке, пусть даже ты и не заметила, что я прикрыл ее уже сто лет назад.

— За всем не уследишь, — сказала она, ничуть не смущенная.

Либор попытался вспомнить, видел ли он хоть раз ее смущение. Смущалась ли она, когда он впервые ее раздевал (если он вообще ее разде-

вал)? Сейчас при взгляде на нее представлялось более вероятным, что это она раздевала его.

— Я обратилась к тебе вот по какой причине, — сказала она, — сейчас я разыскиваю всех старых друзей, чьи голоса имеют публичный вес.

Либор сразу же отверг предположение о публичной весомости своего голоса, но она лишь нетерпеливо тряхнула головой и подвинулась на стуле ближе к нему — очень грациозным движением. Волосы у нее были седые, но седина не выглядела старческой; казалось, она выбрала этот цвет по своему вкусу.

— Зачем это тебе? — спросил он, узнавая хватку общественной деятельницы, наловчившейся аккумулировать голоса и средства мужчин на поддержку разных благотворительных акций.

И она рассказала ему — без слез и фальшивых сантиментов — о своем двадцатидвухлетнем внуке, который получил удар ножом в лицо и ослеп в результате нападения алжирца, кричавшего при этом «Аллах велик!» по-арабски и «Смерть евреям!» по-английски.

— Ужасно, просто ужасно, — сказал Либор. — Это случилось в Алжире?

— Это случилось здесь, Либор.

— В Лондоне?

— Да, в Лондоне.

Он не знал, о чем спросить дальше. Был ли арестован алжирец? Дал ли он какое-то объяснение своим действиям? Знал ли он, что молодой человек — еврей? Считается ли район, где это произошло, криминально опасным?

Что толку от вопросов? Либору везло в любви, но от политики он никогда не ждал ничего хорошего. Снова нападают на евреев. Рано или поздно это может обернуться новым фашизмом, нацизмом, сталинизмом. Такие вещи неискоренимы и неподвластны времени. Они таятся, ждут своего часа в куче всякого хлама, именуемой человеческим сердцем.

В сущности, дело даже не в этом алжирце. Он просто выполнил то, на что его нацелила история. «Аллах велик… убей всех евреев». К нему и претензии-то предъявлять без толку — если только это не сугубо личное, если ослепленный парень не приходится вам сыном или внуком.

— Я не могу найти слов, которые не показались бы банальными, — признался он. — Это ужасно.

— Либор… — Она снова тронула его за руку. — Будет еще ужаснее, если об этом молчать. И люди твоей профессии должны высказаться первыми.

Он чуть не рассмеялся:

— Моей профессии? Люди *моей* профессии берут интервью у кинозвезд. Впрочем, я и этим уже очень давно не занимаюсь.

— Ты сейчас не пишешь?

— Ни слова за последние годы, исключая одно стихотворное посвящение Малки.

— Но у тебя сохранились связи в журналистике, в киноиндустрии?

«А при чем тут кино? — подумал он. — Уж не хочет ли она найти кого-то, кто снимет фильм про нападение на ее внука?»

Как далее выяснилось, Либор с его связями был нужен, чтобы разобраться с одним кинорежиссером, о котором он, конечно, слышал, но которого не знал лично. Режиссер этот был не из голливудской тусовки и вообще дистанцировался от шоу-бизнеса. Его последние заявления наделали много шума, Либор наверняка об этом слышал.

Но оказалось, что он не слышал. Его давно уже не интересовали сплетни.

— Это не сплетни, — сказала она. — Он заявил, что понимает, почему кто-то захотел ослепить моего внука.

— Потому что кто-то свихнулся?

— Нет. Это из-за Израиля. Из-за Газы. Он сказал, что понимает, почему люди ненавидят евреев и

хотят их убить.

В первый раз с начала беседы ее рука задрожала.

— Он сопоставляет причины и следствия, это естественно, — сказал Либор.

— Причины и следствия! И в чем, по-твоему, причина фразы «Евреи — это подлые убийцы, которые заслуживают смерти» — в евреях или в человеке, ее сказавшем? Следствие известно, но в чем причина, Либор?

— Эмми, пожалуйста, не требуй от меня логических рассуждений.

— Послушай меня, Либор. — Серо-голубые глаза смотрели на него в упор. — Всему на свете есть своя причина, как известно. Но этот человек сказал, что он *понимает.* И я хочу знать, что он имел в виду. Может, он просто понимает, как люди под влиянием обстоятельств могут совершать ужасные, отвратительные вещи? А может, он оправдывает ослепление моего внука событиями в Газе? Или Газой теперь можно оправдывать любые преступления против евреев? Это не поиск причин, Либор, это рукоплескание следствиям. «Я *понимаю,* почему люди сегодня ненавидят евреев», — сказал этот деятель культуры. Значит, он *готов понять* любые действия, вызванные

этой ненавистью. Следуя той же логике, *можно понять* немцев, устроивших холокост, — они ведь питали отвращение к евреям. Более того, холокост теперь *можно понять* как «превентивное возмездие» евреям за то, что будет много лет спустя твориться в Газе. Где же конец этому *пониманию?*

Либор знал, где этому конец. Там же, где и всегда. Он покачал головой, как будто возражая собственным мрачным мыслям.

— Вот почему я обратилась к тебе, — продолжила Эмми Оппенштейн. — Я обращаюсь ко всем знакомым мне людям твоей профессии с просьбой открыто заклеймить этого человека, который, как и вы, имеет дело с воображением, но при этом выходит за все рамки допустимого.

— Воображение нельзя загнать в какие-то рамки, Эмми.

— Но ведь можно потребовать, чтобы оно было честным и справедливым.

— Нет, Эмми, нельзя. Справедливость и воображение никак не связаны между собой. Справедливостью ведает суд, а это уже из другой оперы.

— Я говорю не о такой справедливости, и ты это знаешь. Разве воображение дано нам не для

того, чтобы увидеть мир глазами людей, которые думают иначе, чем мы?

— А разве это не то же самое *понимание,* которое ты не можешь простить тому режиссеру?

— Нет, Либор. Его понимание — это всего лишь выражение политической лояльности. Он понимает это так, как ему внушают политики. Он просто соглашается — и все. Тьфу! — Она щелкнула пальцами, характерный жест из времен ее молодости. — Это значит, что понимает он только себя самого и свою склонность к ненависти.

— Ну, себя самого — это уже кое-что.

— Это ничто! Даже меньше, чем ничто, если попытаться как-то объяснить эту склонность. Многие люди ненавидят евреев просто потому, что они их ненавидят. Для этого им не нужны никакие предлоги и стимулы. А для тех, кому нужен стимул, таковым стало отнюдь не насилие в Газе. Этим стимулом стали пристрастные, подстрекательские выступления репортеров и комментаторов. Этот стимул — слово, а не дело.

Либор чувствовал, что она обвиняет и его. Не только его профессию, но и его самого.

— Личное мнение всегда субъективно, Эмми. Ты думаешь, что смогла бы рассказать об этих событиях менее пристрастно, чем они?

— Да, смогла бы, — заявила она. — Я вижу преступников с обеих сторон. Я вижу два народа, которые предъявляют друг другу претензии, порой справедливые, порой нет. И я не кладу свои пристрастия ни на одну чашу весов.

Две дамы уселись за соседний столик напротив Либора, обе примерно двумя десятилетиями моложе Эмми, по его оценке (теперь он оперировал десятилетиями, которые стали для него минимальной единицей измерения возраста). Женщины вежливо улыбнулись. Он улыбнулся в ответ. Их начальственные манеры, а также четко выверенная длина их юбок наводили на мысль, что это встретились два ректора, дабы обсудить проблемы своих университетов. Эх, будь ему позволено, он бы поселился здесь в качестве живого талисмана, пообещав не быть назойливым, не включать радио поздно вечером и не разговаривать на еврейские темы. Пил бы чай с печеньем в компании женщин-профессоров и женщин-ректоров. Обсуждал бы пагубное снижение стандартов письменного и разговорного английского. По крайней мере, они должны знать, кто такая Джейн Рассел.

Хотя нет. Эти как раз не знают. Да и в любом случае они — не Малки.

О чем бишь мы? Ах да: преступники со всех сторон. И еще слово. Что она сказала про слово? Это стимул для ненависти. Сколько он помнил, ни одно из его слов таким стимулом не было. Для любви — возможно. Но не для ненависти. Он был слишком несерьезен для этого.

— Видишь ли, — напомнил он Эмми, как будто стыдясь того, чем занимался всю жизнь, — есть большая разница между описанием телесных достоинств Аниты Экберг и рассуждениями о правдах и неправдах сионизма.

Однако она не была настроена обсуждать тонкости репортерской работы.

— Я скажу тебе, что такое большая разница, Либор. Это разница между *пониманием* — ха! — и оправданием. Только Бог может прощать и оправдывать, ты это знаешь.

Он хотел сказать, что очень ей сочувствует, но не может помочь. Потому что он сейчас не в том положении, чтобы оказывать помощь, и еще потому, что все это не имеет смысла. Не имеет и никогда не имело смысла. Но ему не удалось найти подходящие слова, чтобы сказать это Эмми Оппенштейн.

«Ведь это еще не Хрустальная ночь», — подумал он.

Но сказать это вслух он не смог.

У него была своя Хрустальная ночь, когда умирала Малки, — и не похоже, что Бог в ту ночь обратил на них обоих всепрощающий взор.

Но и об этом он говорить не стал.

— Хорошо, я свяжусь со знакомыми журналистами, — сказал он в конце концов. Это было все, что он мог для нее сделать.

Но она знала, что он не сделает и этого.

Со своей стороны — не взамен гипотетической услуги, а просто по старой дружбе — она дала ему телефон авторитетного психотерапевта. Он заявил, что не нуждается в психотерапевте. Она вытянула руки и приложила ладони к его щекам. Этот жест означал, что в психотерапевтах нуждаются все. И пусть он не думает об этом как о терапии. Лучше назвать это беседой.

— Вроде той, что у нас происходит сейчас? — спросил он.

— Та беседа немного иного характера. К сожалению, я не могу сама провести с тобой сеанс.

Он так и не решил, радоваться ему или огорчаться оттого, что она не сможет заняться им лично. Чем стал бы такой сеанс: попыткой отыскать в его сознании уголок, где притаилась надежда? Но ему это было не нужно.

Глава 7

1

Они договорились так: сначала Треслав съездит в отпуск вместе с сыновьями, а там будет видно — орел или решка.

Орел: он возобновит свое прежнее существование, выбросит из головы всякую ерунду, продолжит на заказ корчить из себя Брэда Питта, а по вечерам — не слишком поздно — будет возвращаться в свою псевдохэмпстедскую холостяцкую обитель.

Решка: он переселится к Хепзибе.

— Меня как-то не греет перспектива готовить квартиру под твой приезд, чтобы всего через пару недель узнать, что ты передумал, — предупредила она. — Я, конечно, не имею в виду «связь навеки», но если уж ты собрался нарушить мою привычную жизнь, то нарушай ее потому, что ты действительно этого хочешь, а не просто потому, что ты остался не у дел и ищешь, куда бы приткнуться.

Перед тем он рассказал ей об ограблении, но ее эта история не впечатлила.

— Вот как раз это я имела в виду, говоря, что ты не у дел. Ты бродишь по улицам как неприкаянный, и тебя грабят, что может случиться с каждым, а ты объявляешь этот грабеж чуть ли не знамением свыше. Тебе надо чем-то занять свой ум — а также сердце, судя по всему.

— Чувствуется, что ты поговорила с Либором.

— Либор тут ни при чем. Я сама это заметила, как только взглянула на тебя в первый раз. Ты был так напряжен, словно ждал, что вот-вот обрушится крыша.

— И она обрушилась, — сказал он с преувеличенным пылом и попытался ее поцеловать, но получил тычок в грудь.

— Таки я уже и крыша!

Он чувствовал, что сердце его готово разорваться от любви. «Таки я уже и крыша!» Как это по-еврейски! Бедная Тайлер никогда не смогла бы сделать с языком то, что у Хепзибы получалось легко и естественно.

Выходит, вот в чем сущность истинной жидовки? К черту темную таинственную влажность! Жидовка — это женщина, способная исказить на свой манер любой знак препинания. Что это было: преувеличение или преуменьшение? Насмешка над собой или над ним? Наконец он

решил, что она таким образом просто задает тон. Финклеры любят задавать тон. Как и в музыке — даже не будучи ее авторами, они брали свое при исполнении. Они могли открыть в ней такие глубины, о каких и не подозревали сами композиторы, в том числе великие, — ведь ни Верди, ни Пуччини не были финклерами. Они продемонстрировали, что можно сделать со звуком, по-новому интерпретируя творения гениев.

«Таки я уже и крыша!» Боже, она была великолепна!

Со своей стороны он вполне созрел для брачного предложения. Нужные слова давно вертелись в голове: «Будь моей женой. Я сделаю все, что потребуется, в том числе обрезание. Я научусь всему, что потребуется. Только будь моей и продолжай выдавать свои финклерские шуточки».

Она была исполнением давнего пророчества. А то, что ее внешность никак не соответствовала его прежним представлениям о суженой, лишь доказывало могущественность стоящих за этим сил, которые не считались с его личными пристрастиями и даже с вещими снами, ибо эта женщина уж точно не была той девчонкой, что завязывала шнурки в его сновидениях. Да Хепзиба и не смогла бы так глубоко наклониться;

шнурки она завязывала, ставя ногу на стул. Его никогда не привлекал этот тип женщин, но она явилась независимо от его желаний. Следовательно, она была даром судьбы.

Из них двоих сомнения испытывала только Хепзиба.

— Понимаешь, — говорила она, — в отличие от тебя я не ждала падения крыши.

Он попытался сымитировать ее шутку:

— Таки я и не крыша!

Она не среагировала.

Он повторил эту фразу, усилив ее разными средствами экспрессии: движением плеч, добавлением «ну», «ведь» и второго восклицательного знака:

— Ну-таки я ведь и не крыша!!

И опять она не улыбнулась. По ее виду было непонятно, раздражена она или нет его попыткой пошутить. Что, если финклерские шутки не срабатывают с отрицательными частицами? Ему эта фраза показалась достаточно смешной. А может, финклеры считают недопустимой имитацию финклерских шуток нефинклерами?

Она дважды побывала в браке и не искала третьего замужества. Сказать по правде, она вообще ничего не ждала от жизни.

Треслав не поверил ее словам. Как можно вообще ничего не ждать? Без ожидания нет и самой жизни.

А менее всего она была уверена в его уверенности.

— Я уверен в своих чувствах, — твердил Треслав.

— Ты провел со мной всего одну ночь и уже так уверен?

— Дело не в сексе.

— Дело *будет* в этом, когда тебе захочется переспать с другой женщиной.

Он вспомнил о Кимберли и порадовался, что переспал с ней до знакомства с Хепзибой. Теперь все становилось серьезнее, и не только в постельных делах.

Он послушался ее совета, съездил со своими сыновьями-геями в Лигурию и вернулся оттуда готовый к новой жизни.

— Моя *фейгеле,* — сказал он, заключая ее в объятия.

Она расхохоталась.

— Это я-то фейгеле? Ты хоть знаешь, что означает это слово?

— Конечно знаю, я купил словарь идиша. Это значит «птичка». Ну, еще так называют гомосек-

суалистов, но их я не имею в виду, обращаясь к тебе.

— Лучше зови меня как-нибудь по-другому.

Он был готов к такому повороту. В Портофино, пока его сыновья плескались в бассейне, он исподтишка штудировал словарь идиша, поставив себе задачу: выучить сто ласкательных слов.

— Моя *нешомелех,* — сказал он. — Это значит «душечка». Образовано от *нешоме,* что значит «душа».

— Спасибо за информацию. Уж не намерен ли ты учить меня еврейскому?

— Я постараюсь, если ты этого хочешь, *бубелех.*[88]

Ее квартира выходила окнами на «Лордс»,[89] и прямо с лоджии можно было смотреть крикетные матчи. Треслава это слегка покоробило — он переехал сюда не для того, чтобы смотреть крикет. А если уж говорить о видах с лоджии, то он предпочел бы вид на Стену Плача.

Оставалась еще одна проблема, которую он хотел обсудить без отлагательств. Как выясни-

---

[88] Примечания: 88

Bubeleh *(идиш)* — дорогая.

[89] Примечания: 89

Главный лондонский стадион для крикета, названный в честь его основателя Томаса Лорда (1755–1832).

лось, Хепзиба одно время работала на Би-би-си, правда на телевидении, а не на радио, что было все же лучше. Хуже было то, что она до сих пор поддерживала отношения с некоторыми из бывших коллег.

— Я буду уходить на прогулку всякий раз, когда они явятся в гости, — сказал он.

— Ты останешься здесь, — в ответ заявила она. — Ты ведь хочешь сделаться евреем, верно? Ну так знай, что у еврейских мужчин не принято гулять в одиночку, без своих жен или постоянных подруг, если только они не затевают интрижку на стороне. Еврейским мужчинам некуда больше податься, кроме как к любовнице. В пабы они не ходят, в театр их силком не затащишь, и они не могут есть в одиночестве. Еврейским мужчинам нужно с кем-нибудь разговаривать во время еды. Их рот не может выполнять менее двух работ одновременно. Усваивай эти вещи. Тебе понравятся мои друзья, они очень славные.

— *Ништогедахт!*[90] — воскликнул Треслав.

Хорошей новостью оказалось то, что она покинула Би-би-си ради создания Музея англо-еврейской культуры («наши достижения и успехи,

---

[90] Примечания: 90
Искаж. от: Nit gidacht gevom *(идиш)* — только не это!

а не наши страдания и обиды») на той самой Эбби-роуд, где «Битлз» записали некоторые из своих лучших вещей и где толпы поклонников по сей день резвятся на знаменитой пешеходной зебре с обложки их альбома. А теперь битломаны, отдав дань своим кумирам, смогут тут же ознакомиться с историей англо-еврейской культуры.

В этом соседстве присутствовала определенная логика. Известно, что менеджером «Битлз» в самом начале их карьеры был еврей Брайан Эпштейн. Поклонники знали, как много он сделал для раскрутки «Битлов», а причиной его самоубийства называли безответную любовь к Джону Леннону — увы, нееврею. Так что в «битловской» истории присутствовал и трагический еврейский элемент. Пусть это соображение было и не решающим, но оно сыграло свою роль при выборе Эбби-роуд местом для музея.

Разумеется, история Брайана Эпштейна не будет обойдена вниманием в музейной экспозиции. Целый зал отводился евреям, внесшим вклад в британскую индустрию развлечений. Фрэнки Воан, Альма Коган, Лью Грейд, Майк и Берни Уинтерсы, Джоан Коллинз (только по отцовской линии, но половина — это лучше, чем ничего) и даже Эми Уайнхаус — все там будут.

Хепзибу привлек к этому проекту эксцентричный англоеврейский филантроп, музыкальный продюсер по роду занятий. Музей был его любимым детищем, а Хепзибу он счел самым подходящим человеком на эту должность. Единственным реально подходящим человеком. И Хепзиба с энтузиазмом взялась за дело.

— Удивительно, что он выбрал меня, если учесть, как Би-би-си комментирует ближневосточную ситуацию, — сказала она Треславу.

— Он знает, что ты не похожа на остальных.

— В каком смысле не похожа?

— В смысле ближневосточной предвзятости.

— Ты так полагаешь?

— Насчет тебя? Разумеется.

— Я про остальных.

— Про их предвзятое отношение к тому, что твой дядя Либор именует «Изр-р-раи»? Ну, это же очевидно.

— И ты всегда так думал?

Она не хотела, чтобы он менял свои воззрения только ради нее.

— Нет, — сказал он, — прежде я об этом не думал совсем. Но теперь другое дело. Я хорошо помню, какими антисемитами были все на Би-би-си, особенно тамошние евреи.

На секунду у него мелькнула мысль: а что, если его карьера на Би-би-си не заладилась как раз по причине этого антисемитизма?

— В таком случае твои еврейские знакомые в конторе сильно отличаются от тех, кого знаю я, — сказала она.

— Мои еврейские знакомые открещивались от всего еврейского. Потому они и шли на Би-би-си, где такие кульбиты в порядке вещей. Эффективнее Би-би-си в этом плане только крещение в католической церкви.

— Чушь собачья! — возмутилась она. — У меня такого и в мыслях не было, когда я туда устраивалась.

— Потому что ты — исключение, как я уже говорил. Большинство знакомых мне корпоративных евреек из кожи вон лезли, чтобы поскорее избавиться от своего еврейства. Они старались одеваться как великосветские леди, имитировали аристократическое произношение, демонстративно читали «Гардиан»[91] и шарахались от меня как от чумы, если я упоминал в разговоре «Изр-р-раи». Это смахивало на страх перед гестаповской слежкой. А я-то всего лишь

[91] Примечания: 91

Для многих публикаций в этой британской газете характерно критическое отношение к политике Израиля.

пытался пригласить их на свидание.

— И ты не мог обойтись без слова «Изр-р-раи», — кстати, я предпочла бы впредь не слышать его в таком варианте, — если твоей целью было всего лишь свидание?

— Надо же было о чем-то болтать.

— Они могли воспринять твою болтовню как намек на то, что ты прежде всего видишь в них евреек.

— А что в этом плохого?

— Евреи не любят, когда в них видят только евреев и ничего больше, Джулиан.

— Они должны этим гордиться.

— Не тебе о том судить. Лично я с евреями-антисемитами на Би-би-си не сталкивалась, а если бы столкнулась, нашла бы, что сказать. Я не особо ношусь со своим еврейством, но глумления над ним терпеть не стану.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Но это не значит, что я нетерпима к тем евреям, которые просто игнорируют свое еврейство. Я полагаю, это их личное дело. Усвоил?

— Усвоил.

Она поцеловала его. Усваивай.

Чуть позже он вернулся к этой теме.

— Думаю, тебе стоит расспросить Либора, —

сказал он. — Его впечатления от работы во Всемирной службе во многом схожи с моими.

— Ну, с Либором все ясно, это старый чешский реакционер.

На самом деле она еще ранее расспросила Либора, но не о еврейском антисемитизме на Би-би-си, а о Треславе. Можно ли ему доверять? Что, если он пудрит ей мозги? Действительно ли он подвергся антисемитскому нападению? Смог бы Либор за него поручиться?

Ответы были: «да», «нет», «черт его знает» и «абсолютно». Либор знал Треслава с детства и был очень к нему привязан. Насколько хорошим мужем он будет…

— Я не собираюсь замуж.

…Покажет время. Но он надеется, что у них все будет хорошо. Одно лишь неладно.

Она насторожилась:

— Неладно то, что я потеряю друга.

— С какой стати ты его потеряешь? Он будет жить еще ближе к тебе, чем жил раньше. И ты всегда сможешь прийти к нам на ужин.

— Да, но он уже не будет волен являться ко мне в любое время, по первому зову. А я слишком стар, чтобы загодя назначать встречи. Мой счет пошел на дни.

— Не говори так, Либор!

Но про себя она отметила, что выглядит он неважно.

— Неважно выглядит? Да ему под девяносто, и он недавно потерял жену. Это чудо, что он все еще дышит.

Треслав повернулся в постели и взглянул на другое чудо, изменившее его жизнь. Он никогда прежде не делил ложе с женщиной таких габаритов. Некоторые из его подруг были столь эфемерны, что он по утрам не сразу мог найти их под одеялом. А иногда так и не находил. Они ускользали от него, пока он спал, — ускользали тихо и незаметно, как крысы. Другое дело Хепзиба — когда она шевелилась на своей половине, вся кровать начинала ходить ходуном, как на волнах штормовой Атлантики, и Треслав цеплялся за матрас, чтобы не свалиться за борт. Однако это не нарушало его сон. Напротив, он никогда прежде не спал так хорошо, ибо все время чувствовал, что она рядом — пусть себе ворочается на здоровье — и не намерена исчезать.

Теперь он понял, для чего судьба подсунула ему Кимберли. Она была нужна, чтобы избавить его от защищенности на бледных немочах. Кимберли стала переходным этапом к Хепзибе — к

его Джуно.

И она вовсе не была толстухой, его Джуно. Он даже не был уверен, что ей подходят определения «полная» или «пухлая». Просто она была сделана из другого материала — не такого, с которым он привык иметь дело в женщинах. Он вспомнил ту, что выходила из лигурийского бассейна в сползающих трусиках, и мокрая кожа на стройном теле местами собиралась в складки, как будто даже столь малый объем плоти был слишком велик для ее конституции. А у Хепзибы объем плоти идеально соответствовал каркасу, на котором эта плоть держалась. Физически она была в гармонии с собой. И без одежды она не выглядела рыхлой, как он того опасался, — сильное упругое тело, никаких отвисающих складок, разве что под подбородком. Вообще-то, без одежды она смотрелась лучше, чем в ней. В первый раз он со страхом ждал, что откроется по снятии всех этих бордово-фиолетовых шалей, накидок и тому подобного, но она оказалась прекрасной! Настоящая Юнона — или «Хунона», как назвала бы ее цыганская гадалка.

Особенно поразительной была белизна ее кожи. В который уже раз встреча с очередным финклером нарушала сложившиеся у него пред-

ставления об этой нации. Сэм Финклер не был маленьким и чернявым, он был большим и рыжим. Либор не был чудаковатым ученым-затворником, он был светским щеголем и собирателем сплетен. И вот теперь Хепзиба — чье имя вызывало ассоциации с танцем живота, восточным базаром и запахами арабского магазина на Оксфорд-стрит — по снятии покровов сначала напомнила ему польку или украинку, а позднее, в ее объятиях, он все чаще думал о Скандинавии или Прибалтике. Она могла бы послужить моделью для фигуры на носу эстонской рыболовной шхуны, бороздящей Рижский залив в погоне за косяком сельди. Когда-то он написал курсовую работу по скандинавским сагам и только теперь понял, что это было не зря, — он уже в ту пору готовился к встрече со своей Брунгильдой. А дружба с Финклером и Либором подготовила его к тому, что Брунгильда окажется еврейкой.

Никаких случайностей — все в его жизни имело смысл.

Это напоминало обращение в другую веру. Каждый раз, просыпаясь и ощущая рядом мерное колыхание ее тела, он испытывал беспредельную радость, как будто разум его чудесным образом обрел гармонию со вселенной. Он любил не толь-

ко Хепзибу, он любил весь мир.

Видит Бог, ради этого стоило становиться евреем!

По ее просьбе он оставил работу двойника. Она считала унизительным представляться кем-то другим. Пришла пора быть самим собой.

Благодаря родительской бережливости и двум удачным разводам она не испытывала недостатка в деньгах. По крайней мере, ее средств хватало на двоих, и он мог без спешки подыскивать себе новую работу. Почему бы ему снова не заняться организацией фестивалей, предложила Хепзиба. Нынче каждый городок, каждое селение в Англии норовит обзавестись собственным фестивалем; человек с его знаниями и опытом будет нарасхват. Быть может, он сумеет устроить фестиваль даже на Эбби-роуд, неподалеку от студии звукозаписи и от нового Музея англо-еврейской культуры. Сент-Джонс-Вудский[92] фестиваль искусств в битловско-еврейском соседстве. В свою очередь Треслав предложил создать Общественный центр по разоблачению преступных мерзостей Би-би-си. Плохая идея, сказала Хепзиба.

---

[92] Примечания: 92

Сент-Джонс-Вуд — исторический район Лондона к северу от Риджентс-парка, популярный у людей из мира искусства и моды. Знаменитая студия «Эбби-роуд» является одной из его достопримечательностей.

Ну а ему не понравилась идея с фестивалем. Сразу всплыла в памяти женщина, не снимавшая сандалий во время любовных утех. Нет, с искусством было покончено.

Он сказал, что хочет выучиться на раввина.

— С этим будут большие трудности, — сказала Хепзиба.

— Ну хотя бы раввином-послушником, без принятия сана.

Она усомнилась, что в иудаизме такое возможно в отличие от англиканства. А если либеральный иудаизм и допускал что-то в этом роде, то все равно критерии отбора были чересчур строгими для Треслава. Правда, есть еще какой-то реконструктивистский иудаизм, но это в Америке, а она не желает перебираться за океан.

В конце концов, она просто не желает, чтобы он был раввином, — и точка.

— Так тебе будет проще порвать с еврейством, когда ты этого захочешь, — сказала она.

— Надеюсь, ты выбрала меня не для того, чтобы я с ним порвал.

— Нет, но у меня уже было два еврейских мужа, и я предпочла бы, чтобы мой третий мужчина — больше никаких официальных браков — для разнообразия евреем не был. То есть не был им

в общепринятом понимании… — поспешила добавить она.

И тут ее посетила светлая мысль. Почему бы Треславу не помочь ей в создании музея? Она не может предложить ему конкретную должность до того, как обсудит этот вопрос со своим шефом-филантропом и с консультативным советом, а пока что будет рада его помощи в любом качестве.

Треслав пришел в восторг. Он заявил, что готов взяться за дело немедленно, не ожидая решения совета. И сразу придумал название своей должности: помощник куратора Музея англо-еврейской культуры.

Это было именно то, чего он ждал всю жизнь.

2

Чего уж точно не ожидал Сэм Финклер, так это взбучки от СТЫДящегося еврейского комика. И менее всего — что этим комиком окажется Айво Коэн, специалист по смешным падениям.

В последнее время Финклер все чаще по собственной инициативе использовал сокращение СТЫД, говоря об их группе в газетных интервью или в ток-шоу. По сему поводу Айво Коэн заявил протест.

— Это больше смахивает на позорное клеймо, а не на символ движения, — сказал он. — Поди разберись, то ли мы сами стыдимся, то ли это нас нужно стыдиться.

— Где СТЫД, там и срам, — подхватил Мертон Кугле. — Так недолго и осрамиться по-крупному.

— Никому и в голову такое не придет, если только ты сам не станешь срамить нас на каждом углу, — сказал Финклер.

Нереализованный бойкот до сих пор терзал душу Кугле, который переключился на хищения израильских продуктов из своего супермаркета, но недавно был пойман с поличным.

— Мы хотим одного, — не унимался Кугле, — чтобы ты не изменял наше название без предварительной консультации с нами. Это движение — не твоя частная лавочка.

Мертон Кугле был для Финклера как бельмо на глазу — этот мертволицый блоггер, которого никто не читал; этот активист, который ничего не активировал; это жалкое ничтожество (*nebbish, nishtikeit, nebechel* — здесь даже Финклер невольно переходил на евреизмы); это *gornisht,*[93] примыкавшее к любой существующей и несуще-

---

[93] Примечания: 93
Пустое место *(идиш).*

ствующей антисионистской группе (и не важно, что некоторые из них спонсировались исламистами, считавшими еврея Кугле проводником всемирного заговора, а другие отражали мнение еврейских ортодоксов, с которыми Кугле при иных обстоятельствах не поделился бы и сухой горбушкой); этот всегда готовый подписант для любой бумажки, лишь бы в тексте присутствовало слово «антисионист».

«Я являюсь евреем в силу того, что я не являюсь сионистом», — написал он недавно в своем блоге.

«Интересно, — подумал Финклер, — как можно быть *кем-то* в силу того, что ты *не кто-то?* Являюсь ли я евреем в силу того, что не являюсь индейцем из племени черноногих?»

Оглядывая собрание, Финклер наткнулся на часто моргающие глазки с красными веками, принадлежавшие Леони Липман, психосоциологу и социопсихологу. Финклер знал ее еще по Оксфорду, когда она занималась теорией литературы и носила замечательно короткие юбки. Еще она в ту пору носила гриву огненно-рыжих волос, куда более ярких, чем его апельсиновая Шевелюра, и эти волосы окутывали ее всю, когда она садилась в кресле, поджав голые ноги к

подбородку и напоминая кошку, не прикрытую ничем, кроме собственной шерсти. Теперь ее волосы были коротко подстрижены и утратили огненный блеск, а на смену мини-юбкам пришли обтягивающие штаны разных фасонов — в данном случае это были рейтузы кришнаитски-оранжевого цвета. Финклер этого не понимал: что она хотела показать или доказать, корча из себя малолетку-переростка? Из-за нелепого вида Леони Липман он не мог с ней нормально общаться, а когда она открывала рот, ему хотелось отвернуться, как от дурного запаха.

— Ох, только не начинайте этого снова! — попросила она.

Финклер отворотил нос.

На каждом собрании с участием Леони Липман выяснялось, что она либо только что вернулась с оккупированных территорий, либо вот-вот должна была туда отправиться. Там у нее имелась масса друзей всех конфессий и убеждений, включая таких же, как она, СТЫДящихся евреев. Леони обеспечивала живую связь между их группой и непосредственными жертвами конфликта. В зрачках ее усталых покрасневших глаз они могли видеть тамошние страдания и боль, как можно видеть преломленное отражение в аквариуме

для золотых рыбок. Это было сродни просмотру фильма в трехмерном формате.

— Что вы имеете в виду, Леони? — с нарочитой, язвительной вежливостью поинтересовался Лонни Эйзенбах.

Лонни был ведущим детской телепередачи и автором школьных учебников по географии, в которых он мастерски обходил упоминанием Израиль. Лицом он смахивал на голодную лошадь, а его желтые лошадиные зубы вызывали все возрастающую тревогу у редакторов программы. Он пугал своим видом маленьких детей.

Лонни и Леони, оба завзятые спорщики, когда-то состояли в любовной связи, и тлеющие угли их взаимных обид вспыхивали с новой силой на каждом собрании группы.

— У меня и на той и на другой стороне есть друзья, которых отчаяние уже поставило на грань суицида или убийства своих ближних, — сказала Леони (в последних словах Финклеру почудился нехороший намек), — а мы тут знай себе обсуждаем, кто мы есть и как нам зваться.

— Извините, но это не я вновь поднял вопрос о названии, — сказал Кугле. — Я демократ и готов подчиниться мнению большинства. Это Сэм своим произвольным изменением…

— Да мне плевать, назовитесь вы хоть Всадниками Сраного Апокалипсиса! — крикнула Леони.

— А что, очень милое название, — сказал Лонни. — Только к «сраным всадникам» надо добавить «сраных всадниц».

— Пошел ты в жопу! — сказала Леони.

По-прежнему воротя нос, Финклер вздохнул так глубоко, словно хотел сотрясти до основания весь Граучо-клуб. Ну почему на каждом собрании они вынуждены возвращаться к истокам? Для него была мучительной сама мысль о том, чтобы хоть в чем-то согласиться с Кугле. Если бы Кугле заявил, что ночь непременно сменится днем, Финклер стал бы молиться о ниспослании им вечной ночи.

— Лично я горжусь своим еврейским стыдом, — сказал Финклер. — Если кто-то из вас испытывает другие чувства или путает гордый символ с позорным клеймом…

Кугле издал глухой стон.

— Ты что-то хочешь добавить? — спросил его Финклер.

— Просто прочищаю горло, — буркнул Кугле.

— Ради бога! — крикнула Леони Липман.

— Ты же в Него не веришь, — напомнил ей Лонни Эйзенбах.

— Позвольте мне высказаться по сути вопроса, — подала голос Тамара Краус, самая известная личность среди СТЫДящихся академиков.

Она пользовалась авторитетом не только в научных кругах Англии и Америки, но и на Ближнем Востоке, а также всюду, где были активны антисионисты. В ее присутствии даже Финклер сбавлял тон и умерял свой апломб.

— Наша цель, насколько я понимаю, — продолжила она, — показать, что еврейство — это своеобычное и многоплановое явление, которое не обязательно предполагает защиту Израиля от всякой критики, как не предполагает оно и жизнь в постоянном страхе, словно народ наш вечно обречен быть жертвой. Недавно я имела честь сидеть в президиуме одного собрания в Тель-Авиве и слушать пламенное выступление Авитала Ави, который, подобно этому отважному израильскому философу, — кивнула она в сторону Финклера, — сказал, что сегодня мы сами фактически осуществляем холокост, парадоксальным образом продолжая традиции нацистских палачей. Да, грешно забывать своих мертвых, но вдвойне грешно взывать к их праху для оправдания сегодняшней кровавой бойни.

Финклер отметил, как выгодно отличался

ее ровный серебристый голос от истеричной, рваной речи Леони Липман. То же касалось и внешнего вида. Леони одевалась как аборигенка неведомой разгильдяйской страны — Финклер даже придумал ей название: Народная Республика Фигвамград, — в то время как Тамару запросто можно было принять за хозяйку какого-нибудь модельного агентства, настолько удачно сочетались в ней деловой стиль, женственность и безупречный вкус.

Фигурой она напоминала Финклеру его покойную жену, при этом будучи одновременно более жесткой и более хрупкой, чем Тайлер. Он заметил у нее привычку во время разговора периодически хватать рукой воздух и потом крепко сжимать кулак, словно отлавливая и подавляя в зародыше витающие вокруг посторонние мысли. А сейчас он вдруг вообразил ее пронзительно кричащей в его, Финклера, объятиях. Быть может, на него таким образом повлиял контраст между ее внешней собранностью и окружавшей ее атмосферой психического разложения. Собственно, термином «психическое разложение» она характеризовала историю современного Израиля. По ее словам, пройдя через безумную мясорубку холокоста (куда они угодили не в последнюю очередь из-за

собственного бессилия и пассивности), евреи растеряли остатки здравомыслия в ходе агрессии против палестинцев, которую они упрямо именовали самообороной. Финклер не разделял ее идею о нацистском безумии, породившем безумие сионистов, но предпочел не вступать в дискуссию, рассчитывая когда-нибудь все же увидеть, как она кричит в его объятиях.

Тамара описывала свой палестинский вояж таким тоном, словно речь шла о летнем отдыхе; казалось, еще немного, и она начнет демонстрировать им слайды и курортные фотоснимки. А между тем говорила она о встречах с представителями движения ХАМАС, в ходе которых Тамара выразила свою озабоченность проводимой ими насильственной исламизацией, включая нападения на «неподобающе одетых» женщин, разгром лавок, торгующих «западным» дамским бельем, разделение учащихся по половому признаку и прочие ущемления гражданских прав и свобод женщин. Она прямо заявила собеседникам, что все это негативно отразится на поддержке, которую могли бы получить хамасовцы со стороны симпатизирующих им групп в Европе и Америке. Зачарованный ее рассказом, Финклер мысленно видел бородатых лидеров ХАМАС трепещущими

перед лицом неотразимого и сокрушительного феминизма Тамары Краус. Кто знает, вдруг они тоже вообразили ее кричащей у них в объятиях?

— Дело плохо, — сказал он.

— Очень плохо, — согласилась она. — И хуже всего то, что сторонники сионистов могут оперировать этими фактами, разглагольствуя об экстремизме и нетерпимости ХАМАС. Хотя…

Тамара Краус набрала воздуха в легкие. Финклер сделал то же самое.

— Хотя… — подсказал он.

— Хотя на самом деле все происходящее там является прямым следствием незаконной оккупации. Если вы изолируете целый народ, лишаете его естественных связей с собратьями, загоняете его в пропасть нищеты и голода, — стоит ли после этого удивляться экстремизму как ответной реакции?

— Удивляться не стоит, — сказала Леони.

— Вот именно, — быстро продолжила Тамара, пока Леони не сказала что-нибудь еще. — Авитал, с которым я обсуждала этот вопрос, пошел дальше и предположил, что израильтяне намеренно создают нетерпимую обстановку в Газе, рассчитывая на ответный всплеск экстремизма, и тогда Запад сам обратится к ним с просьбой о новом

военном вторжении.

— Уф! — выдохнул Финклер.

— Я хорошо вас понимаю, — сказала она, встречаясь с ним взглядом.

— Как поживает Авитал? — вдруг спросил он.

Тамара Краус вся аж засветилась и так взглянула на Финклера, будто цветком одарила.

— Ему нездоровится, — сказала она. — Хотя он старается не подавать виду. Работает, не щадя себя.

— Да, это в его духе, — согласился Финклер. — А как Нава?

— Слава богу, в порядке. Она его правая рука.

— Правая ли? — улыбнулся Финклер, посылая незримый цветок в ответ.

Он понимал, как должна раздражать остальных эта демонстрация их с Тамарой принадлежности к избранному кругу, и тихо ликовал по такому случаю. Со своего места он слышал, как бешено колотится о ребра дряблое сердце Мертона Кугле.

Только крупный выигрыш в покер мог доставить Финклеру удовольствие, сравнимое с этим.

3

Либор посетил психотерапевта, которого ему рекомендовала Эмми. Этим авторитетным специалистом оказалась смуглая женщина могучего телосложения, которая запросто могла бы качать его на колене, как ребенка, или манипулировать им, как чревовещатель-кукловод марионеткой.

— Джин Норман, — представилась она, протягивая руку, достаточно длинную, чтобы загнуться ему за спину и привести в действие механизм управления куклой.

«Джин Норман — слишком простое имя для столь экзотической особы, — подумал он. — Наверное, оно должно успокоительно влиять на скорбящих. А ее настоящее имя, должно быть, Адельгонда Ремедиос Арансибия».

Он нанес этот визит в порядке одолжения Эмми. Только ради себя самого он не стал бы этого делать. Да и на какое утешение он мог рассчитывать? Какие светлые перспективы могли перед ним открыться?

Он досадовал на себя оттого, что ничем не помог Эмми. Из всех его нынешних знакомых самой видной общественной фигурой был Финклер, но не стоило ожидать, что Финклер публично

выступит против режиссера, который так хорошо понимал, почему люди хотят убивать евреев. Напротив, Либор слышал, что Финклер и этот режиссер были закадычными друзьями.

Так что поход к психотерапевту был единственным способом хоть как-то уважить Эмми.

Итак, Джин Норман (настоящее имя: Аделаида Инесса Ульяна Мирошниченко).

Она проживала в районе Мейда-Вейл, неподалеку от дома Треслава, называвшего этот район Хэмпстедом. Точнее, неподалеку от *прежнего* дома Треслава, ныне обосновавшегося у его правнучатой племянницы. Либор предпочел бы встретиться с психотерапевтом у себя, но она не проводила сеансы на выезде, так что их встреча произошла у нее в гостиной.

Как выяснилось, она уже оставила практику, но иногда делает исключения… Либор ожидал, что она скажет «для своего удовольствия» или «чтобы поддержать форму», но она оставила фразу в подвешенном состоянии, как забытую марионетку на ниточке.

Дом был большим, но комната, в которую они проследовали из гостиной, оказалась на удивление тесной, как в кукольном домике. На стенах висели гравюры с сельскими пейзажами. Пастухи

и пастушки. Каминную полку занимала коллекция фарфоровых наперстков. Для этой комнаты хозяйка была слишком велика; ей пришлось сложиться чуть не втрое, чтобы втиснуться в кресло. Из-за ее роста Либор чувствовал себя неловко — даже когда они сели, он был вынужден смотреть на нее снизу вверх.

У нее был крупный нос с горбинкой и широкими темными провалами ноздрей, в которые поневоле заглядывал Либор, когда пытался смотреть ей в лицо. При всей чужестранности ее облика, что-то в ней напоминало о Женском институте,[94] — быть может, налет скромного целомудренного обаяния, которое так красит провинциальных женщин, когда они обнажаются, чтобы позировать в фотосессии для благотворительного календаря.

«У нее должны быть длинные отвислые груди и глубокая впадина пупка», — вдруг подумал Либор и сам себе удивился. Не исключено, что ее метод утешительной терапии предусматривал внушение пациенту мыслей о голом теле терапевта, хотя ни ее движения, ни наряд — длинное закрытое платье — подобные мысли вроде бы не

---

[94] Примечания: 94

Women's Institute — британская общественная организация, в которой состоят преимущественно сельские жительницы.

провоцировали.

Они немного поговорили об Эмми, которая заранее рассказала ей о Либоре. Она вспомнила некоторые его статьи, подтвердив это парой весьма точных ссылок. Она также помнила некоторые фотоснимки: Либор смеется вместе с Гретой Гарбо, Либор прилег на кровать рядом с Джейн Расселл (причем из них двоих она выглядит более мужественной), Либор танцует щека к щеке с Мерилин Монро — этакая пародия на влюбленную парочку, учитывая разницу в весовых категориях.

— Эх, видели бы вы меня танцующим с женой! — сказал Либор.

Он признался, что этот визит для него — просто дань уважения ей и Эмми. Сейчас ему только и осталось, что скорбеть да отдавать дань уважения.

По счастью, обошлось без банальных сочувственных фраз про «ушедших любимых»; в таких фразах Либора особенно раздражали «любимые» — для него не было никаких абстрактных «любимых», а была только Малки, конкретная любимая Малки.

Также не было участливых взглядов и жестов, и за это он тоже был ей благодарен. Она не выра-

жала соболезнование. Она всего лишь не мешала ему горевать.

Он по-прежнему смотрел в успокоительную тьму ее широких ноздрей, замечая, что с каждой минутой ему все труднее концентрировать внимание на ее словах. Джин Норман (настоящее имя: Фруджина Орсолия Фоньяжто).

О том, что говорил он сам, Либор имел крайне слабое представление. То был просто поток слов, какие положено говорить безутешным скорбящим. В сущности, он ломал комедию. Он даже начал жестикулировать, а еще немного — и стал бы картинно заламывать руки и пытаться рвать волосы на лысой голове.

Все это его удивляло и приводило в смятение. Зачем он это делает? Почему бы не высказаться честно, от души?

Потому что душа его не хотела высказываться. Потому что на самом деле тут было нечего, абсолютно нечего сказать.

Понимала ли это Джин Норман (настоящее имя: Маарит Тууликки Йааскелайнен)? Может, в этом и заключалась терапия — чтобы скорбящие глядели ей в ноздри и врали напропалую?

Ему следовало бы взвыть по-волчьи. По крайней мере, это было бы естественным проявлением

его чувств. Впрочем, нет — никаких таких чувств он сейчас не испытывал.

Перед его уходом она сказала, что хочет задать один вопрос. При этом она оживилась так, как не оживлялась ни разу за все время сеанса. Собственно, это и было главной причиной его появления здесь. Она собиралась задать этот вопрос с момента его появления — нет, еще с того момента, когда узнала о его предстоящем визите.

— Я насчет Мерилин, — сказала она.

— Мерилин Монро?

— Да. Вы хорошо ее знали?

— Неплохо.

Она надула щеки и оправила свой бюст:

— Скажите мне…

— Что?

— Скажите, она правда покончила с собой или ее убили?

4

Треслав и Хепзиба дуэтом поют в ванной.

Финклер проигрывает в покер.

Либор быстро угасает.

Финклер проигрывает в покер, но его книги продаются хорошо, и с Тамарой Краус у него, похоже, все еще впереди.

Либор угасает потому, что лишился Малки. Эмми позвонила ему и сообщила новости о своем внуке: ему уже не смогут восстановить зрение. Было два новых нападения на молодых евреев, носивших пейсы, сказала Эмми. И еще: осквернены надгробия на еврейском кладбище на севере Лондона. Там все покрыто свастиками. И что он должен сделать, по ее мнению? Созвать еврейскую народную дружину? Поставить охрану у каждого еврейского надгробия в Лондоне?

Либор прилагает усилия к тому, чтобы не спутать свои чувства по поводу нападений на евреев со своими чувствами по поводу смерти Малки.

Треслав и Хепзиба исполняют дуэтом «O soave fanciulla», «Parigi o cara», «E il sol dell'anima», «La ci darem la mano» и так далее.

Она знает все арии, какие знает он. «Как такое может быть?» — изумляется Треслав.

Исполнять это можно как в оптимистическом, так и в пессимистическом ключе. На то они и оперы — не фунт изюму. Треслав верен своему пессимизму, а Хепзиба излучает оптимизм. Так они дополняют друг друга, и Треслав счастлив.

У нее сильный голос, более подходящий для вагнеровских вещей. Но они не будут петь Вагнера, даже «Tristan und Isolde».

— У меня железное правило: никогда не петь вещи, в названии которых встречается «und», — говорит она.

Он понемногу начинает разбираться в финклерской культуре. Это как в случае с Либором и Марлен Дитрих (если считать, что Либор рассказал правду о себе и Дитрих): «Некоторые вещи недопустимы». Хорошо, Треслав будет делать только допустимые вещи. Подайте ему немца, и он мигом намотает кишки этого *мемзера* на ближайшее дерево или фонарный столб!

Мемзер значит «ублюдок» на идише. Треслав без конца употребляет это слово. Даже применительно к себе.

— Я счастливый *мемзер,* черт меня дери! — восклицает он время от времени.

Дабы отпраздновать свое преображение в счастливого *мемзера,* Треслав пригласил на дружеский обед Либора и Финклера. «Отметим начало моей новой жизни!» Он хотел пригласить и своих сыновей, но передумал. Не нравились они ему. Финклер ему тоже не нравился, но Финклер был его старым другом, и с этим приходилось считаться. Он сам выбрал его в друзья. А сыновей он не выбирал.

Финклер присвистнул, прямо из лифта выходя

на лоджию.

— Я гляжу, ты удачно встал на ноги, — шепнул он Треславу.

«Долбаный *мемзер!*» — подумал Треслав.

— А разве я был сбит с ног? — спросил он сухо.

Финклер ткнул его пальцем под ребра:

— Да ладно тебе! Я просто шучу.

— Так ты теперь заделался комиком? В любом случае я рад, что тебе здесь нравится. Всегда можно посмотреть крикет.

— Можно? — встрепенулся Финклер.

Он любил крикет, полагая, что любовь к крикету делает его истинным англичанином.

— Я о том, что можно посмотреть *в принципе*, а не в том, что ты можешь смотреть его отсюда когда вздумается.

Треслав не собирался приглашать Финклера на просмотр матчей. Финклер и без того оброс множеством льгот и привилегий. Так что пусть покупает билет. А если не сможет купить, пусть сидит у себя на лоджии и созерцает Хэмпстедский парк. Там было на что посмотреть, насколько помнил Треслав. Впрочем, сейчас он все реже вспоминал Хэмпстед. Он прожил в Сент-Джонс-Вуде всего три месяца, но уже не представлял себе жизнь где-то в другом месте. Или с кем-то

другим.

Хепзиба напрочь отрезала его от прошлого.

Он повел Финклера на кухню, где Хепзиба возилась у плиты. Он долго ждал этого момента.

— И на кой же тут Джуно, Сэм? — спросил он.

Ни тени узнавания или воспоминания не промелькнуло на лице Финклера.

Треслав хотел повторить эту фразу ближе к финклерскому варианту — «на гой жиду жены?», — но замешкался, поскольку был уверен, что Финклер и так помнит все когда-либо сказанное им самим. Сэм никогда не покидал дом без блокнота, в который исправно заносил все собственные и чужие мысли, могущие пригодиться впоследствии. «Ничто не трать попусту, и после не будешь нуждаться», — однажды сказал он Треславу, открывая блокнот. Треслав понял это так, что Финклер легко мог состряпать новую книгу из отходов, образовавшихся при работе над предыдущими. И теперь Треслав не сомневался, что Финклер отлично помнит фразу про жида и Джуно, но притворяется непонимающим, чтобы лишить Треслава удовольствия отыграться.

Пока он раздумывал, повторять фразу или нет, момент был упущен — эти двое уже пожимали руки (Хепзиба предварительно вытерла свою о

передник).

— Сэм.

— Хепзиба.

— Я в восторге от встречи.

Вместо ответа, Хепзиба церемонно наклонила голову. Треслав был озадачен.

— Хепзиба ответила мне по старой еврейской традиции, — пояснил Финклер. — Этот поклон означает: «Я тоже в восторге от встречи».

— Знаю-знаю, — сказал Треслав раздраженно.

Этот ублюдок снова утер ему нос. Никогда не угадаешь, что он выкинет в следующую минуту. И так с ними всеми. Ты готовишься к финклерской шутке, а они выдают порцию финклерских нотаций. И никак не получается сыграть на опережение — вечно они имеют в запасе какой-то ход, неизбежно ставящий тебя в тупик. Чертовы *мемзеры!*

— Дайте мне еще немного времени, и обед будет готов, — сказала Хепзиба.

— Вот тогда и я буду в восторге, — сказал Треслав.

Никто на эти слова не отреагировал.

На самом деле Треслав настороженно относился к кулинарным изыскам Хепзибы. Ему казалось, что она как-то уж очень зверски обращается с

ингредиентами блюд, пытаясь сделать из них то, чем они по природе своей не являлись. Что бы она ни готовила, на кухне всегда были задействованы как минимум пять немаленьких — в каждой легко поместилась бы кошка — кастрюль и сковородок, четыре из которых исходили паром, а пятая плевалась раскаленным маслом. Все окна были распахнуты, кухонная вытяжка работала на полную мощность. Треслав предложил было закрывать окна, когда работает вытяжка, или выключать вытяжку при распахнутых окнах. Он рассуждал научно: какой смысл прогонять через вытяжку уличный воздух, втекающий через окна? Но Хепзиба проигнорировала его рацпредложение, продолжая беспрестанно хлопать всеми дверцами кухонных шкафов и пускать в дело все ложки и миски, попадавшиеся ей под руку. Пот ручьями тек по ее лицу и пропитывал ее одежду. Каждую пару минут она делала паузу, чтобы утереть лицо, и затем с новой силой бралась за работу, как бог Вулкан, раздувающий жар в подземных печах Этны. А результатами этих титанических усилий оказывались омлет или запеканка на ужин Треславу.

Сетуя на нелогичность ее методов, Треслав тем не менее любил наблюдать за ней в про-

цессе. Шутки в сторону — еврейская женщина кочегарит на еврейской кухне! Его собственная мать умудрялась приготовить обед из пяти блюд, пользуясь лишь одной сковородой. Они втроем ждали, пока блюда слегка не остынут, а потом съедали их в молчании. И с мытьем посуды не было проблем: всего-то сковорода и три тарелки.

Финклер втянул носом запахи разгромленной кухни — нагрянь туда мародеры-казаки, даже они оставили бы ее в более опрятном виде — и простонал:

— Ох, мое любимое…

— Вы даже не знаете, *что я* готовлю, — засмеялась Хепзиба.

— И все же это мое любимое, — сказал Финклер.

— Назовите хоть один ингредиент.

— *Trayf,* — сказал Финклер.

Треслав знал слово *trayf,* означавшее некошерную еду.

— Только не у меня на кухне! — сказала Хепзиба, притворяясь оскорбленной. — Мой Джулиан ни за что не будет есть *trayf.*

«Мой Джулиан» прозвучало сладкой музыкой для Треслава. Как Шуберт в исполнении Горовица. Или Макс Брух в исполнении Хейфеца. Ну-ка,

Сэм, и на кой же тут Джуно?

Финклер издал булькающий горловой звук:

— Таки вы уже закошерили нашего друга?

— Он сам закошерился, — сказала Хепзиба.

Треслав — пусть даже «ее кошерный Джулиан» — чувствовал себя не в своей тарелке, наблюдая за тем, как эти финклеры изучающе разглядывают друг друга и ведут свои словесные игры. Он как будто находился между двух огней. Хепзиба была *его* женщиной, его любимой Джуно, однако Финклер вел себя так, словно имел на нее право первенства. Эти двое, казалось, говорили на своем особом языке — на тайном языке евреев.

«Надо будет выучить этот язык, — думал Треслав. — Надо взломать их еврейские коды, пока я не очутился за бортом».

И в то же время он испытывал чувство гордости за Хепзибу, которая сумела сделать то, чего не мог он сам. За какие-то двадцать секунд она проникла в душу Финклера глубже, чем Треславу удалось проникнуть за многие годы их дружбы. В ее обществе Финклер как-то размяк и расслабился.

А с появлением Либора Треслав и вовсе почувствовал себя чужим в их компании. Хепзиба неожиданным образом повлияла на обоих гостей, сумев сгладить их различия и противоречия.

— *Nu?*[95] — спросил Либор у Финклера.

Треслав затруднялся интерпретировать этот вопрос. Да и был ли это вопрос? Может, это было утверждение? «Nu» могло означать «как твои дела?» или констатировать «я знаю, как твои дела».

Треславу предстояло еще многому научиться.

Но по-настоящему он удивился ответу Финклера. В любое другое время тот не преминул бы попрекнуть Либора использованием еврейских вульгаризмов, но сейчас он ответил с хитроватой ухмылочкой всезнающего раввина:

— *A halber emes izt a gantser lign.*

— Полуправда есть полная ложь, — шепотом перевела Треславу Хепзиба.

— Я понял, — соврал он.

— И кто здесь говорит полуправду? — поинтересовался Либор.

— А кто здесь ее *не* говорит? — отозвался Финклер, но продолжать дискуссию он явно не собирался.

Стало быть, «nu» не было вопросом, требующим прямого ответа. Оно допускало уход в отвлеченные рассуждения о несовершенстве

---

[95] Примечания: 95
Каково? *(идиш)*

человеческой природы.

«Ага, понятно», — усвоил Треслав.

За обедом, однако, Либор начал подкалывать Финклера, как в старые добрые времена:

— Как там твои друзья, евреи-антисемиты?

— А что такое с моими евреями-антисемитами?

Треслав заметил, что на сей раз Финклер не стал отрицать наличие у него в друзьях евреев-антисемитов.

— Какая доля правды есть в их лжи?

— Каждый может ошибаться, — сказал Финклер.

— Вижу, они тебе порядком осточертели. Это хорошо.

— Что действительно хорошо, — сказал Финклер, — так вот *это*…

И он стал накладывать себе в тарелку всего понемногу: селедку в красном вине, селедку в белом вине, селедку в сметане, селедку с уксусом и селедку с маслиной на зубочистке, селедку в так называемой новой нарезке и, разумеется, селедку в нарезке старой — целые косяки сельди, только что выловленные в Северном море траулером с резной копией полуобнаженной Хепзибы на носу, — и далее: мясо в маринаде, копченую говя-

дину, копченого лосося, яйца с луком, ливерный паштет, замечательно безвкусный сыр, блинчики, цимес и чолент. Из всего перечисленного горячим был только чолент — тушеное мясо с фасолью и ячменной крупой — «чешское рагу», как называла его Хепзиба в честь Либора, любившего это блюдо. Столько пылающих огней на кухне, столько кипящих кастрюль и скворчащих сковородок — и в результате нате вам: все блюда, кроме чолента, оказались холодными.

Треслав не уставал изумляться чудесам, которые творила его жена, официально ему женой не являвшаяся.

— Я знал это! — воскликнул Финклер, добравшись до чолента. — Хельцель! Я сразу учуял запах хельцеля!

Треслав тоже знал, что это такое, потому что ему рассказала Хепзиба. Хельцелем назывались фаршированные куриные шейки, без которых она не мыслила себе настоящий чолент. И Финклер, похоже, мыслил — то есть *не* мыслил — аналогичным образом.

— Ага, вы приправили начинку душицей, — распробовал Финклер. — Блестящий ход! Моей маме ни разу не пришло в голову использовать душицу.

«Моей маме тем более», — подумал Треслав.

— Это сефардский рецепт? — спросил Финклер.

— Это мой собственный рецепт, — рассмеялась Хепзиба.

Финклер посмотрел на Треслава и сказал:

— Ты счастливый человек.

Счастливый *мемзер.*

Треслав утвердительно улыбнулся, смакуя хельцель. Фаршированные куриные шейки, бог ты мой! Вся история народа, заключенная в куриной шейке. А над ней громко причмокивает и облизывается Финклер, философ и СТЫДящийся еврей, с таким видом, словно всю жизнь не покидал какой-нибудь захолустный Каменец-Подольский.

После чолента пришла пора салфеток.

Хепзиба накрыла красивый стол — Треслав тоже поучаствовал, протирая бокалы и полируя столовое серебро, — но общую картину несколько портили примитивные металлические салфетницы, какие можно увидеть в любом придорожном кафе. Когда Треслав в первый раз накрывал стол на двоих с Хепзибой, он свернул салфетки — по одной каждому — изящными «корабликами», как его учила мама. Хепзиба похвалила его за старание, после чего развернула салфетку и разостлала

ее у себя на коленях, а когда Треслав в следующий раз собрался делать «кораблики», он обнаружил на столе эти самые железные штуковины, набитые бумажными салфетками.

— Я не то чтобы поощряю обжорство, — пояснила Хепзиба, — но я не хочу, чтобы кто-нибудь за моим столом испытывал неловкость и умерял свой аппетит из-за нехватки салфеток.

Сама она во время обеда расходовала не менее дюжины салфеток, особенно много после чоленты. Мама Треслава учила его по возможности не пачкать салфетку, чтобы ее потом снова можно было свернуть в «кораблик». Теперь же, следуя примеру Хепзибы, он использовал по свежей салфетке на каждый палец.

Теперь все было иначе. Прежде он ел только ртом, а теперь в процессе принятия пищи был задействован весь Треслав без остатка. Неудивительно, что ему требовалось так много салфеток.

— Что касается этого музея… — начал Финклер, когда с едой было покончено.

Хепзиба повернулась в его сторону:

— …Разве их у нас недостаточно?

— Вы говорите обо всех музеях в стране?

— Я говорю о еврейских музеях. Сейчас везде полно музеев холокоста. Нужен ли нам еще один

где-нибудь в сельской глуши?

— Речь не идет о сельской глуши, и наш музей не связан с холокостом. Это будет Музей англо-еврейской культуры.

— А что, существует такая культура? — Финклер хохотнул. — Там будет про наше изгнание в тысяча двести девяностом?

— Разумеется, как и про наше возвращение в тысяча шестьсот пятьдесят пятом.[96]

Финклер пожал плечами с таким видом, будто все, что он мог бы сказать по этому поводу, и без того хорошо известно присутствующим.

— Старо как мир, — сказал он. — В итоге вы все равно вернетесь к холокосту, разве что подав его под вывеской «Британское отношение к…». И снова будут снимки газовых камер — куда вы от них денетесь? Все еврейские музеи приходят к этому тем или иным путем. Я вот что не могу понять: если уж мы никак не можем отвлечься от своих страданий, то почему хотя бы не менять акценты? Например, устроить Музей еврейских погромов в России или Музей вавилонского пленения. Или, если нужен местный колорит, Музей

---

[96] Примечания: 96

В 1290 г. евреи были изгнаны из Англии указом короля Эдуарда I. Этот указ был отменен в 1655 г. Оливером Кромвелем, разрешившим евреям селиться на Британских островах.

английских злодеяний против евреев?

— Наш музей не ориентируется на английские злодеяния, — сказала Хепзиба.

— Это радует.

— Там вообще не будет негатива, — вмешался Треслав. — И нашей программой не предусмотрено даже упоминание о холокосте.

Финклер уставился на него в изумлении. *«Нашей?* А ты тут с какого боку?» — говорил его взгляд.

Либор пошевелился на стуле и неожиданно замогильным, почти пророческим голосом изрек:

— Внука моей давней знакомой недавно ослепили.

Финклер не нашелся, как на это отреагировать. Ему хотелось спросить: «Ну и что? Какое это имеет отношение к нашей беседе?»

— Ох, Либор, и кто он? — спросила Хепзиба.

— Ты не знакома с внуком, как и с его бабушкой.

— Как это случилось?

И Либор рассказал им эту историю, не упомянув лишь о том, что когда-то, в середине прошлого века, он и Эмми были любовниками.

— И ты считаешь это аргументом за создание музеев холокоста в каждом церковном прихо-

де? — спросил Финклер.

— Я так понял, что церковные приходы — это саркастический намек на христианскую нелюбовь к евреям, — сказал Треслав.

— Какого черта, Джулиан! Нет здесь саркастического намека, как ты это называешь. Я вижу, что Либор огорчен, и я уважаю его чувства. Но преступление одного безумца — это еще не повод для того, чтобы биться в истерике и кричать о возвращении нацизма.

— Конечно нет, — сказал Либор. — Да я и не имел это в виду.

Хепзиба поднялась из-за стола, подошла к Либору и, встав за его спиной, погладила его по щекам, как малого ребенка. Массивные перстни на ее пальцах, казалось, превосходили размерами его уши. Либор откинулся на спинку стула, и Хепзиба поцеловала его лысый череп. Треслав испугался, что старик сейчас заплачет. Хотя, скорее, он сам боялся расплакаться.

— Я в порядке, — сказал Либор. — Собственное бессилие огорчает меня сильнее, чем случившееся с внуком моей знакомой, о существовании которого я узнал всего пару месяцев назад.

— Тут уже ничем не поможешь, — сказала Хепзиба.

— Знаю. Плохо не только то, что я ничего не могу сделать, но и то, что я ничего не чувствую.

— Может, мы сейчас ничего не чувствуем как раз потому, что слишком часто и слишком открыто выражаем свои чувства по таким поводам, — сказал Финклер.

— Слишком часто кричим: «Таки волк!» — Хепзиба усмехнулась. — Вы об этом?

«Как я люблю ее!» — подумал Треслав.

— Именно об этом, — сказал Финклер. — И разве я не прав?

— Я не считаю такие выражения чувств излишними.

— И вы не считаете, что обилие ложных тревог приводит к тому, что их просто перестают замечать?

— А вы точно знаете, когда тревога бывает ложной? — в свою очередь спросила Хепзиба.

Треслав видел, что Финклеру очень хочется сказать: «Да, например когда ее поднимает наш дорогой Джулиан». Но вместо этого Финклер сказал:

— Мне кажется, мы сами нагнетаем паническую атмосферу тем, что, во-первых, всегда изображаем себя жертвами событий и, во-вторых, не желаем разобраться, почему некоторые люди

считают свою ненависть к нам обоснованной.

— И потому ослепляют наших детей, — добавила Хепзиба.

Ее руки все еще были на щеках Либора, который прижал их сверху своими ладонями, как будто стараясь плотнее заткнуть уши.

— Как тот режиссер, — сказал Либор и повторил его фразу: — «Я прекрасно понимаю людей, которые ненавидят евреев».

— Так оно все и начинается, — сказала Хепзиба.

Финклер покачал головой, как бы сожалея об их безнадежности.

— Теперь я вижу, что ваш Музей англо-еврейской культуры просто обречен стать еще одним музеем холокоста, — сказал он.

«*Ютц,* — думал о нем Треслав, — *гройссер путц, штик дрек!*»[97]

Финклер и Либор попивали виски в гостиной, пока Треслав помогал Хепзибе мыть посуду. Обычно она не прибиралась сразу после застолья, откладывая это на другой день, так что поутру грязная посуда горой громоздилась в кухонной

---

[97] Примечания: 97

«Yutz, groisser putz, shtick drek!» *(идиш)* — «Недоумок, толстый хер, кусок дерьма!»

раковине и было трудно даже подсунуть чайник под струю воды. А что не влезало в раковину, громоздилось на кухонном столе. Кастрюль, тарелок, чашек и мисок было столько, словно у них побывала сотня гостей. Хепзиба предпочитала накапливать эти горы и уже потом разом расплачиваться за все предыдущие удовольствия. Треславу виделось в этом проявление фатализма, восходящего ко временам погромов: если казаки могут налететь в любой момент и ты не знаешь, что будет с тобой завтра, зачем сегодня беспокоиться о грязной посуде?

Но на сей раз она взяла Треслава за локоть и увлекла его на кухню. Ни Финклер, ни Либор не вызвались им помочь. Так их четверка, не сговариваясь, разбилась на пары, чтобы спокойно обменяться мнениями.

— Наш друг, похоже, очень счастлив, — сказал Либор.

— Это верно, — согласился Финклер. — Он прямо сияет.

— И моя племянница тоже. Думаю, она ему подходит. Мне кажется, ему не хватало материнской заботы.

— Именно так, — сказал Финклер. — Этого ему всегда не хватало.

Глава 8

1

Финклер рассчитывал перед отходом ко сну сыграть партию-другую в покер, но по прибытии домой обнаружил на автоответчике сообщение от Блейз — так звали его дочь. Иммануэль, его младший сын, оказался замешан в антисемитском инциденте. Он в порядке, беспокоиться абсолютно не о чем. Просто Блейз хотела, чтобы отец узнал эту новость от нее раньше, чем из других источников, которые могут представить все в худшем свете.

В записи было много помех, и Финклер не разобрал отдельные слова. Нажимая кнопку для повторного прослушивания, он подумал, что этот звонок может оказаться розыгрышем. Когда он уходил из гостей, Джулиан, Либор и Хепзиба еще болтали за бокалами и в том настроении вполне могли сподобиться на шутку, дабы преподать ему урок: «Каково, когда это случается в *твоей* семье, мистер СТЫДящийся еврейский философ?» Однако голос в сообщении, несомненно, принадлежал Блейз. И хотя она сказала, что ему абсолютно

не о чем беспокоиться, повод для беспокойства наверняка был — иначе зачем бы она спешила его предупредить?

Он позвонил ей, но Блейз не брала трубку. Для нее это было в порядке вещей. Телефон Иммануэля все время был занят. Может, у него отобрали мобильник? Он позвонил своему старшему сыну, Джерому, который учился в другом, более либеральном университете и всегда насмехался над «озабоченными ерундой» Иммануэлем и Блейз. Вот и сейчас он лишь хмыкнул:

— Что там: толпы антисемитов осаждают Баллиол?[98] Я так не думаю, папа.

Поскольку вызывать своего шофера было уже поздно, а сам он слишком много выпил, чтобы садиться за руль, Финклер позвонил в фирму по прокату лимузинов, услугами которой иногда пользовался, и заказал авто до Оксфорда. Срочно.

В самом начале поездки он попросил приглушить радио, а потом настоял на его выключении. Это страшно рассердило водителя, утверждавшего, что радио нужно ему для отслеживания ситуации на дорогах. Финклер даже начал опасаться нового антисемитского инцидента, теперь

---

[98] Примечания: 98
Один из старейших колледжей Оксфорда.

уже с ним самим в качестве жертвы. Выдумал тоже: ситуация на дорогах! Это в полночь-то! Когда они выехали из Лондона и помчались по пустынной автостраде, ему подумалось, что в действительности радио было нужно водителю, чтобы не заснуть за рулем.

— Может, вам все же лучше его включить, — сказал он, что было воспринято как очередной каприз вздорного клиента.

Финклер сознавал, что поступает неразумно. Совсем необязательно было раздражать шофера, везущего его к сыну. И он наверняка вызовет раздражение у сына — одним из тысячи способов, которыми отцы, не желая того, вызывают раздражение у своих детей. Он не исключал, что сын мог сцепиться с антисемитами как раз из-за него, Сэма Финклера. Стыдящийся или нестыдящийся, он был заметной фигурой среди английских евреев. Нельзя ожидать от расистских ублюдков вникания в тонкости еврейского антисионизма. «Ты ведь сынок Сэма Финклера, верно, жиденыш? Тогда получи в пятак!»

Если только все обошлось разбитым носом.

Он скорчился на заднем сиденье «мерседеса» и дал волю слезам. Что сказала бы Тайлер? Он чувствовал, что подвел ее. Незадолго до смерти

она взяла с него обещание, что дети всегда будут его главной заботой.

— Не твоя вонючая карьера, не твои сиськастые еврейские бляди и не эти извращенцы, с которыми ты тусуешься в Граучо, а твои сыновья и дочь. Обещай мне, Шмуэль!

Он дал ей слово и твердо намеревался его сдержать. Во время похорон он обнял за плечи сыновей, и они долго стояли так втроем, гладя на могилу Тайлер, — несчастные, потерянные мужчины. А Блейз держалась в стороне от них. Она была вместе с матерью — и против всех мужчин, потерянных или нет. Трое детей тогда провели с ним неделю, а потом разъехались по своим университетам. Он им писал, он им звонил, он приглашал их на обед в ресторане или на просмотр его новой передачи. В уик-энды он ездил то в Оксфорд, то в Ноттингем, снимал номера в лучших тамошних отелях и устраивал детям шикарные пиршества. В такие поездки он никогда не брал с собой женщин, принося удовольствия в жертву моральному облику. Жертвы были особенно ощутимы, когда он останавливался в «Усадьбе четырех сезонов», ибо этот французский отель-ресторан близ Оксфорда был просто создан для любовных приключений. Но долг превыше

всего. Дети — его главная забота.

Он любил своих детей. Каждый из них чем-то напоминал ему покойную жену — угловатые, резкие и нервные сыновья, язвительная дочь. Никто из них не стал изучать философию, и Сэм Финклер был этим доволен. Блейз пошла по юридической части. Иммануэль, самый несобранный из них, начал с архитектуры, потом занялся языками, а теперь опять подумывал о чем-то новом. Джером учился на инженера-строителя.

— Я горжусь тобой, — как-то раз сказал ему Финклер. — Это славная нееврейская профессия.

— А ты не думаешь, что, став инженером, я могу поехать в Израиль и строить разделительные стены? — спросил Джером.

И быстро добавил, что это только шутка, увидев, как сильно потрясли отца его слова.

Оба его сына обзавелись подругами и, насколько он мог судить, сохраняли им верность. Блейз не имела постоянного парня. Она была сумасбродкой, как и ее мать. Джером пока не был уверен, что нашел свою вторую половинку. Иммануэль думал, что свою нашел, и уже хотел собственных детишек. Финклер представил, как он курсирует

вокруг Эшмола[99] с многоместной детской коляской, любуясь своими чадами. Новый человек, отец семейства. Сам Финклер никогда не был таким заботливым отцом. Слишком много всего интересовало его помимо детей, да и помимо жены. И только в последнее время он старался исправиться. Не слишком ли поздно? Не могло ли его давнее пренебрежение родительскими обязанностями стать одной из причин сегодняшнего инцидента? Может, это по его вине дети оказались беззащитными, не могут вовремя распознать опасность и дать отпор недругу?

Он снова вспомнил разговор, состоявшийся ранее этим вечером, когда он равнодушно выслушал историю о сходном инциденте и ослепленном молодом еврее. Что это, случайное совпадение? Может, он тем самым искушал судьбу, в очередной раз прогневив еврейского Бога, и этот Бог в кои-то веки решил ответить на брошенный ему вызов? Затем мелькнула ужасная мысль: что, если Иммануэль тоже ослеплен? За ней последовала не менее ужасная: что, если виной тому он, Сэм Финклер?

---

[99] Примечания: 99

Имеется в виду Эшмоловский музей — университетский музей, открытый в Оксфорде в 1683 г. и названный по имени антиквара Элиаса Эшмола (1617–1692), который завещал ему свою коллекцию.

В этот момент, сквозь слезы, Финклер-рационалист и Финклер-игрок заключили соглашение. Если окажется, что Иммануэль серьезно пострадал, он пошлет куда подальше всех СТЫДящихся евреев. Ну а если травма несерьезная… тогда что?

Финклер не знал, что тогда.

Пожалуй, зря он приплел СТЫДящихся евреев. Их не за что было винить. Они просто-напросто *существовали.* Как просто-напросто *существовали* антисемиты. Негоже так легко отрекаться от вещей, еще недавно имевших для тебя первостепенную важность. Однако сейчас, корчась на заднем сиденье лимузина и мечтая поскорее преодолеть эти мили до Оксфорда, он начал сомневаться, разумно ли вообще употреблять слово «еврей» в общественных местах. Может, после всего случившегося лучше оставить это слово только для использования в узком кругу? В большом мире оно лишь провоцировало насилие и экстремизм.

Это был пропуск в безумие. «Еврей» — слишком маленькое слово, чтобы служить надежным укрытием для здравого смысла. В иных случаях сказать «еврей» — это все равно что бросить бомбу.

Может, Иммануэль демонстративно подчеркивал свое еврейство? Если так, то зачем — чтобы отплатить отцу? Чтобы выразить свое разочарование в нем? «Мой отец может стыдиться того, что он еврей, а вот я — ни фига подобного!» И потом ему прилетает в пятак.

Да, все сводилось к Сэму Финклеру. Как ни крути, виноват был он. Плохой муж, никчемный отец, дурной пример для подражания, негодный еврей и ко всему прочему — никудышный философ.

Но ведь это всего лишь суеверие, разве не так? Он всегда принципиально игнорировал моральные нормы. Делай, что считаешь нужным, без оглядки на всякие угрызения. Понятно, что реальные причины и следствия он игнорировать не мог. Если ты плохо управляешь машиной, это приводит к аварии, то есть у тебя реальная проблема. Ну а мораль-то тут при чем? Если твоего сына ослепят какие-то антисемиты, это произойдет отнюдь не потому, что ты путался с блядями, и не потому, что ты не принимал угрозу антисемитизма всерьез в отличие от твоих более истеричных собратьев-евреев.

Или все-таки потому?

Далеко не в первый раз любовницы нарушали

упорядоченную работу его в высшей степени рационального ума. Разумеется, глупо верить в приметы типа: возьми в поездку любовницу, и это навлечет на тебя аварию. Другое дело — реальные причины и следствия. Возьми в поездку любовницу и дай ей отсосать, когда ты ведешь машину по скоростной трассе из Лондона в Оксфорд, — тогда вероятность аварии резко возрастет. Но случится это не по причине твоего аморального поведения, а из-за обыкновенной потери концентрации. Но почему тогда он всякий раз во время поездки с любовницей чувствовал себя в большей опасности, чем при поездке с женой? Он верил, что мужчины и женщины не созданы для моногамии. Если ты спишь с разными женщинами — это не преступление против природы. Поездка за город с вульгарной шлюхой Ронит Кравиц при наличии дома элегантной красавицы-жены может выглядеть преступлением против эстетики, однако ни Богом, ни обществом не предусмотрены кары за «эстетические преступления». Так откуда же взяться дурным предчувствиям?

Однако эти предчувствия мучили его каждый раз, когда он предпринимал сексуальные эскапады, в его глазах не выглядевшие преступлениями.

Вдруг его машина попадет в аварию? Вдруг загорится отель? А вдруг — та еще трагедия — его член откажется вставать? Он объяснял это следующим образом: иррациональный страх всегда предшествовал разуму и даже в наш научный век люди сохраняют в сознании частицу того доисторического невежества, которое этот страх порождало. И сейчас человек может ощущать причинно-следственные связи на все том же древнем уровне: однажды утром солнце не взойдет над горизонтом потому, что он сделал что-то не то или забыл выполнить какой-то ритуал. Вот и Финклер, подобно предкам человечества полмиллиона лет назад, подсознательно боялся, что нарушил какие-то установления высших сил и те выместили свой гнев на его сыне.

Он добрался до оксфордской квартиры Иммануэля во втором часу ночи и обнаружил ее пустой. Телефон сына по-прежнему был занят. Блейз все так же не отвечала на звонки. Он сказал шоферу ехать на Каули-роуд, где жила Блейз. Окна ее квартиры были освещены. Вместо того чтобы позвонить, Финклер — сам не зная зачем — постучал по стеклу. Кто-то невидимый раздвинул шторы, а потом в окне возникло лицо Блейз, которая изумленно уставилась на отца.

— Тебе совсем необязательно было приезжать, — сказала она, открывая дверь. — Я же сказала, что он в порядке.

— Он здесь?

— Да, я уложила его на свою кровать.

— Я хочу его видеть.

Его сын сидел в постели, листал глянцевые журналы и пил ром с колой. На щеке у него был пластырь, рука висела на перевязи. В остальном он действительно был в порядке.

— Гопля! — сказал Иммануэль при виде отца.

— Что значит это «гопля»?

— Ты всегда говорил «гопля», когда кто-то из нас в детстве падал.

— Стало быть, ты сейчас упал?

— Типа того.

— Что значит «типа того»?

— Папа, может, хватит спрашивать меня, что значит то, что значит это?

— Расскажи мне, что случилось.

— Ты пропустил один вопрос.

— Какой вопрос?

— Самый первый: «Как ты себя чувствуешь, Иммануэль?»

— Ах да, извини. Как ты себя чувствуешь, Иммануэль?

— Более-менее сносно, как видишь. А случилась тут небольшая заварушка. Началось все с публичной дискуссии, в которой одна сторона выступала под лозунгом «Израиль утратил право на существование» или что-то вроде этого. Странно, что тебя не пригласили участвовать.

«Это в самом деле странно, — подумал Финклер. — Могли бы и пригласить».

— И что дальше?

— Ну, ты знаешь, как оно бывает на таких встречах. Страсти разгорелись, пошли в ход оскорбления, а потом и кулаки.

— Тебе сильно досталось?

Иммануэль пожал плечами:

— Рука повреждена, но не думаю, что это перелом.

— Ты не обращался в больницу?

— В этом нет нужды.

— А в полицию?

— Это полиция ко мне обратилась.

— Они выдвинули обвинения против кого-то?

— Да. Против меня.

— Против тебя?!

— Во всяком случае, они рассматривают этот вопрос. Будет зависеть от показаний свидетелей.

— Но почему они хотят обвинить *тебя?* Они

там что, свихнулись?

В этот момент Блейз вошла в комнату с тремя чашками кофе на подносе. Финклер перевел на нее недоумевающий взгляд.

— Я была там и все видела, — сказала Блейз. — Если кто и свихнулся, так это твой сын, который был зачинщиком.

— Что значит «был зачинщиком»?

— Папа, ты не на устном экзамене, где твои «что значит» были бы еще как-то уместны, — сказал Иммануэль и вновь развернул журнал.

Пусть разбираются без него. В конце концов, это сестра виновата в том, что отец примчался сюда среди ночи.

— Блейз, ты сказала мне, что был антисемитский инцидент. Я не понимаю, как можно в таком случае быть зачинщиком. Ты агрессивно подскакиваешь к тихо-мирным антисемитам и кричишь: «Я еврей! А ну-ка, врежь мне»?

— Он не приставал к антисемитам, папа. Ты все не так понял.

— Что значит «не так понял»?

— Они были евреями.

— Кто был евреями?

— Те люди, на которых он напал.

— Иммануэль напал на евреев?

— Это были сионисты. Типичные ортодоксы, в черных шляпах и с пейсами. Как израильские поселенцы.

— Израильские поселенцы в Оксфорде?

— Я сказала «как».

— И он полез с ними драться? Почему?

— Да так, ничего особенного. Он обвинил их в краже чужой земли…

Она сделала паузу.

— И все.

— И все? Это все, что он сказал? Иммануэль, ты все это сказал?

Иммануэль поднял взгляд от журнала. Он напомнил Финклеру покойную жену — та же самая вызывающе насмешливая гримаса при обращении к собеседнику, которого ты знаешь как облупленного.

— Да, это все, что я сказал. И разве я не прав? Ты сам много раз говорил то же самое.

— Но я говорил это не прямо в глаза людям, Иммануэль. Одно дело выступать с заявлениями, чтобы привлечь внимание общественности, и совсем другое — затевать уличную потасовку.

— Видишь ли, папа, я не философ. Я не изрекаю общественно-политические истины. Я просто сказал им все, что думаю об их маленькой дерь-

мовой стране, и назвал расистом одного из них, когда он ко мне подошел.

— Расистом? И что он ответил?

— Ничего. Я говорил в широком смысле, обо всей стране, а не лично о нем.

— Он был израильтянином?

— Почем я знаю? Он был в черной шляпе. Он представлял другую сторону в дискуссии.

— И это делает его расистом?

— А как бы ты это назвал?

— Я бы подыскал другие термины.

— Я бы тоже стал подыскивать, если бы у нас была игра в слова.

— И что случилось потом?

— Потом я сбил с него шляпу.

— Ты сбил с еврея шляпу?!

— Ну да. И что в этом такого?

— Черт возьми, это ужасно! Никогда не делай этого, в особенности с евреями.

— Почему это «в особенности»? Мы что, охраняемый вид, занесенный в Красную книгу? Эти люди бульдозерами сносят палестинские деревни. Сбитая шляпа по сравнению с этим — ничто.

— Ты его травмировал?

— Меньше, чем хотелось бы.

— Но это уже выглядит как расистское нападе-

ние, Иммануэль!

— Папа, как это может быть расистским нападением, когда расисты — они, а не я?

— Я не хочу даже отвечать.

— Разве я похож на расиста? Взгляни на меня.

— Ты сейчас похож на гнусного антисемита.

— Какой же я антисемит? Я сам еврей.

Финклер повернулся к Блейз.

— И с каких пор на него это нашло? — спросил он.

— С каких пор он стал гнусным антисемитом? Это находит на него время от времени, смотря что он читает.

— По-твоему, в этом виноват я? Но в моих книгах нет ничего про еврейский расизм и апартеид.

Блейз встретила его взгляд со спокойной иронией, совсем как Тайлер в былые годы.

— Нет, тебя я не виню. Я вообще сомневаюсь, что он прочел хотя бы слово из написанного тобой. Есть другие люди, которые тоже пишут книги.

— И еще у меня свои мозги есть, — добавил Иммануэль.

— В этом я сомневаюсь, — сказал Финклер. — Сомневаюсь, что так можно назвать жидкую

кашу в твоей голове.

Имей он навык физических расправ и не будь обещания, данного Тайлер, Финклер сейчас охотно сдернул бы сынка с кровати и сломал ему вторую руку.

2

В качестве «помощника куратора Музея англо-еврейской культуры» Треслав изнывал от безделья. Хепзиба заверила его, что все изменится после открытия музея, а на данной стадии основная работа была за архитекторами и электриками. Лучшее, что он может сделать для музея и для Хепзибы на данной стадии, — это поразмыслить над пополнением экспозиции именами и событиями. Едва выдвинув эту идею, она сразу о том пожалела. Это было нечестно по отношению к Треславу. Генетическая память евреев может включать множество событий и людей, вплоть до Адама и Евы, но как Треславу ориентироваться во всех этих «кто кем был» и «кто кем не был», «кто когда сменил имя» и «кто на ком женился»? И он не обладал нужным инстинктом, чтобы со временем во все это вникнуть. Ты должен родиться евреем и быть воспитанным как еврей, чтобы повсюду видеть еврейскую руку. Или ты должен

быть убежденным нацистом.

Под музей был выбран особняк в стиле поздневикторианской готики, имитирующий рейнский замок, — со шпилями, псевдозубчатыми стенами, причудливыми дымовыми трубами и даже намеком на крепостной вал. К дому примыкал маленький сад, в котором Хепзиба рассчитывала устраивать чаепития.

— Гонять еврейские чаи? — уточнил Либор.

— А что такое еврейский чай? — поинтересовался Треслав.

— Он похож на английский, только его вдвое больше при том же объеме заварки.

— Либор! — упрекнула его Хепзиба.

А Треславу понравилась идея устраивать еврейские чаепития; он уже научился называть кексы *kuchen,* а блинчики с кремом или вареньем — *blintzes.*

— Позволь мне составить меню, — вызвался он.

И Хепзиба согласилась.

Его огорчало лишь то, что местоположение особняка не позволяло развернуть на прилегающей территории активную палаточную торговлю, которая, как известно, весьма способствует финансовому процветанию музеев. До

старой «битловской» студии было рукой подать, но основной туристский поток направлялся к ней с другой стороны. Парковка у музея также оказалась проблематичной: повсюду были сплошные линии разметки, а небольшой косогор перед «рейнским замком» и опасливо замедляющие ход автобусы отвлекали на себя внимание автомобилистов — потенциальных посетителей музея. Да и деревья вдоль дороги разрослись так, что за ними трудно будет разглядеть музейное здание или соответствующий указатель.

— Люди просто не смогут найти наш музей, — предупреждал он Хепзибу, — или попадут в аварию, его высматривая.

— И какие предложения в этой связи? Хочешь, чтобы я сгладила косогор и вырубила деревья?

Вместо этого Треслав представил себя стоящим на улице в музейной униформе и взмахами рук направляющим транспортные потоки.

Была еще одна вещь, которая его беспокоила, но о которой он предпочитал не распространяться: вандализм. Чуть ли не каждый посетитель Эббироуд норовил оставить свой след на окрестных стенах. В большинстве случаев надписи были доброжелательными: «Такой-то любит того-то», «Мы все живем в желтой подлодке», «Покойся с

миром, Джон» и тому подобное, — но однажды, проходя мимо, Треслав заметил жирную свежую надпись по-арабски. Она вполне могла быть посланием любви: «Представь, что нет всех государств и нет больше границ…» — ну а вдруг это было послание ненависти: «Представь, что нет Израиля, евреев больше нет…»?

Треслав знал, что у него нет веских причин подозревать подобное, и потому держал свои подозрения при себе. Однако арабская надпись выглядела весьма угрожающе, она как бы перечеркивала все предыдущие надписи и противопоставляла себя самому духу этого места.

Или ему все это только представлялось?

Обычно Треслав чувствовал, когда ему делают снисхождение, и воспринимал это болезненно, но идею Хепзибы о размышлениях как лучшем способе ей помочь он сразу же одобрил. Тут было над чем поразмыслить, а размышлять в полупрофессиональном качестве ему нравилось. Временами он размышлял об этом на дому, в своем «кабинете», под который Хепзиба выделила комнату, где хранились ее хэмпстедские накидки и шали — она их больше не носила, но и расставаться с ними окончательно не торопилась (Треслав с удовольствием отметил, что,

когда встал выбор между ним и шалями, последние оказались в проигрыше). В другое время он размышлял об этом в еще не отделанном помещении музейной библиотеки. Преимуществом здесь было наличие стеллажей с еврейскими книгами, а недостатками — наличие плотников с гремящими молотками и подозрительное арабское граффити, которое он не мог не замечать по пути к музею.

В конце концов он отдал предпочтение комнате с шалями, а также лоджии с видом на крикетный стадион, где он частенько сидел, перелистывая какую-нибудь книгу. Несколькими домами левее находилась синагога, но из лоджии просматривался лишь дворик перед ней. Треслав рассчитывал увидеть там бородатых евреев — как они поют и приплясывают, носят на плечах своих детей, церемониально обрезают волосы (он видел это в одном документальном фильме) или торжественно собираются на праздник с молитвенными покрывалами под мышкой и со взорами, устремленными к Господу. Но, видимо, это была синагога другого типа. За все время его наблюдения единственным посетителем синагоги был дюжий еврей (лицом — вылитый

Тополь,[100] отчего Треслав и признал в нем еврея), всегда приезжавший на большом черном мотоцикле. Для простого сторожа он держался чересчур вальяжно, а на раввина походил и того меньше. Дело было даже не в мотоцикле, а в его шарфе, расцвеченном под флаг Организации освобождения Палестины. И каждый раз перед тем, как надеть шлем и дать по газам, он закрывал этим шарфом нижнюю половину лица — прямотаки «воин пустыни», устремляющийся в битву.

Изо дня в день Треслав высматривал с лоджии еврея-мотоциклиста. Это превратилось в своего рода ритуал и не прошло незамеченным: через некоторое время еврей-мотоциклист тоже начал высматривать Треслава. Один таращился вверх, другой таращился вниз. Треславу очень хотелось узнать, почему еврей-мотоциклист носит шарф с цветами ООП — и не просто носит, а еще и закрывает им лицо. Причем в синагоге!

Его беседы с Либором о политике способствовали тому, что палестинский шарф начал восприниматься Треславом как зловещий символ, хотя Либор и называл ООП «наименьшей из сегодняшних угроз для Изр-р-раи». Так или

[100] Примечания: 100

Тополь Хаим (р. 1935) — израильский актер театра и кино, много лет работавший в Британии.

иначе, ношение этого шарфа свидетельствовало об агрессивной позиции его носителя. Ладно еще, если ты палестинец, говорил Либор; палестинец имеет право на агрессивную позицию — право, обусловленное страданиями его народа. Но подобный шарф на англичанине подразумевал ностальгическое стремление решать сложные проблемы простыми и радикальными средствами, каковые «решения» могли повергнуть в ужас даже многое повидавшего беженца из-за железного занавеса. Треслав повидал немногое, будучи беженцем только из Хэмпстеда, но и он содрогался от ужаса за компанию с Либором.

При таком раскладе байкер в палестинском шарфе представлял собой нечто из ряда вон: это был не палестинец и не какой-нибудь англосакс, норовящий подпитать чужим горем свою природную злость; это был еврей, который к тому же целыми днями торчал в еврейском молитвенном доме. «Объясни мне это, Либор». Но Либор не мог этого объяснить.

— Наша нация больна, — только и сказал он.

Наконец Треслав обратился с вопросом к Хепзибе, которую он сначала не хотел беспокоить по этому поводу.

— Я давно уже стараюсь не глядеть в ту сторо-

ну, — сказала Хепзиба.

У нее это прозвучало как упоминание о Содоме и Гоморре, один лишь взгляд в сторону коих обрекал человека на гибель.

— Почему? — спросил он. — Что там творится?

— Не думаю, что там творится что-то особенное. Просто они таким вот образом демонстрируют свою гуманность.

— Я тоже сторонник гуманности, — заявил Треслав.

— Я это знаю, дорогой. Только они готовы проявлять гуманность ко всем, кроме нас. Под *нами* я подразумеваю…

— Я тебя понял, — быстро сказал Треслав, избавляя ее от пояснений. — Но разве при этом нельзя обойтись без таких шарфов? Разве обязательно при этом открыто прославлять вашего врага? Под *вашим я* подразумеваю…

Она чмокнула его в макушку. Этот поцелуй означал: «Тебе еще многому надо учиться».

Так что он сидел дома и пытался учиться. Он чувствовал, что Хепзибу такой вариант устраивает больше, чем его пребывание в музейных стенах. И Треслав тоже предпочитал такой вариант: он, как верный еврейский супруг, охранял их жилище, вдыхал ее запах и ждал, когда она

вернется с работы, слегка запыхавшись ввиду избыточного веса и гремя серебряными перстнями на пальцах, как экзотическая восточная танцовщица.

Ему нравилось слышать жизнерадостный голос, произносящий его имя с порога квартиры: «Привет, Джулиан!» Он чувствовал себя здесь нужным. Прежде, в других голосах, произносивших его имя, обычно звучало недовольство тем, что он все еще здесь.

Ее приход означал завершение его дневных образовательных трудов. Он жалел, что в свое время не зацепил в университете пару-другую семинаров с еврейской тематикой: о Талмуде, о каббале и еще желательно что-нибудь проясняющее, почему некоторые евреи носят шарфы с цветами ООП. А сейчас начинать с нуля было непросто. Либор предложил ему изучать иврит и даже порекомендовал педагога — чудеснейшего человека десятью годами старше рекомендателя, с которым они имели обыкновение неспешно гонять лимонные чаи в ресторанчике на Бейкер-стрит.

— «Неспешно» означает часа три, за которые он высасывает чашку чая через соломинку, — пояснил Либор. — Он научил меня тому немногому,

что я знаю на иврите; это было в Праге еще до прихода нацистов. Тебе придется брать уроки у него на дому, и ты, возможно, не будешь понимать его из-за кошмарного акцента — он родом из Остравы. Тебя он уж точно не расслышит, так что нет нужды задавать ему вопросы. И еще, тебе надо будет привыкнуть к спазмам шеи — его, не твоей, — а также к тому, что он все время будет кашлять тебе в лицо и, может, прольет несколько слезинок по своей жене и детям. Но зато он говорит на прекрасном, классическом, доизраильском иврите.

Однако Треслав посчитал, что иврит выше его разумения, даже если преподавателем будет кто-то менее похожий на живую мумию. Его прежде всего интересовала история, в частности история идей. И он хотел научиться думать на еврейский манер. Для этого Хепзиба посоветовала ему трактат Моисея Маймонида[101] «Путеводитель растерянных». Сама она его не читала, но слышала много восторженных отзывов об этом тексте двенадцатого века; а поскольку Треслав был рас-

[101] Примечания: 101

Моисей Маймонид (тж. Рабби Моше бен Маймон, тж. Рамбам, 1135–1204) — еврейский философ и врач, живший в мусульманских странах и многие свои труды (в т. ч. «Путеводитель растерянных») написавший по-арабски; один из крупнейших духовных лидеров религиозного еврейства.

терян и нуждался в путеводных наставлениях, ничего лучше нельзя было и придумать.

— Мне кажется, ты просто хочешь, чтобы я надолго заткнулся, — сказал Треслав, едва увидев оглавление и размер шрифта.

На его взгляд, это была одна из тех книг, которые ты начинаешь читать в юности и заканчиваешь в доме престарелых на соседней койке с другом Либора, великим знатоком иврита.

— По мне, ты и так достаточно хорош, — сказала она. — Мне нравится эта твоя растерянность. Но ты же сам все время твердил, что хочешь учиться.

— Тебе правда нравится моя растерянность?

— Я ее просто обожаю.

— А как насчет того, что я необрезанный?

К этой теме они возвращались неоднократно.

— Сколько раз тебе повторять: для меня это не суть важно.

— Зато для меня это очень чувствительный вопрос. В буквальном смысле чувствительный.

Он предложил обратиться к какому-нибудь специалисту. Никогда не поздно это сделать. Она была решительно против.

— Это будет нелепо, — сказала она.

— А если мы заведем сына?

— Мы не собираемся заводить сына.

— Ну а если?

— Это будет совсем другое дело.

— Ага, значит, что хорошо для него, для меня не годится. В этом доме существуют двойные стандарты возмужания.

— При чем тут возмужание?

— Как раз это я и пытаюсь выяснить.

— Знаешь что, обратись-ка ты к более авторитетным источникам. Почитай того же Маймонида.

Он долго не решался взяться за Маймонида, предвидя печальный конфуз, неизменно поджидавший его при чтении любого философского труда. Сколько раз он, бывало, плескался в прозрачных и ясных водах вступительных рассуждений автора, а через несколько страниц ясный свет вдруг начинал меркнуть, воды темнели — и вот уже он тонул в мутном болоте непонимания. Но с Маймонидом все вышло иначе. Маймонид вообще обходился без прозрачной воды, и Треслав ухнул в болото с первых же прочитанных фраз.

«Люди полагали, — писал Маймонид, — что слово *zelem* на еврейском языке указывает на конфигурацию вещи и ее очертания, и привело их это к полнейшему соматизму из-за Его рече-

ния: „Сделаем человека по образу Нашему и по подобию Нашему“ *(Быт. 1: 26).* И они подумали, что Бог обладает человеческой формой, то есть конфигурацией и очертаниями, что и заставило их сделать вывод о полнейшем соматизме, — и они уверовали в Него».[102]

Прежде чем двигаться дальше, вглубь текста, Треслав решил досконально разобраться с описанием Божественной внешности (или ее отсутствия) и уточнить смысл слова *zelem* — тут он пошел по пути всех мистиков и мечтателей. Разумеется, это слово буквально означало то, что сказал Маймонид: очертания, образ. Однако для Треслава оно прозвучало как странное магическое заклинание, и он не смог так легко пройти мимо. Посему он решил выяснить, кто эти «люди», чье мнение оспаривал Маймонид, — ибо надо же узнать масштабы собственной растерянности, прежде чем прибегнуть к услугам путеводителя, — и в следующий миг окунулся в море сносок, комментариев к этим сноскам и примечаний к этим комментариям, восходящих к самому началу времен, так что стало уже совсем непонятно, кто с кем и почему спорит.

---

[102] Примечания: 102
Перевод М. Шнейдера.

Если человек и был создан в соответствии с *zelem* Бога, то Создатель, похоже, и сам не очень ясно представлял себе, что такое *zelem*.

«Эта религия слишком стара для меня», — подумал Треслав. Он ощущал себя малым дитем, заблудившимся в темном лесу дремучих мыслей.

Хепзиба заметила, что он впал в уныние, и поначалу приписала это отсутствию настоящей работы.

— Еще несколько месяцев, и мы откроемся, — пообещала она.

В чем конкретно будут заключаться обязанности Треслава после открытия музея, до сих пор не обсуждалось. Иногда он видел себя в роли этакого англо-еврейского мэтра от культуры, который будет встречать гостей у входа, направлять их к экспонатам, давать необходимые пояснения и олицетворять собой тот дух взаимовыгодного культурного обмена и просвещения, ради которого этот музей и был создан. Не исключено, что Хепзиба видела его примерно в той же роли.

Вопрос о будущем Треслава — в профессиональном, религиозном и семейном плане — все еще ожидал решения.

— Между вами все хорошо? — незадолго до того

поинтересовался Либор у своей правнучатой племянницы.

— Все отлично, — ответила та. — Думаю, он меня любит.

— А ты?

— И я его. Он нуждается в заботе, и я тоже.

— Очень рад за вас обоих. Желаю счастья.

— Нам бы хоть половину того счастья, что было у тебя и тети Малки.

Либор похлопал ее по руке и больше ничего не сказал.

Хепзиба беспокоилась за Либора. Для нее вообще было характерно беспокойство за мужчин, как заметил Треслав еще в тот день, когда она помогла ему с Четырьмя вопросами. Вот еще одна черта финклерских женщин, которая ему нравилась: они знали, что мужчины внутренне хрупки и нуждаются в поддержке. Правда, он не был уверен, касалось ли это всех мужчин или только финклеров. Но ему это шло на пользу в любом случае. Заметив подавленное состояние Треслава, она спешила заключить его в объятия (случайные царапины от перстней — пустяк) и укутывала его своими шалями. От него не ускользнула символичность этого жеста. Когда его родная мама видела его удрученным, она лас-

ково трепала его по щеке и давала ему апельсин. Нет, не материнской любви ему всегда не хватало — ему не хватало материнских объятий. Только под руками и шалями Хепзибы он находил истинное успокоение. Нигде он не чувствовал себя так хорошо, как внутри ее — не в эротическом смысле, хотя элемент эротики присутствовал и в этих объятиях.

— Ты еще не передумал? — спросила она однажды, заметив его отсутствующий вид.

— Насчет нас с тобой — нисколько.

— Тогда насчет чего?

— Да так. Уж очень тяжелая у вас религия.

— Тяжелая? Прежде ты говорил, что мы полны любви.

— Тяжелая для осмысления. Вы все время уходите в метафизику.

— И я тоже?

— Я не о тебе лично, а о вашей вере. У меня от нее котелок выкипает, как говорит в таких случаях один из моих сыновей.

— Это потому, что ты упорно пытаешься ее *понять*. А ты попробуй просто *жить* с ней.

— Но я не понимаю, как с ней жить.

— И Маймонид не помог?

Он высунул лицо из складок шали и сказал с

усталым вздохом:

— Никто ведь и не обещал, что выведение человека из растерянности будет легким процессом.

На самом деле он боялся, что эта задача окажется ему не по силам. Ему было жаль Хепзибу, которая в него поверила, тогда как он, быть может, выдает себя за кого-то, кем он никогда не станет. Возникала опасность возвращения на круги своя, к прежней схеме видений: Хепзиба умирает у него на руках, пока он говорит ей о своей великой любви. Пуччини и Верди звучали в его голове даже в те часы, когда он мучительно продирался сквозь Маймонидовы рассуждения. Как следствие, «Путеводитель растерянных» превращался в романтическую оперу с традиционным для таких опер финалом: Треслав горько рыдает, оставшись на сцене в одиночестве. Только теперь он рыдает по-еврейски.

Если, конечно, у него получатся еврейские рыдания.

Он тупо ковылял от главы к главе. «О четырехбуквенном имени Бога», «Об именах из двенадцати и сорока двух букв», «Семь философских доказательств вечности мира», «Анализ рассказа о Сотворении в „Пиркей де-Рабби Элиэзер“».

Но вот он встретил в тексте слово «обрезание»

и сразу оживился.

«Касательно обрезания, — писал Маймонид, — я полагаю так, что одной из целей этого является сокращение числа соитий».

Он перечитал эту фразу еще раз. И еще раз. И… но, пожалуй, не стоит перечислять все разы. Каждое предложение Маймонида он перечитывал как минимум трижды, чтобы лучше уяснить смысл. Однако в данном случае дело было не в трудности понимания. Моисей Маймонид сообщал ему воистину поразительные вещи. По Маймониду, обрезание «умеряет чрезмерную похоть», «снижает половую возбудимость» и «зачастую уменьшает естественное удовольствие».

Подобные утверждения заслуживали того, чтобы перечитывать их многократно. Они помогали ему понять истинную сущность финклеров и их действительные стремления.

Среди множества мыслей, наводнивших голову Треслава, была и такая: не значит ли это, что он, Треслав, всегда получал больше удовольствия от секса, чем финклеры — чем Сэм Финклер? В школе Финклер хвастался своим обрезанием. «С такой штукой ты можешь наяривать до бесконечности», — говорил он. Тогда же Треслав ознакомился с нужной литературой и возразил, что Финклер

лишился своей самой чувствительной части. И теперь Моисей Маймонид недвусмысленно поддержал мнение Треслава. Более того, Финклер не просто лишился самой чувствительной части — эта часть была изъята у него именно с той целью, чтобы он никогда не смог почувствовать того, что чувствовал Треслав.

Он вспомнил о Тайлер, бедняжке Тайлер, — выходит, он смог насладиться ею в большей мере, чем Сэм Финклер? Несомненно. И все потому, что он имел крайнюю плоть.

Однако значило ли это, что *она* получала с ним больше удовольствия, чем с Финклером? В ту пору он так не думал, помня давние слова Сэма: «Ни одна женщина не захочет притронуться к твоему стручку». Нежелание Тайлер повернуться лицом к нему во время любовных утех как будто подтверждало эти слова. Ну а вдруг то было не нежелание, а что-то вроде священного трепета? Может, она просто не решалась взглянуть на то, что доставляло ей столько наслаждения? Ведь большему удовольствию, получаемому им, по идее, должно соответствовать и большее удовольствие, получаемое ею. По той же идее, если обрезание «снижает половую возбудимость», то это должно распространяться на обоих партне-

ров. «Умерив чрезмерную похоть» в мужчине, оно умерит ее и в женщине, разве не так? Иначе зачем побуждать мужчину к «сокращению числа соитий», если женщина будет хотеть секса так же часто, как прежде?

Далее Маймонид утверждал, что женщине, переспавшей с необрезанным мужчиной, потом будет трудно с ним расстаться. Женщинам, переспавшим с Треславом, это было совсем не трудно, но тому могли найтись другие причины. А в начале каждой связи все шло как по маслу. «Ты ошибаешься, если думаешь, что я позволю тебе трахнуть меня на первом же свидании», — говорили они ему и позволяли трахать себя на первом же свидании. Возникавшие позднее проблемы были связаны с чем-то иным — скорее всего, с чем-то в его характере, — но не с его крайней плотью.

Треслав вдруг обнаружил в себе тайное могущество, о котором ранее не подозревал. Он был *необрезанным.* Необрезанным, с которым трудно расстаться женщинам.

Может, Маймонид имел в виду физическое разделение, когда необрезанный сильнее сцепляется с женщиной во время соития, как это бывает у собак? Или эмоциональное — когда ничем не

умеряемая похоть необрезанного передается его партнерше?

Подумав, он решил, что Маймонид имел в виду и то и другое. В конце концов он сам *необрезанный*, так что ему лучше знать.

Оглядываясь в прошлое, он заново влюбился в Тайлер, теперь уже уверенный, что она любила его гораздо сильнее, чем была готова признать. И она боялась смотреть на то, что пробуждало в ней столь великую страсть.

Бедная Тайлер. Она была без ума от него. Или, по крайней мере, без ума от его члена.

И бедный Треслав, в то время не обладавший этим сокровенным знанием.

Если б он только знал!

Ну а если бы знал, то что? Он не мог представить, что было бы тогда. Просто: если бы знал!

Но с этим открытием были связаны не только сожаления об упущенном. Было также волнительное осознание своего эротического могущества. Хепзибе повезло, это факт.

Если, конечно, ее однажды не утомит и не отвратит его ничем не умеряемая похоть. В таком случае она может потребовать его обрезания под этнорелигиозным предлогом.

3

Треслав позвонил Финклеру:

— Ты читал Моисея Маймонида?

— И это причина твоего звонка?

— Ну, еще я хотел узнать, как у тебя дела.

— Спасибо, бывало и получше.

— А что с Маймонидом?

— Полагаю, и у него бывало получше. Читал ли я его? Само собой. Это один из источников моего вдохновения.

— Я не знал, что ты вдохновляешься еврейскими мыслителями.

— Ты ошибался. Он учит, как сделать мудреную мысль понятной для широкого круга. Он всегда сообщает больше, чем это кажется на первый взгляд. Мы действуем в одном ключе, он и я.

«Ну да, конечно, — подумал Треслав. — Достаточно сравнить его „Путеводитель растерянных“ и твой „Дунс Скот[103] и самоуважение: пособие для менструирующих“».

Но вслух он сказал:

---

[103] Примечания: 103

Иоанн Дунс Скот (ок. 1266–1308) — один из самых влиятельных богословов Средневековья, обосновавший доктрину Непорочного зачатия Девы Марии.

— Что ты скажешь о его мыслях относительно обрезания?

Финклер рассмеялся:

— С этого бы и начинал, Джулиан. Что, Хепзиба настаивает на твоем обрезании? Я не буду становиться у нее на пути. Хотя, на мой взгляд, ты чуток староват для этой операции. Насколько помню, Маймонид категорически не советовал делать ее позднее восьмого дня жизни.

— Хепзиба вовсе не хочет, чтобы я это делал. Она любит меня таким, какой я есть. Тем более что, по Маймониду, обрезание ведет к сокращению числа соитий. Я же себя не ограничиваю.

— Рад это слышать. Только я не совсем понял, речь о Маймониде или о тебе?

— Речь не обо мне. Я просто хочу знать, что думает о теории Маймонида философ, действующий в одном ключе с ним.

— Может ли обрезание быть ограничителем секса? Да, если считать, что оно вызывает подсознательный страх, в том числе и перед сексом.

— А раньше ты утверждал, что оно позволяет трахаться до бесконечности.

— Я так утверждал? Это, наверное, было очень давно. Но если ты думаешь, что обрезание используется евреями прежде всего как средство

подавления сексуальной активности, ты ошибаешься. Исторически оно связано с сексом не более, чем любой другой обряд инициации. Многие народы, помимо евреев, практикуют обрезание. Что тут действительно еврейского, так это трактовка обычая в стиле Маймонида. Живя в суровом Средневековье, он хотел бы видеть евреев более сдержанными в своих плотских желаниях и потому приписал обрезанию ограничительные функции. Но лично для меня оно никогда не выступало ограничителем.

— Никогда?

— По крайней мере, я такого не припоминаю. А я вряд ли такое забыл бы. Но я знаю людей, которые сделали обратную операцию, посчитав, что обрезание лишает их полноценного сексуального удовольствия.

— А это можно восстановить?

— Кое-кто считает, что можно. Почитай, к примеру, блог Элвина Полякова. Если хочешь, могу познакомить с ним лично. Он чертовски любезен и разговорчив, но говорить может только об этом и ни о чем другом. Он даже продемонстрирует тебе свой член, если хорошенько попросишь. Теперь он, как минимум, на полпути к превращению из еврея в гоя.

— Я полагаю, это один из ваших СТЫДящихся?

— Правильно полагаешь. Стыдиться сильнее, чем он, просто невозможно.

— А ты своего члена не стыдишься?

— По-твоему, должен?

— Я просто спросил. В школе ты был очень горд своим обрезанием.

— Должно быть, я хотел тебя поддразнить. Сейчас я просто ношу его в штанах. Я вдовец, Джулиан, и мысль о том, обрезан я или нет, не является для меня приоритетной.

— Извини.

— Не извиняйся. Я рад, что твоя жизнь стала такой членоцентричной.

— Я только пытаюсь рассуждать философски, Сэм.

— Понимаю, Джулиан. Другого от тебя и не ждал.

Прежде чем положить трубку, Треслав задач еще один вопрос:

— Кстати, а твоим сыновьям делали обрезание?

— Спроси у них сам, — сказал Финклер и отключился.

Разговор на ту же тему с Либором получился более интересным.

Опасения Либора, что они станут реже видеться после переезда Треслава к Хепзибе, не оправдались. Все перемены зависели только от самого Либора. Он теперь нечасто предпринимал пешие прогулки, но вместо этого завел обыкновение, вызвав такси, посещать дом Хепзибы среди дня, когда сама она находилась в музее. Вдвоем с Треславом они пили чай на кухне, где витал дух хозяйки, использующей чертову дюжину огромных бурлящих котлов для приготовления одного вареного яйца. Оба любителя домашнего очага ощущали это незримое присутствие и переглядывались с понимающими улыбками.

Либор теперь пользовался тростью.

— Дошло и до этого, — сказал он.

— Тебе она к лицу, — заверил его Треслав. — Напоминает о старой Богемии. Только надо раздобыть трость со спрятанным внутри клинком.

— Чтобы отбиваться от антисемитов?

— Тебе-то зачем? Это на меня они напали.

— Ну тогда ты и заводи такую трость.

— Кстати, раз уж мы вспомнили о клинках, как ты относишься к обрезанию?

— Без восторга, — сказал Либор.

— Оно когда-нибудь было для тебя проблемой?

— Оно стало бы проблемой для меня, будь оно проблемой для Малки. Но Малки ничего такого не говорила ни разу.

— И оно не мешало тебе получать удовольствие от секса?

— Я думаю, мне, скорее, мешало бы то, что осталось не отрезанным у тебя. Не пойми превратно — уверен, ты с этим смотришься лучшим образом, а вот я бы смотрелся гораздо хуже. Так что с эстетической точки зрения я не в претензии. Я выгляжу так, как должен. Мы ведь говорим об эстетике?

— Не совсем. Я недавно прочел, что обрезание снижает сексуальную активность, и хочу знать твое мнение.

— Думаю, оно наверняка снизит *твою* активность, если ты сделаешь его в таком возрасте. Что до меня, то я не могу пожаловаться. Честно говоря, мне моей активности было достаточно — и даже более чем. Такой ответ тебя устроит?

— В общих чертах.

— Только в общих чертах? — Он взглянул на Треслава, который в свою очередь пристально смотрел на него. — Я знаю, о чем ты думаешь.

— И о чем же?

— Ты думаешь, что я уж очень активно возра-

жаю. По-твоему, будь я необрезанным, мне было бы труднее устоять перед Марлен Дитрих. Ты считаешь, что от чар этой арийки меня уберег не только Божий промысел, но и кое-что более приземленное.

— Ты любил рассказывать, как чудом сохранил супружескую верность, несмотря на искушения, какие и не снились большинству других мужчин…

— И ты хочешь спросить: не помогло ли мне в этом отсутствие крайней плоти?

— Я не стал бы формулировать это так прямолинейно.

— Считай, что сформулировал.

— Извини.

Либор откинулся на спинку стула и поскреб лысый череп. Печальная улыбка — отблеск давних воспоминаний — осветила его лицо.

— По правде говоря, это *мне* следует извиниться, — сказал он. — Возможно, я слишком старался произвести благоприятное впечатление, а ты слишком поспешно принимал мои слова на веру. Я попрошу тебя об одной услуге: когда я покину этот мир, помяни меня в прощальном слове как любящего мужа, но при этом не делай упор на мою супружескую верность. Оставь на моей сове-

сти хоть один грешок.

— Что касается грешков, — сказал Либор уже перед уходом, давая понять, что его серьезно волнует эта тема. — Я прошу не только за себя, но и за Малки.

Треслав покраснел:

— Ты хочешь сказать, что Малки…

— Нет, ничего такого я за ней не замечал, да и не хотел замечать. Я говорю о защите ее репутации: женщина не должна провести всю жизнь в идеальном браке с безупречно верным супругом.

— Почему нет?

— Потому что в этом есть нечто для нее унизительное.

Треслав покраснел снова.

— Я не понимаю, Либор, — сказал он.

Либор поцеловал его в щеку и больше ничего не сказал. Но Треслав угадал в этом молчании его ответ: «Ты не понимаешь потому, что ты не один из нас».

4

Как правило, по возвращении домой Хепзиба сразу принимала душ. В музее продолжались отделочные работы, и она не могла расслабиться,

пока не смоет с себя строительную пыль и грязь. С порога возвестив Треславу о своем прибытии, она просила его наполнить пару бокалов вина — ей нравилось само это действо, хотя потом она редко выпивала хотя бы каплю, — или же присоединиться к ней в ванной, если он в этот вечер ощущал себя скорее Приапом,[104] нежели Бахусом.

Вообще-то, она предпочитала принимать душ в одиночку, тем более что для второго человека там оставалось очень мало места. Однако у нее хватало такта не остужать пыл Треслава, а иногда ей приходился очень кстати массаж, который он делал, убедившись, что сейчас она не хочет ничего больше.

— Ах, до чего хорошо! — приговаривала она, когда его руки массировали ее спину под струей горячей воды.

Она как-то по-особенному произносила слово «хорошо» применительно к его действиям и словам — «Вот и хорошо», «Это ты хорошо придумал», «Как хорошо получилось», — отчего у Треслава возникало ощущение, что он, как мужчина, обрел свое место в жизни.

---

[104] Примечания: 104

Античный бог плодородия, бывший также олицетворением необузданной похоти.

Как мужчина?

Что ж, он не сильно удивился бы, услышав и такое: «А кто у нас тут хороший мальчик?» С таким риторическим вопросом обращаются к маленьким детям и домашним животным. Он не строил иллюзий на свой счет. Здесь всем заправляла она, и его вполне удовлетворяло такое положение вещей. При этом он глядел на нее снизу вверх не только как ребенок на мать или как пес на хозяйку — он видел в ней (хоть и старался не давать волю фантазиям) некую еврейскую созидательную силу — самого Создателя, если угодно. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо».[105]

Именно такое «хорошо» слышалось ему, когда Хепзиба его хвалила. Это было больше, чем просто одобрение, — в ее устах это слово означало сообразность, гармонию, идеальную завершенность.

«Хорошо» в ее устах означало абсолютную правильность мироустройства.

Раньше он был хроническим неудачником, теперь же все у него складывалось превосходно. Все было в лучшем виде. Он был хорошим мужчиной, который жил в хорошем мире. И рядом с

---

[105] Примечания: 105
Быт. 1:10.

ним была хорошая женщина.

И все хорошее, что с ней связывалось, продолжало меняться и дополняться, пока он оставался с ней. Сначала он посчитал это еще одной сугубо финклерской чертой. Он назвал это «плодовитостью», но не в смысле рождения потомства, а в смысле изобилия образуемых родственных связей и дружеских уз, богатства прошлого и будущего. Одинокий Треслав чувствовал себя мелким астероидом, бесцельно блуждающим во Вселенной. С Хепзибой он обрел свою планету, свою финклерскую планету. Он нашел свое место на ее орбите.

Впрочем, он не был уверен, что все это напрямую связано с финклерством. А раз не уверен, лучше на финклерство и не ссылаться. Лучше сказать так: она была важна для него *по-человечески*, что бы под этим ни подразумевалось. И он ее обожествил. Она не сияла для него, подобно солнцу; она *была* его солнцем.

И пусть говорят, что он не еврей.

Однажды вечером она пришла домой, села за кухонный стол и не только попросила налить ей вина, но и выпила это вино залпом. А потом из глаз ее хлынули слезы.

Треслав попытался ее обнять, но она останови-

ла его жестом.

— О боже, что с тобой? — спросил он растерянно.

Она закрыла лицо руками; плечи ее тряслись, но он не мог разобрать, от рыданий или от смеха.

— Хеп, да что с тобой? — допытывался он.

Когда она отняла ладони от лица, это не прояснило картины. Треслав по-прежнему гадал, что случилось — то ли что-то воистину ужасное, то ли что-то неимоверно смешное.

Наконец она овладела собой, попросила налить еще бокал, что его всерьез обеспокоило: два полных бокала вина были годовой нормой для Хепзибы, — и начала рассказ:

— Помнишь ту дубовую дверь, что недавно навесили в музее? Хотя, возможно, ты ее не видел. Это двустворчатая дверь бокового входа — с той стороны, где будет твоя любимая беседка для чаепитий. Я как-то показывала тебе фото медных ручек в форме шофаров — бараньих рогов, — которые мы для этой двери заказали. Вспомнил? Так вот, — только не пугайся — дверь и ручки осквернили. Это случилось во второй половине дня, когда я работала внутри здания с архитектором, потому что в обеденный перерыв все было

нормально. А уже перед уходом я обнаружила *это.* И каким же надо быть ублюдком, чтобы вытворять такое!

Треслав сразу подумал о свастиках. Он читал, что в последнее время свастики все чаще появляются то тут, то там. Он говорил об этом Финклеру, но Финклер в ответ попросил не беспокоить его, пока евреев не начнут открыто резать на улицах. Гребаные свастики!

— Чем их нарисовали? — спросил он. — Краской?

Он боялся услышать, что свастики были нарисованы кровью. Для этих целей все чаще использовалась кровь или фекалии. Иногда сперма. Ранее Хепзиба уже получала пару таких посланий в кроваво-фекальном исполнении.

— Подожди, дай мне закончить.

— Ну так не тяни.

— Это был бекон.

— Что?

— Это был бекон. Они… я полагаю, работал не одиночка… они обмотали дверные ручки ломтями бекона. Израсходовали две или три упаковки — в общем, не поскупились.

И она вновь закрыла лицо руками.

— Ужасно, — сказал он. — Какая гнусность!

Хепзибу начало трясти, и он поспешил ее обнять.

— Что за подонки! — сказал он гневно. — Так бы взял и прибил их на месте!

И только тут он понял, что она трясется от сдерживаемого хохота.

— Да ведь это всего лишь бекон, — сказала она.

— Всего лишь бекон? Всего лишь?

— Я не говорю, что это милая шутка. Ты прав, это гнусность. И замысел был гнусный. А получилось убого и глупо. Неужто они рассчитывали, что мы сразу соберем вещички и сбежим из особняка? Что мы свернем планы по устройству музея из-за нескольких ломтиков бекона? Что мы в панике покинем эту страну? Это же абсурд. Надо видеть в этом смешную сторону.

Треслав попытался увидеть смешную сторону.

— Пожалуй, ты права, это смехотворно, — сказал он и для убедительности выдавил смешок.

Хепзиба утерла слезы.

— С другой стороны, — сказала она, — это заставляет задуматься о происходящем в стране. Когда читаешь о таких же выходках в Берлине двадцатых, невольно думаешь: «Почему они тогда не распознали угрозу и не сбежали из Германии, пока это было возможно?»

— Наверное, они тоже старались увидеть в этом смешную сторону, — предположил Треслав.

Он снова помрачнел. Хепзиба вздохнула.

— И это происходит в Сент-Джонс-Вуде, — сказала она. — Не где-нибудь, а прямо здесь.

— От них нигде не укроешься, — сказал Треслав, вспоминая, как с ним обошлись чуть ли не на пороге Дома вещания. «Ах ты, жид!»

Оба замолчали, воображая орды антисемитов, бесчинствующие на улицах лондонского Вест-Энда.

Потом Хепзиба начала громко смеяться. Она представила себе, как вандалы старательно обертывают жирными ломтями дверные ручки и запихивают кусочки сала в замочные скважины (об этой детали она забыла сказать Треславу). А перед тем они заходят в ближайший универмаг за «боеприпасами», расплачиваются в кассе, возможно используя дисконтную карточку, и скрытно, как партизаны, с беконом наперевес подбираются к Музею англо-еврейской культуры, на здании которого еще нет вывески, так что его даже нельзя считать существующим.

— Дело не только в их преувеличенном представлении о нашем страхе перед свининой, — сказана она, отсмеявшись. — Они наверняка не

знают, как я люблю сэндвичи с беконом. Но дело еще и в их преувеличенном представлении о нашей вездесущности. Они находят нас даже раньше, чем мы сами находим себя. От них нигде не укроешься как раз потому, что *им* — так они думают — негде укрыться от нас.

Треславу было трудно угнаться за переменами ее настроения. Постепенно он понял, что она не то чтобы переходит от страха к веселью и наоборот — она испытывает оба этих чувства одновременно. Тут не требовалось примирения противоположностей, так как страх и веселье в ее понимании не противопоставлялись, а естественно дополняли друг друга.

У Треслава так не получалось. Он не обладал нужной эмоциональной гибкостью. И он не был уверен в том, что хочет ею обладать. Ему виделся в этом элемент безответственности и даже кощунства — как если бы он вдруг расхохотался в ту минуту, когда Виолетта испускает дух на руках у Альфредо. Он попытался представить себе такую ситуацию, но не смог.

В очередной раз за последние дни он чувствовал себя провалившим экзамен.

Глава 9

1

Мозг Либора начал разрушаться. Он сам поставил себе такой диагноз.

В первые месяцы после смерти Малки каждое утро для него начиналось с горького разочарования. Он просыпался с надеждой обнаружить ее в квартире. Ему казалось, что простыни на ее стороне постели смяты, как будто она только что встала и вышла из спальни. Он звал ее. Он открывал платяной шкаф и изучал его содержимое, представляя, что помогает ей выбрать наряд на сегодня. Сделав выбор, он мысленно видел свою жену в этом наряде и ждал — а вдруг она в нем материализуется?

Все его воспоминания в эти месяцы были исполнены боли, но притом сладостны. Теперь же он начал вспоминать другое, и боль стала почти невыносимой. Он вспоминал все неприятности, с ними случавшиеся, все размолвки между ними и все досадные последствия их поступков. Он раздражал ее родителей. Он помешал ее музыкальной карьере. Им не удавалось завести детей, но в

первое время их это мало заботило, пока у Малки не случился выкидыш, который оказался тяжким ударом для обоих именно потому, что прежде их это так мало заботило. Она отказывалась ездить с ним в Голливуд, поскольку не любила самолеты и не стремилась заводить новые знакомства. Она говорила, что он — это единственная компания, в которой она нуждается. Ее интересовал только он. И теперь он думал, что эти его поездки были совсем не нужны, доставляя только мучения им обоим. Без нее он чувствовал себя очень одиноким. Он подвергался искушениям, которые преодолел бы без особого труда, будь она с ним. А возвращаясь, он изо всех сил старался оправдать ее ожидания как путешественник, привезший массу интересных историй, и как любящий муж, который не растратил пыл на чужбине и ни в чем не подвел ее любовь и ее веру в него.

Ни одна из этих мыслей не несла негатива в отношении Малки, однако они изменили атмосферу его воспоминаний, как будто сияющий ореол — нет, не исчез, но заметно потускнел. Может, оно и к лучшему, думал он. Таким образом сама природа нашего мышления помогала ему пережить утрату. Вот только хотел ли он пережить ее таким образом? Да и кто она такая, эта

природа, чтобы решать за него?

Хуже всего были воспоминания о некоторых вещах, омрачавших их жизнь независимо от того, знали они об этом тогда или нет. Его собственные родители в подобных случаях употребляли выражение на идише, которое в ту пору казалось ему просто синонимом слов «давным-давно»: *ale shvartse yorn* — буквально «все эти черные годы». Но все эти черные годы были не их — его и Малки — годами. Эти годы омрачались антимифами о их любви, которые создавали чудовища, стремившиеся доказать, что их жизнь была совсем не раем, а чем-то гораздо более напоминавшим ад.

Родители Малки, гортанно-горластые Гофманстали, были немецкими евреями и владельцами недвижимости, которую они сдавали внаем. С точки зрения Либора, смотревшего на все через призму чехословацкой трагедии, это была наихудшая разновидность евреев. Гофманстали, в свою очередь, были настолько разгневаны выбором своей дочери, что едва от нее не отреклись. Они третировали Либора так, словно он был грязью под их ногами; они не пришли на их свадьбу и впоследствии требовали, чтобы Либор не допускался на любые семейные мероприятия, включая их собственные похороны.

— Они, наверное, думают, что я стану плясать на их могилах, — сказал он Малки, узнав об этом.

И кстати, они не зря беспокоились. Он бы охотно сплясал.

В чем же были его недостатки и прегрешения? В том, что он был беден. В том, что он был журналистом. В том, что он был Шевчиком, а не Гофмансталем — чешским, а не немецким евреем.

Они не могли совершенно отречься от дочери. Им нужно было кому-то оставить в наследство свою недвижимость. И они оставили Малки эту недвижимость: небольшой меблированный дом в Уиллесдене.[106] Черт побери — Уиллесден! По той важности, с какой они держались, их можно было счесть представителями высшей аристократии, а в действительности они владели какой-то развалюхой на пролетарской окраине Лондона.

— Как все-таки хорошо, что я еврей, — сказал он жене, — иначе твоя родня точно сделала бы меня фашистом.

— Может, они относились бы к тебе лучше, не будь ты евреем, — сказала Малки, подразу-

---

[106] Примечания: 106

Рабочий район на северо-западе Лондона, населенный в основном выходцами из Ирландии и с островов Карибского бассейна.

мевая: имей он вместо безденежного еврейства приличное состояние или будь он знаменитым музыкантом.

— А что имел Горовиц? Дачу под Киевом?

— Он имел славу, мой милый.

— Я тоже прославился.

— Это не тот вид славы. А когда мы поженились, у тебя и такой не было.

Как бы сильно он ни презирал ее немецко-еврейских родителей, еще большее презрение у него вызвали квартиросъемщики в доме, владельцами которого неожиданно стали они с Малки. Это была коллекция из всех видов жуликов, симулянтов, нытиков и воришек, известных в природе. Эти арендаторы, которым лично он не рискнул бы доверить никакое жилье лучше картонной коробки, знали назубок каждую буковку закона, могущую сработать им на пользу, и напрочь игнорировали все законы, идущие вразрез с их интересами. Они загрязняли и отравляли своим присутствием жилое пространство, а покидая его, уносили с собой любую мелочь, какую только было можно украсть, вплоть до дверных ручек, защелок, выключателей и лампочек.

Он советовал Малки поскорее избавиться от этой горе-недвижимости, не стоившей затра-

ченных на нее сил и нервов, но для Малки дом был связан с памятью о родителях. После бегства из Германии те заново устроили свою жизнь в Лондоне, и теперь продажа уиллесденского дома означала бы повторное «обнуление» их семейной истории. «Грязная жидовская сквалыга» — так называли Малки арендаторы, когда она не поддавалась на их уловки и угрозы. Насчет «грязной» они были правы, ибо невозможно не замараться, имея дело с такой публикой.

Либор, при всей его любви к Англии, думал об этих людях как о мерзких паразитах, вполне допуская, что насекомые-паразиты с большей заботой относятся к месту своего обитания. Сейчас, оглядываясь назад, он был готов увязать эти арендаторские проблемы с болезнью Малки, хотя она уже много лет назад прислушалась к его советам и сбыла с рук этот гадюшник. Как они смели бросать подобные слова в лицо женщине, притом еще хрупкой и болезненной! Как ужасно, что ей в такое время пришлось иметь дело с человеческими существами в их самом отвратительном виде! Все эти черные годы. Да, они были счастливой парой. Они любили друг друга. Но если они думали избежать заразы и скверны окружающего мира, они обманывали самих себя.

Это было все равно что видеть черных пауков, ползающих по телу его прекрасной Малки там, в глубине, под слоем могильной земли.

Он позвонил Эмми и пригласил ее позавтракать. Она была удивлена:

— Почему именно завтрак, а не обед или ужин?

— Потому что по утрам я в особенно мрачном настроении, — пояснил он.

— А мне от этого какая выгода?

— Никакой, — сказал он. — Вся выгода мне одному.

Она засмеялась и дала согласие.

Они встретились в «Рице». Ради нее Либор принарядился — точь-в-точь Дэвид Найвен, если не считать обреченной улыбки, как у Дубчека[107] на исходе Пражской весны.

— Уж не хочешь ли ты здесь же возобновить ухаживания? — спросила она.

Собственно, почему и нет? Она была элегантной женщиной с красивыми ногами, а у Либора уже не осталось обетов и воспоминаний, которые

---

[107] Примечания: 107

Дубчек Александр (1921–1992) — первый секретарь компартии Чехословакии с января 1968 г. по апрель 1969 г., фактически отстраненный от руководства после подавления реформаторской Пражской весны в августе 1968 г.

могли бы ему помешать. Его прошлым завладели черные пауки. Что его озадачило, так это слова «здесь же возобновить» в ее вопросе.

— Именно сюда ты приводил меня в прошлый раз, — сказала она.

— На завтрак?

— Сначала была постель, потом завтрак. Похоже, ты этого не помнишь.

Либор принес извинения, в самый последний момент отказавшись от фразы «ускользнуло из памяти», ибо счел ее неуместной в данной ситуации — как будто память его была чем-то вроде тюрьмы, где содержатся под замком и откуда пытаются ускользнуть светлые воспоминания.

— Тут уже мало что осталось, — коротко пояснил он, прикоснувшись пальцем к своей голове.

Неужели он водил ее сюда прежде? Посещения «Рица» были ему не по средствам в те нищие годы, еще до знакомства с Малки. Впрочем, она могла иметь в виду какую-то более позднюю встречу. Но тогда… тогда пусть лучше это останется забытым.

Однако странно: как он мог такое забыть?

Она дала ему время подумать — проследить ход его мыслей было нетрудно, — а затем спросила, как продвигается курс психотерапии.

Психотерапия? На сей раз он вспомнил, о чем речь, хоть и не сразу.

— Совсем пусто, — сказал он, снова прикасаясь к голове. — Я попросил тебя прийти, — продолжил он сразу, не дожидаясь новых вопросов, — во-первых, потому, что я очень одинок и хотел пообщаться с красивой женщиной, а во-вторых, чтобы сказать, что ничего не могу для тебя сделать.

Она не поняла.

— Я ничем не могу помочь твоему внуку, — пояснил он. — Я ничего не могу сделать с тем режиссером-антисемитом. Я вообще ничего не могу сделать.

Она понимающе улыбнулась и скрестила пальцы ухоженных рук. Ее перстни и кольца сверкнули в свете люстр.

— Что ж, если не можешь, я не в претензии.

— Не могу и не хочу, — сказал он.

Она резко отшатнулась, как будто ожидая удара. Русская пара за соседним столиком повернулась в их сторону.

— Не хочешь?

Либор посмотрел на русских. Самодовольный олигарх и крашеная шлюха. Обычное дело — разве русские бывают другими? «Не садись

по соседству со старым пражанином, если ты русский и ты не ищешь проблем», — подумал Либор.

— Не хочу потому, что не вижу в этом смысла, — сказал он, поворачиваясь к Эмми. — Все происходит так, как происходит. Наверное, так оно и *должно* происходить.

Он сам удивился тому, что сказал, как будто эти слова произнес не он, а кто-то другой, но в то же время он хорошо понимал, что имеет в виду этот «другой». Он имел в виду, что до тех пор, пока на свете существуют евреи, подобные родителям Малки, будут существовать и люди, их ненавидящие.

Эмми Оппенштейн встряхнула головой так, будто хотела выбросить из нее все мысли о Либоре.

— Я пойду, — сказала она. — Я не знаю, за что ты хочешь наказать меня — вроде бы не за что, — но я могу понять твое нынешнее состояние. После смерти Тео я так же ненавидела весь окружающий мир.

Она уже поднялась уходить, но Либор ее задержал.

— Пожалуйста, удели мне еще пять минут, — попросил он. — У меня нет к тебе ни капли

ненависти.

Будет забавно, если русские в свою очередь примут его за олигарха, повздорившего с проституткой. И не важно, что обоим за восемьдесят. Что иное способно породить их русское воображение?

Эмми села. Он восхищался ее движениями. Вставая из-за стола, она напоминала верховного судью, удаляющегося из зала заседаний. А сейчас это был судья, вернувшийся в зал для вынесения вердикта.

Но восхищение затронуло лишь ту часть его мозга, которая уже находилась в стадии разрушения.

Он наклонился вперед и взял ее за руки.

— В последнее время я не могу удержаться от недобрых мыслей о моих собратьях-евреях, — сказал он и подождал ее реакции.

Она молчала.

Он предпочел бы увидеть в ее глазах страх или ненависть, но в них было только спокойное ожидание. Или даже и без ожидания — только спокойствие.

— Нет, я вовсе не желаю им зла, — продолжил он. — Я просто плохо о них думаю. И поэтому мне все труднее им сочувствовать. И продолжается

такое уже довольно долго. Как это называют в газетах — «усталость от сострадания»?

Она бросила на него взгляд из-под полуопущенных ресниц, но опять ничего не сказала.

— Хотя «сострадание» — не совсем подходящее слово для того, что я чувствовал раньше. Ты не можешь сострадать самому себе, а я воспринимал страдания моих братьев-евреев как собственные. «Все поколения от Адама…» Мы все восходим к одному отцу. И я *был* сторожем брату своему. Но то было давно — слишком давно и для нас, и для тех, кто нами не является. Здесь надо применить закон о сроках давности. С меня хватит возни вокруг еврейских страданий. Давно пора прекратить болтовню на эту тему, особенно со стороны самих евреев. Проявите хоть капельку порядочности. Если ваше время истекло, надо просто это признать.

Он замолк, словно ожидая от нее признания: «Да, Либор, мое время истекло».

Выдержав долгую паузу, она приглушенным голосом («русские, Либор, эти русские к нам прислушиваются») заговорила:

— Я бы не назвала то, что ты сейчас описал, «недобрыми мыслями». Я боялась услышать от тебя речи в том духе, что евреи получают по заслу-

гам. То есть мой внук сам виноват в том, что его ослепили. Такова логика этого режиссера. Один еврей отобрал землю у палестинца, и за это другой еврей должен быть ослеплен в Лондоне. Что евреи посеяли, то они и пожинают. Но, насколько я поняла, твоя речь не из этой категории.

Теперь уже *она* держала его за руки.

— Родители моей дорогой жены, — сказал он, — в чьих душах наверняка имелись крупицы добра — иначе они бы не произвели на свет такое сокровище, — были по сути своей людьми гнусными и презренными. Я прекрасно знаю, что сделало их такими; более того, я могу вообразить обстоятельства столетней или тысячелетней давности, которые могли бы иным образом сформировать сознание их предков и не зародили бы в них эту гнусность. Но я больше не собираюсь делать скидки на историю и придумывать оправдания. Мне надоело каждый раз убеждать себя, что очередной американский мошенник, приговоренный к ста пожизненным заключениям, только по чистой случайности является евреем. Когда какой-нибудь гадкорожий еврейский деляга похваляется с телеэкрана тем, как ловко и бессовестно он нагреб кучу денег, я не могу убедить самого себя — не говоря уже о других

— в том, что он и ему подобные дельцы лишь по чистой случайности совпадают с архетипом «мерзкого жида», заклейменным в христианской и мусульманской истории. Когда *такие* евреи добиваются высокого положения в обществе, как мы можем ожидать, что наш народ оставят в покое? Если мы сейчас снова скатываемся в Средневековье, так это потому, что к нам вернулся тот самый средневековый жид. А может, он нас и не покидал, как по-твоему, Эмми? Может, он вечен и неистребим, как тараканы?

Она сильнее сжала его пальцы, словно пытаясь выдавить из него эту мучительную мысль, как выдавливают гнойник.

— Вот что я тебе скажу: то, как все это видишь ты, не совпадает с видением неевреев. Я говорю о нормальных, непредвзятых людях, а в основном они такие. Тот гадкорожий еврей — я догадываюсь, о ком ты говоришь, и знаю этот тип дельцов — не так сильно ненавидим неевреями, как его ненавидишь ты. Некоторым он нравится, кое-кто им даже восхищается, а большинству просто нет до него дела. Тебя это, может быть, удивит, но лишь очень немногие распознают «архетипичного жида» при встрече с ним. Большинство и вовсе не замечает, что он еврей, или не придает

никакого значения его еврейскости. Просто они не антисемиты в отличие от тебя. Это *ты* видишь в еврее прежде всего еврея и сразу навешиваешь на него ярлык. Это *твоя* проблема, Либор.

Он добросовестно подумал над ее словами.

— Я бы не так сразу замечал еврея в еврее, — сказал он наконец, — если бы этот еврей не так сразу выказывал свою еврейскую сущность. Обязательно ли ему похваляться богатством, да еще с сигарой в зубах, и фотографироваться на фоне своего «роллс-ройса»?

— Мы не единственные, кто курит сигары, — сказала она.

— Да, но мы единственные, кому не следует этого делать.

— Вот оно что!

В ее словах столь громко прозвучали разоблачительные нотки, что Либору послышалось их повторение, эхом донесшееся со стороны русского и его шлюхи, — как будто даже они теперь поняли, что собой представляет Либор.

— Что значит этот возглас? — спросил он тоже довольно громко, как будто обращаясь не только к Эмми, но и к русским.

— Это значит, что ты раскрыл свои карты. Ты считаешь, что евреям не следует вести себя так,

как могут вести себя другие. Ты подвергаешь евреев сегрегации в своих мыслях. У тебя желтозвездный менталитет, Либор.

— Я уже очень давно живу в Англии, — сказал он, улыбнувшись.

— Я тоже.

Он дал ей возможность вставить это замечание, прежде чем продолжить:

— Надеюсь, ты не обвиняешь меня в отвращении к самому себе как еврею. У меня есть ученый друг, который склонен к этому, но я не имею с ним ничего общего. Меня не раздражает то, что евреи на короткий период возомнили себя вершителями судеб Ближнего Востока. Я не согласен с утверждением, что евреям лучше быть рассеянными по миру и жить под властью других народов. Хотя именно это случится снова, и довольно скоро. И дело тут не в Израиле.

Он не стал растягивать звук «р» и опускать «л». При разговоре с Эмми в этом не было нужды.

— Понятно, — сказала она.

— Напротив, я приветствую Израиль, — продолжил Либор. — Это одна из лучших вещей, которые мы сделали за последние пару тысячелетий, вернее, это *было бы* одним из наших лучших деяний, если бы сионизм не вторгался в сугубо

мирские дела и если бы раввины держались подальше от политики.

— Ну так поезжай туда. Правда, и в Тель-Авиве ты запросто можешь увидеть еврея с сигарой в зубах.

— Я не против того, чтобы они курили сигары в Тель-Авиве. Тель-Авив как раз то место, где им *впору* это делать. Но, как я уже сказал, дело не Израиле. Все это не имеет к нему отношения. Даже когда напрямую ругают Израиль, дело вовсе не в Израиле.

— Пусть так. Но тогда зачем ты его сюда приплел?

— Потому что я не такой, как мой ученый друг, ярый антисионист. Если я плохо думаю о евреях, то исключительно на свой манер и по своим причинам.

— Ты смотришь в прошлое, Либор. А я должна смотреть в будущее. Мне нужно заботиться о внуках.

— Тогда посылай их в воскресную школу или в медресе. Не знаю, как ты, а я уже сыт по горло евреями.

Она покачала головой и поднялась из-за стола. Теперь он не стал ее задерживать.

В последний миг у него мелькнула мысль: а не

пригласить ли ее в верхние комнаты? Досадно не воспользоваться в полной мере услугами «Рица».

Но для всего этого было уже слишком поздно.

2

Однажды вечером, проиграв в онлайн-покер более двух тысяч фунтов, Финклер отправился на поиски проститутки. Возможно, ему магическим образом передались мысли Либора, в тот день сидевшего в ресторане по соседству с одной из них. Эти двое были на самом деле очень близки, хоть и расходились во мнениях практически по всем пунктам.

Финклеру не то чтобы нужен был секс, ему просто нужно было что-нибудь сделать. Будучи рационалистом, избавленным от моральных ограничений, он видел лишь два серьезных аргумента против посещения проституток: трата денег и триппер. Мужчина волен поступать со своим телом, как ему угодно, но при этом он не должен разорять или инфицировать своих близких. Однако, рассуждая философски, если вы только что просадили две тысячи в покер, три лишних сотни за час в объятиях профессиональной красотки не так уж сильно ухудшат баланс. Что до триппера, то у Финклера не осталось таких

близких, которых он мог бы инфицировать.

Но ему следовало учитывать еще одно обстоятельство: многие люди знали его в лицо. Вряд ли кто-то из проституток — его телепрограмма выходила как раз в их рабочее время, — но другие охочие до секс-услуг мужчины вполне могли опознать Финклера, а он не полагался на такую вещь, как «солидарность грешников». Уже через несколько минут в «Фейсбуке» могло появиться сообщение о популярном философе, клеящем телок на панели, — и кому какое дело до того, что сам автор сообщения занимался тем же самым в том же самом месте.

Конечно, можно было пойти в бар одного из отелей на Парк-лейн и там снять женщину с меньшим риском для своей репутации, но ему нравился именно уличный вариант. Блуждание по улицам имитировало бесплодный поиск заветного лица или воспоминания, погоню за вечно ускользающим счастьем в любви. В уличном поиске присутствовала романтика, — правда, не полнокровная романтика, а лишь ее голый скелет. Ты мог проблуждать всю ночь и вернуться домой ни с чем, но при этом все же сказать, что неплохо провел ночь. В случае с Финклером такой исход был даже предпочтительнее, поскольку

он ни разу не встречал проститутку, которая ему бы по-настоящему понравилась. Следовательно, ему нравилось то самое заветное лицо или воспоминание, которое невозможно было найти. Положим, ему было бы труднее сказать «нет» смазливой евреечке с бюстом а-ля ущелье Манавату, чем субтильным белобрысым полячкам, но не факт, что он сказал бы ей «да».

Он посчитал, что подобное отношение к уличному поиску сделает этот вариант достаточно безопасным, — прохожего, с виду столь рассеянного, трудно заподозрить в погоне за сексуальными удовольствиями.

С таким рассеянным видом он и прогуливался, пока чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда его окликнули:

— Сэм! Дядя Сэм!

Самым правильным в данной ситуации было бы проигнорировать оклик и продолжить путь. Но он слишком заметно вздрогнул, услышав свое имя, и, если бы теперь он пошел дальше как ни в чем не бывало, это могло вызвать подозрения. Посему он обернулся и увидел Альфредо, с бутылкой пива стоящего на пятачке перед таверной, чуть в стороне от большой пьяной компании.

— Привет, Альфредо.

— Привет, дядя Сэм. Вы здесь просто так или по делу?

— Скажем так: просто по делу. — Финклер взглянул на часы. — Я должен встретиться со своим продюсером. Уже опаздываю.

— Новый телецикл?

— Да, сейчас в начальной стадии.

— О чем на сей раз?

Финклер взмахнул руками, изобразив в воздухе нечто неопределенно-округлое:

— Спиноза, Гоббс, свобода слова, камеры видеонаблюдения и так далее.

Альфредо снял темные очки, но тут же надел их снова и почесал затылок. Финклер уловил сильный алкогольный выхлоп. Может, Альфредо тоже искал проститутку и таким способом набирался смелости? Если так, он с этим явно перебрал — столько перегарной смелости может отпугнуть любую жрицу любви еще на дальних подступах.

— Хотите знать, что я думаю обо всех этих гребаных видеокамерах, дядя Сэм? — спросил Альфредо.

Финклер терпеть не мог, когда Альфредо называл его «дядей». Нахальный гаденыш. Он снова взглянул на часы:

— Если только в двух словах.

— Я считаю их проклятием, которое мы заслужили. Надеюсь, и сейчас на нас пялится какая-нибудь из этих камер. Мы всегда должны быть в фокусе.

— Почему ты так считаешь?

— Потому что все мы — подлое, лживое, вороватое мудачье.

— Очень суровая оценка. Кто-нибудь обошелся с тобой подобным образом?

— Да. Мой отец.

— Твой отец? И что он тебе сделал?

— Проще сказать, чего он *не* сделал.

Финклеру казалось, что Альфредо в любой момент может упасть — так нетвердо он стоял на ногах.

— А я думал, что ты ладишь со своим отцом. Разве вы не ездили вместе на отдых?

— Это было сто лет назад. И с тех пор я от него не слышал ни слова, а недавно узнал, что он перебрался на квартиру к какой-то женщине.

— Ее зовут Хепзиба. Я удивлен, что он тебе не сообщил. Наверняка он собирался, но затянул с этим делом. Ты упомянул об уличных видеокамерах в том смысле, что они могли бы зафиксировать его переезд и сделать тайное явным?

— Я в том смысле, дядя Сэм, что мой так называемый отец может в какую-то минуту казаться твоим другом, а уже в другую минуту ты для него как бы не существуешь.

Финклер хотел было сказать, что понимает Альфредо, но потом раздумал корчить из себя понимающего псевдопапашу. Пусть Джулиан сам разбирается со своими отпрысками.

— У Джулиана сейчас голова забита множеством разных вещей, — сказал он.

— Насколько я слышал, он сейчас думает совсем не той головкой.

— Мне пора, — сказал Финклер.

— Мне тоже, — сказал Альфредо и кивнул группе молодых людей, как бы говоря: «Сейчас иду».

Двое-трое из этих парней были в завязанных сзади шарфах палестинской — как показалось Финклеру — расцветки, хотя он не мог сказать наверняка: шарфы самых разных расцветок были популярны среди молодежи, и многие завязывали их таким образом. Он подумал: а не было ли в этот день антиизраильского митинга на Трафальгарской площади? Если был, почему его не пригласили выступить?

— Что ж, увидимся, — сказал он Альфредо. — Где ты сейчас играешь?

— И там и сям, везде понемногу. — Он взял Финклера за руку и притянул его ближе. — Дядя Сэм, скажите мне… вы ведь его друг… скажите мне правду про всю эту жидятину.

«Нашел кого спрашивать, — подумал Финклер. — Ты с перепою, видно, забыл, что я и сам жидятина».

— Почему ты не спросишь у него самого?

— Так ведь я не про его личные заскоки, то есть не только про них, я о жидятине вообще. Вот недавно прочел, что ни фига этого не было в натуре…

— Чего не было, Альфредо?

— Да этих концлагерей и прочей хренотени. Голимое надувательство.

— И где ты это прочел?

— В книгах, где же еще… Да и друзья кое-что порассказали. Я как-то лабал буги-вуги с одним ударником-евреем… — Альфредо замолотил невидимыми палочками по невидимым барабанам на тот случай, если Финклер не знает, что такое «ударник». — Так вот, он сказал, что все это полная туфта. А с чего бы ему впустую трепаться? Он сам оттрубил в израильской армии… или где еще там, а потом слинял от них подальше и теперь здесь такие соло выдает — старина Джин

Крупа[108] закачался бы. Он говорит: туфта это все, надо смотреть в другую сторону.

— В другую сторону от чего?

— Да от всех этих сраных концлагерей.

— Концлагеря? Где концлагеря?

— В чьей-то башке и больше нигде. Ведь этих нацистских лагерей и душегубок — всего этого говна просто не было, верно?

— Где их не было?

— В Израиле, в Германии, да хоть у черта в жопе! Не все ли равно, где их не было, если их не было вообще?

— Я опаздываю, — сказал Финклер, освобождая свою руку. — Мой продюсер уже заждался. А ты не верь всему, что тебе рассказывают.

— А во что верите вы, дядя Сэм?

— Я? Я верю в то, что ничему нельзя верить.

Альфредо попытался запечатлеть на его щеке пьяный поцелуй.

— Значит, нас уже двое, — заявил он. — Я тоже верю в то, что верить нельзя ничему. Все вокруг сплошное дерьмо. Так и говорил этот пархатый ударник.

И он снова забарабанил по воздуху воображае-

---

[108] Примечания: 108

Крупа Юджин (Джин) Бертрам (1909–1973) — американский барабанщик-виртуоз, культовая фигура для поклонников джаза и свинга.

мыми палочками.

Финклер поймал такси и отправился домой.

3

«Удивительное дело, — думал Треслав, — как хорошо можно узнать человека всего лишь по его имени, по одному-единственному термину и по нескольким фотоснимкам его пениса».

Впрочем, Треславу было легко рассуждать с высоты своего превосходства: ведь он имел то, о чем «эписпазмист» Элвин Поляков мечтал всю свою сознательную жизнь, — крайнюю плоть.

Как узнал Треслав из блога Элвина Полякова, эписпазм — это восстановление крайней плоти. Вот только восстановить ее невозможно, писал Поляков. Что отпало, то пропало. Однако человеческая изобретательность позволяет создать вместо нее «ложную крайнюю плоть». Доказательством этого Элвин Поляков и занимается, ежедневно позируя перед камерой.

Исключительно из любопытства, а также чтобы передохнуть от Маймонида — если Хепзиба в это время отсутствует, занятая музейными делами, — Треслав смотрит его видеоотчеты.

Элвин Поляков — сын ипохондрического пре-

подавателя иврита, холостяк, культурист, в прошлом радиоинженер и изобретатель, один из основателей движения СТЫДящихся евреев — начинает каждое утро с оттягивания кожицы на своем пенисе, подвигая ее ближе к головке. Он проделывает это на протяжении двух часов, затем устраивает перерыв для ланча с чаем и шоколадным бисквитом, после чего процедура возобновляется. Это дело требует огромного терпения. Во второй половине дня он производит замеры, сравнивает их с утренними результатами и делает очередную запись в своем блоге.

— Я обращаюсь, — говорит он, — к миллионам изувеченных евреев по всему миру, которые чувствуют то же, что чувствовал я всю свою жизнь. И не только к ним, потому что существуют миллионы нееврeев, которым тоже сделали обрезание, исходя из ошибочного предположения, что без крайней плоти лучше, нежели с ней.

Он не говорит прямо: «опять жиды сбивают весь мир с правильного пути», но только жалкий глупец, вполне довольный утратой своей крайней плоти, не способен уловить этот прозрачный намек.

Элвин Поляков работает в примитивно-напористом стиле кинохроник 1940-х годов, как будто не

доверяя современным технологиям и предпочитая громче кричать, чтобы быть услышанным.

— Еще на заре цивилизации, — говорит он, — мужчины пытались восстановить то, чего их лишили в младенчестве, когда они не могли выразить свое мнение и свой протест по этому поводу. Тем самым были грубо попраны их человеческие права. В результате у них сформировалось ощущение собственной неполноты — сродни тому ощущению, что возникает после ампутации конечности.

Он рассказывает о мучениях евреев в эллинистическую и римскую эпохи, когда они стремились стать полноправными членами общества, но боялись ходить в общественные бани, где их высмеивали из-за обрезанной крайней плоти. Как следствие, многие отчаявшиеся евреи шли на экстремальные меры и подвергали себя хирургическим восстановительным операциям, которые нередко заканчивались трагически (в этом месте Треслав содрогается). Единственный надежный метод восстановления хотя бы видимости крайней плоти — это процедура, осуществляемая данным блоггером.

Смотрите и учитесь.

Не надейтесь на слишком многое, но и не

довольствуйтесь слишком малым. Такова философия Элвина Полякова.

Что касается необходимых приспособлений: запаситесь клейкой лентой или лейкопластырем (Треслав неожиданно вспоминает скотч, которым вечно подклеивала свои ботинки мать его сына, но какого из двоих, он не уверен), подтяжками или иными эластичными ремешками, набором грузов и крепким деревянным стулом.

Каждое утро Элвин Поляков фотографирует свой пенис под разными углами: эти снимки он выложит в Сеть позднее вместе с описанием проведенных в течение дня процедур: устройством картонных хомутиков, наложением клейкой ленты, смазыванием воспаленной кожи, схемой размещения на стуле — сдвинувшись вперед, чтобы кожица оттягивалась вертикально вниз с помощью системы грузиков, под которые он приспособил медные кольца, брусочки от детского ксилофона и пару маленьких бронзовых подсвечников, приобретенных почти задаром, как он не преминул сообщить, в лавке индийских безделушек.

Наголо бритый, с накачанной мускулатурой, он часами сидит, согнувшись и опустив голову между коленями, как монах-самоистязатель или как

заклинатель змей, знающий, что змея может не показаться годами, а то и не покажется никогда. В этой процедуре нет ничего сексуального. Если какие-то сексуальные мысли и посещали когда-то голову Элвина Полякова, они давно уступили место подвижничеству клейких лент, хомутиков и грузиков. Он вступил на этот путь из-за того, что считал себя обделенным наслаждениями, но наслаждения уже не стоят на повестке дня. Теперь на повестке дня стоят евреи.

В дополнение к ежедневной порции фотоснимков и схем прилагается очередная тирада против еврейской религии, борьбе с которой, среди прочего, посвящает свои силы Элвин Поляков. Сексуальное изуверство в случае с крайней плотью, по его словам, это лишь одно из бесчисленного множества преступлений против человечности, совершенных злокозненными евреями. Каждый день он называет имя еще одного еврейского младенца, над плотью которого жестоко надругались, лишив его права на полноценное сексуальное будущее.

Треслав не может понять, откуда Поляков берет все эти имена. Может, из еврейских газет, публикующих информацию о рождениях и смертях? Трудно предположить, чтобы его информировали

сами родители, виновные в жестоком надругательстве. Ну а сам Элвин Поляков — разве он не виновен в публичном унижении младенцев, которым еще только предстоит годы спустя самостоятельно решить, во вред или во благо пошла им эта операция?

Или он просто выдумывает все эти имена?

Сосредоточенный и невозмутимый — ибо он не слышит возражений Треслава и, даже услышав, запросто может их проигнорировать, — Элвин Поляков, пыхтя, как атлет при тяжелой нагрузке, вытягивает кожицу своего пениса, чтобы превратить ее в крайнюю плоть. Каждый вечер ему видится хорошая подвижка, но каждое утро все надо начинать практически с нуля. Он не покидает свой дом, за исключением тех вечеров, когда происходят собрания СТЫДящихся евреев. Продукты для него закупает старшая сестра, которая недавно перешла в католицизм. Не ясно, знает ли она, как проводит дни ее брат, хотя он не такой человек, чтобы скрывать свои действия от кого бы то ни было.

Он регулярно слушает радио и отмечает, как редко там упоминаются страдания изувеченных евреев, а равно неевреев, изувеченных на еврейский манер. Он нисколько не сомневается в

проеврейской ориентации Би-би-си. Иначе почему мы так мало слышим о тех, чьи жизни были искалечены сионистами и обрезанием?

Он написал на эту тему пьесу и предложил ее для постановки в радиотеатре, но Би-би-си, поблагодарив его за труды, ставить пьесу отказалась. Цензура.

Этот варварский ритуал, утверждает Элвин Поляков, сходен с обычаем стричь голову молодым людям при зачислении их на военную службу и служит той же цели: уничтожению индивидуальности и подчинению человека тирании организации, религиозной либо военной. И это неопровержимо доказывает прямую связь между еврейским ритуалом обрезания и зверствами сионистской военщины. Беспомощные еврейские младенцы и безоружные палестинцы — невинную кровь и тех и других проливают евреи, не испытывая ни малейших угрызений совести.

Сидя с головой между коленями, Элвин Поляков сочиняет посвящения жертвам сионистских мучителей. Когда ему удается сочинить новое посвящение, он помещает его над последним снимком своего измученного члена, дабы сделать ассоциацию очевидной. В тот самый день, когда Треслав наконец решает, что с него довольно

этого блога, посвящение над пенисом Элвина Полякова, с подвешенными к нему разными предметами, гласит: «Всем искалеченным людям Шатилы, Набатеи, Сабры и Газы. Ваша борьба — это моя борьба».

Треслав рассказал об этом блоге Хепзибе, но та не пожелала воспользоваться данной им ссылкой.

— А если бы ты была палестинкой?

— Тогда другое дело. С друзьями вроде него…

— Но это же просто профанация!

— Конечно.

— И повод-то пустячный.

— Для него это явно не пустяк.

— Хорошо, поставим вопрос иначе. Скажи мне, мусульмане делают обрезание?

— Насколько я знаю, да, — сказала она нехотя.

Ей не нравилось, что он снова возвращается к этому вопросу.

— А точнее?

— Ну, делают.

— И тем не менее этот Элвин Поляков получает одобрительные отзывы от палестинцев.

— Откуда ты знаешь?

— Он выкладывает их в Сеть.

— Дорогой, нельзя же верить всему, что выло-

жено в Сети. Но даже если отзывы не поддельные, это можно понять. Мы все иногда закрываем глаза на какую-то не устраивающую нас деталь ради более важных вещей. А это к тому же отчаявшиеся люди.

— Разве не все мы такие?

Она попросила его закрыть глаза и потом поцеловала в веки:

— *Ты* не такой.

Он подумал над этим. Верно, он не был отчаявшимся. Но он был очень встревожен.

— Странное дело, — сказал он, — сейчас я чувствую себя беззащитным.

— *Тебе-то* что грозит?

— Это грозит всем. Что, если идеи заразны, как вирусы, и мы все поочередно заражаемся? Этот Элвин Поляков — не подцепил ли он где-то заразу и теперь распространяет ее дальше?

— Не бери в голову, — сказала она, выставляя из шкафов кастрюли и собираясь готовить ужин. — Он просто чокнутый.

— Как можно не брать этого в голову? Чокнутый или нет, но он распространяет заразу. Откуда-то это поветрие началось, и к чему-то оно должно привести. Идеи не исчезают бесследно, они остаются в этом мире.

— Не думаю. Сегодня мы, как общество, уже не верим во многие вещи, в которые верили еще вчера. Мы запретили рабство. Мы дали женщинам право голоса. Мы больше не травим собаками медведей на потеху уличной толпе.

— А как насчет евреев?

— Ох уж эти евреи!

И она снова поцеловала его закрытые веки.

4

Он ей нравился. Он ей определенно нравился. Он принес в ее жизнь перемены. Он, похоже, не имел амбиций, чего было в избытке у ее прежних мужей. Он прислушивался к ее словам, чего не делали другие. И, судя по всему, он хотел подольше быть с ней, по утрам задерживая ее в постели — не только для секса, но и для него тоже — и тенью бродя за ней по квартире, что вполне могло бы вызвать у нее раздражение, однако не вызывало.

При всем том он был подвержен внезапным приступам уныния, которые ее беспокоили. Более того, в такие периоды ему, похоже, недоставало собственных запасов уныния и он старался черпать его в окружающих, прежде всего в ней. Возможно, думала она, эта его тяга к евреям была лишь попыткой идентифицировать себя с их глу-

боким, исторически обусловленным унынием, какое он не мог найти в своем собственном генофонде. Чего ему не хватало: долбаной еврейской катастрофы со всеми вытекающими?

Конечно, он был не первым таким. Этот мир можно условно разделить на тех, кто хочет истребить евреев, и тех, кто хочет к ним примкнуть. Плохие времена наступали, когда первые значительно превосходили числом вторых.

Но с «позаимствованным унынием» получался перебор. Евреи выстрадали свое уныние, они накапливали его веками угнетений и несправедливостей, а тут является некий Джулиан Треслав, чтобы, покрутившись немного среди евреев, приобщиться к их душевным мукам.

Она не была уверена, что Треслав действительно любит евреев так, как он об этом заявляет. В том, что он любит ее, Хепзиба не сомневалась. Но она не могла стать тем олицетворением еврейской женщины, какое он хотел в ней видеть. Прежде всего она не ощущала себя в достаточной мере еврейкой. Когда она утром открывала глаза, ей не приходило в голову приветствие типа: «Здравствуй, новый еврейский день!» — чего, похоже, ожидал от нее Джулиан и что он сам рассчитывал однажды произнести: «Здравствуй,

новый еврейский день, хоть я и не…»

Вот это «хоть я и не…» было тем самым, что он надеялся с ее помощью убрать из своего приветствия.

— Я хочу ритуал, — говорил он, — я хочу семью, я хочу слышать обыденное тиканье еврейских часов.

Но когда его подводили ко всему этому, он неожиданно начинал упираться. Она сходила с ним в синагогу — разумеется, не в ту, которую посещали люди с палестинскими шарфами, — и ему там не понравилось.

— Они благодарят Творца за то, что Он их сотворил, и больше ничего, — посетовал Треслав. — Такое чувство, будто их только для того и сотворили, чтобы они всю жизнь возносили благодарности за свое сотворение.

Она водила его на еврейские свадьбы, помолвки и празднования бар-мицвы, но и они пришлись ему не по вкусу.

— Этим праздникам не хватает серьезности, — жаловался он.

— По-твоему, их участники должны больше благодарить Творца?

— Возможно.

— Тебе ничем не угодишь, Джулиан.

— И это как раз по-еврейски, — сказал он.

Он часто с неумеренным восторгом рассуждал о «еврейской семье» и «еврейской душевности», но, когда она представила его своей родне, он держался отчужденно — исключая Либора — и даже как будто презрительно (хотя он потом это отрицал), озадачив ее полным отсутствием как раз той самой «душевности».

— Многовато жизненной энергии за один прием, — пояснил он. — Меня это выбило из колеи.

— Я думала, тебе нравится жизненная энергия.

— Я люблю жизненную энергию. Но у меня самого с ней туго. Я ведь *неббиш.*[109]

Она его поцеловала. Она все время его целовала.

— Настоящий неббиш никогда не знает, что он неббиш. Стало быть, ты не неббиш.

Он ответил на ее поцелуй.

— Это слишком тонко для меня, — сказал он. — «Настоящий неббиш никогда не знает, что он неббиш». Вы любите запутывать вроде бы простые вещи и слишком уж быстро на все реагируете.

— Мы долго этому учились. Если будешь мед-

---

[109] Примечания: 109
Nebbish *(идиш)* — ничтожество, бесцветная личность.

ленно реагировать, не сможешь вовремя собрать пожитки и дать деру.

— Тогда я понесу эти пожитки. Это будет моя роль. Я *шлеппер.*[110] Или шлеппер тоже не знает, что он шлеппер?

— Нет, с этим полный порядок. Шлеппер всегда знает, что он шлеппер. В отличие от неббиша, шлеппер четко усваивает свою роль.

Он поцеловал ее снова. Ох уж эти финклеры! И ведь он почти что женат на одной их них. Он почти что один из них — пусть не по крови, но сердцем. И все же как он далек от единения с ними!

— Не уходи от меня, — попросил он и хотел было добавить: «Не умирай раньше меня», но вспомнил, что именно об этом Малки просила Либора, и сейчас повторять ее слова показалось ему кощунством.

— Я никуда не собираюсь уходить, — сказала она, — если только меня не вынудят.

— В таком случае я понесу твои пожитки, — сказал он. — Я ведь шлеппер.

Он до сих пор не познакомил ее со своими сыновьями. Почему так получилось? Когда она

---

[110] Примечания: 110
Shlepper *(идиш)* — приживальщик.

спросила его об этом, он сказал, что сыновья для него не так уж много значат.

— И что?

— И я не хочу, чтобы они общались с тобой, потому что ты для меня значишь очень много.

— Джулиан, это глупо по множеству причин — у меня просто сил не хватит перечислить их все. Может быть, ты полюбишь их больше, если будешь общаться с ними и со мной одновременно.

— Они представляют ту часть моей жизни, с которой я намерен порвать.

— Помнится, ты говорил, что порвал с ними, как с частью твоей жизни, еще до их рождения.

— Так и есть. А теперь я хочу порвать с той частью своей жизни, в которой я порывал отношения с людьми.

— И каким образом этому поможет отказ познакомить меня с ними?

— Это знакомство наверняка не сработает. Тебе они не понравятся, и тогда мне придется порывать с ними заново.

— Может, ты имел в виду, что *я* им не понравлюсь, а не они мне?

Он пожал плечами:

— Да какая разница: ты им или они тебе? Это уже детали, которые меня ничуть не трогают.

Говорил ли он искренне? В этом она не была уверена.

Так же точно она не была уверена в том, что он хочет завести ребенка. Впервые он поднял этот вопрос в ряду других, когда в тысяча первый раз мусолил тему обрезания, — достаточно ли он хорош для нее? не слишком ли он надоедлив? не слишком ли он впечатлителен? не завести ли им ребенка? каким ей видится их сын: похожим на Треслава или, может, на Моисея? Но все это было из области предположений и в большей степени относилось к самому Треславу, нежели к ребенку. Сама она о детях не думала.

— Мне это не к спеху, — говорила она, что было всего лишь смягченной формой выражения «мне это не нужно».

Категорический отказ он мог воспринять как прелюдию к разрыву. Он называл себя «худшим отцом в истории» и повторял это так часто, что она начала задумываться: а не хочет ли он предпринять еще одну попытку, чтобы доказать обратное?

И она спросила его напрямик.

— Хочу ли я снова стать отцом — теперь уже *еврейским* отцом? Я бы так не сказал. Но если ты…

— Нет, я к этому нисколько не стремлюсь. Про-

сто мне показалось, что этого хочешь ты.

Что до его отношения к еврейству в целом, то сперва ее это забавляло, а потом начало тревожить. Уж не собирался ли он вычерпать из нее все еврейство вместе с ее генетическим унынием? Может, он перепутал одно с другим?

— Евреи вполне могут быть веселыми, — говорила она ему.

— Как мне этого не знать, если я познакомился с тобой во время Песаха?

— Я не об этом. Воспоминания о египетском плене — много ли тут веселого? Я имела в виду беззаботное веселье, простые радости жизни.

Говоря это, она вдруг поняла, что все упомянутое почти исчезло из ее жизни одновременно с появлением Треслава. Он сковывал ее свободу тем, что надеялся найти в ней свой идеал женщины, и она старалась не подвести его надежды. Хотя иной раз она предпочла бы посмотреть по телевизору мыльную оперу, чем обсуждать обрезание или Маймонида. Тяжело представлять свой народ перед лицом человека, которому взбрело в голову этот народ идеализировать. Тут уже дело касалось не только надежд Треслава — она старалась не подвести еврейство как таковое, все пять тысячелетий его трагической истории.

— Ну так пустимся в беззаботное веселье, — предложил он. — В Еврейском культурном центре каждый вечер устраивают танцы под клезмер.[111] Потанцуем?

— Уж лучше я заведу ребенка, — сказала она.

— В самом деле?

— Это шутка.

Голова его пошла кругом. И это у них считается шуткой — сказать кому-то, что ты хочешь завести с ним детей?

Зная о его чрезмерной впечатлительности, она старалась лишний раз не волновать Треслава. Между тем «беконщики» и иже с ними не прекращали свою деятельность. На сей раз они намалевали на музейной стене: «Смерть юдеям!» Словечко «юдеи» чаще употреблялось мусульманами, чем христианскими антисемитами. Поступали все новые сообщения о маленьких «юдеях», подвергавшихся издевательствам в смешанных школах. Хепзиба видела в этом более серьезную угрозу по сравнению со свастиками на еврейских кладбищах. Свастики были скорее напоминанием о давней ненависти, нежели ее свежим проявлением. Но слово «юдеи» нес-

[111] Примечания: 111
Традиционная музыка восточноевропейских евреев.

ло зловещий подтекст. Возникало чувство, что произносящие его воспринимают «юдеев» как скользких ползучих тварей вроде слизняков, осквернённых собственной верой, и, если на них наступить сапогом, изнутри выдавится их «юдейство». Это оскорбление метило куда глубже, чем сравнительно безобидное слово «жиды». Оно было направлено не на конкретных евреев, а на саму сущность еврейства. И исходило оно из той конфликтной части мира, где противостояние давно уже захлебывалось кровью, где взаимная ненависть была наиболее исступленной и, возможно, неискоренимой.

А тут еще и Либор сообщал ей вещи, о которых она предпочла бы не слышать. Он рассказывал о проявлениях насилия и злобы так, словно стремился освободиться от этого знания, перекладывая его на Хепзибу.

— Знаешь, что пишут в шведских газетах? — спрашивал он. — Там пишут, что израильские солдаты убивают палестинцев, чтобы потом продавать их внутренние органы на международном донорском рынке. Тебе это что-нибудь напоминает?

Хепзиба молча кусала губы. Она уже обсудила эту статью с коллегами по работе. Но у Либора не

было коллег, и ему больше не с кем было делиться своими страхами.

— Это кровавый навет, — пояснил он, как будто она нуждалась в пояснении.

— Да, Либор.

— Они снова приписывают нам кровавые жертвоприношения, только уже не в ритуальных целях, а с целью наживы. Мы возвращаемся в Средневековье. Хотя чего еще ждать от этих дремучих шведов, которые из Средневековья и не вылезали?

Она не хотела этого слышать, но ей приходилось это слышать ежедневно. Перечень еврейских преступлений и перечень ответных актов насилия. На днях был застрелен охранник Еврейского музея в Вашингтоне. Это вызвало шок у всех работников еврейских организаций и учреждений; начался тревожный обмен электронными письмами. Общее мнение было таково: открыт сезон охоты. Конечно, от нападений безумцев и экстремистов не застрахован никто, однако распространенность в современном мире антиизраильских настроений служила для экстремистов дополнительным стимулом. Нет сомнений в том, что региональный конфликт породил религиозную ненависть, выплеснувшуюся далеко за пределы

региона. Евреи снова стали проблемой. После недолгого затишья антисемитизм стал тем, чем он был всегда, — безостановочным эскалатором, на который мог вскочить любой желающий.

Скрывая все это от Треслава, не упоминая о застреленном охраннике и электронных письмах, не передавая ему рассказы Либора — хотя никто не мог помешать Либору самому говорить с ним на эти темы, — Хепзиба обнаружила, что уберегает его от дурных известий, как уберегают пожилого родителя или ребенка. Пожалуй, скорее, как родителя, поскольку она учитывала прежде всего его чувствительность к еврейской тематике. То же самое она сделала бы в отношении своего отца, будь он жив. «Только не говори папе, это его убьет», — могла бы сказать ее мама. И точно так же мог бы сказать отец: «Только не говори маме, это ее убьет».

Так издавна поступали евреи, скрывая друг от друга страшные новости. И так она сейчас поступала с Треславом.

5

Финклер, обычно спавший без снов, увидел сон.

Ему приснились разные люди, которые били

под дых его отца.

Поначалу все выглядело как обычная забава. Его отец у себя в аптеке развлекал посетителей. «Бейте сильнее, — приговаривал он. — Еще сильнее. И все равно мне не больно. А ведь на этом месте два года назад была раковая опухоль. Трудно поверить, я знаю, но это так. Ха-ха!»

Но потом атмосфера изменилась. Отец больше не шутил. А посетители не смеялись. Они швырнули отца на пол, где он распластался среди рваных картонок с солнцезащитными очками и смятых упаковок дезодорантов. Отцовская аптека всегда выглядела так, будто в нее только что прибыла очередная партия товаров. Доставленные грузчиками коробки и пакеты могли по нескольку недель оставаться на полу нерассортированными. Зубные щетки, соски-пустышки, расчески и бигуди валялись где попало. «К чему нужны полки, если есть хороший пол?» — заявлял комик-фармацевт, садясь на корточки, чтобы найти внизу что-нибудь нужное покупателю, и потом обтирая находку полой белого халата. Это была не аптека, а театр одного актера. Однако теперешний аптечный хаос был сотворен уже не им. Те из посетителей, кто не был занят его избиением, методично громили и расшвыривали

все вокруг. Они ничего не брали себе, как будто эти вещи не стоили того, чтобы их похищать.

Они сбили с его головы черную шляпу, хотя в реальности отец никогда не носил ее в аптеке — шляпа предназначалась исключительно для синагоги.

Финклер смотрел на все это из дальнего уголка своего сна и ждал, когда отец позовет на помощь.

Сэмюэл, Сэмюэл, *gvald!*[112]

Ему было любопытно узнать, как поступит во сне он сам, услышав отцовский призыв. Но никакого призыва не прозвучало.

Когда они стали ногами добивать лежащего на полу отца, Финклер проснулся.

Оказалось, что он уснул не в постели, а перед компьютером.

Финклера тревожил предстоящий день. У него с тремя другими лекторами, в том числе Тамарой Краус, было назначено выступление в одном из конференц-залов Холборна.[113] Обычное дело: двое за, двое против. Он столько раз участвовал

---

[112] Примечания: 112
Здесь: беда! *(идиш)*

[113] Примечания: 113
Старинная улица и прилегающий к ней район в центре Лондона.

в подобных диспутах, что мог бы повторить свою лекцию даже во сне (правда, как раз в то утро сон был не лучшим для него прибежищем). Он знал, что и как нужно сказать публике, и не боялся выпадов оппонентов, равно как и острых вопросов из зала. Публика с готовностью внимала речам Финклера на любую тему, поскольку он был изрядно засвечен на телеэкране, ну а палестинская тематика и вовсе шла на ура. Это не значит, что люди не имели собственного мнения на сей счет. Они его очень даже имели, но хотели услышать от Финклера подтверждение своей правоты. Еврейский мыслитель, нападающий на евреев, был отличной приманкой, и слушатели платили именно за это. Короче говоря, он не предвидел никаких осложнений с диспутом. Вероятные осложнения были связаны с Тамарой Краус.

Когда дело касалось Тамары Краус, он не доверял себе. В этом не было ничего романтического. Если на то пошло, Тамара относилась к типу женщин, который больше подходил Треславу, чем Финклеру. Последний помнил, как его друг однажды под настроение выдал перечень озабоченных дамочек, с которыми он вступал в связь. Перечень этот напоминал струнную группу женского оркестра или, скорее, женский

оркестр, состоящий только из струнной группы. Финклеру стало дурно от одних лишь кратких описаний. «Нет уж, такое не для меня», — сквозь зубы процедил он тогда. И вот теперь он оказался в сходном положении, позволяя Тамаре Краус водить смычком по его натянутым нервам.

Он не знал, как сказать ей, чтобы она оставила его в покое. Она, понятно, будет отрицать, что как-то на него воздействовала. Он льстит себе, полагая, будто она заинтересовалась им как мужчиной, а не как одним из СТЫДящихся еврейских соратников. Она с ним никоим образом не заигрывала, и если он вдруг представил, как она кричит в его объятиях, то эта драматичная сцена целиком и полностью относится к области его фантазий.

Все это было верно, однако вообразившиеся ему крики не имели ничего общего со звуками, которые тщеславный мужчина в своих фантазиях вызывает у сексуально неудовлетворенной женщины. Крики Тамары Краус, услышанные им как бы авансом, имели не сексуальную, а идейную подоплеку. Ее демоническим возлюбленным был сионизм, а вовсе не Финклер. Одержимая ненавистью — увы, недостаточно взаимной — к сионизму, она не могла думать ни о чем дру-

гом. Примерно так же бывает, когда ты безумно влюблен.

Если при одном упоминании ею Западного берега или сектора Газа нервы Финклера натягивались как струна, в этом был виноват сам Финклер. Если термины «оккупация» и «психологическая травма», слетая с ее влажных губ — маячивших неуместно похотливым пятном посреди надуто-сердитого личика, — вызывали у Финклера дикое возбуждение, в этом была вина самого Финклера. Он предвидел, что случится, если они по несчастью или по недоразумению окажутся в одной постели и она действительно издаст тот пронзительный антисионистский крик любви-ненависти: он кончит шесть или семь раз подряд, а потом убьет ее. Отрежет ее язык и запихнет отрезанное ей в глотку.

Между прочим, это послужит отличной иллюстрацией к ее словам о распаде еврейского сознания, когда попытка «окончательного решения еврейского вопроса», предпринятая нацистами, подтолкнула обезумевших евреев к собственным «окончательным решениям», теперь уже в Палестине. Насилие порождает насилие.

Быть может, именно этого она и добивалась? Убей меня, свихнувшийся еврейский ублюдок, и

таким образом докажи мою правоту!

Самым странным в этой ситуации было то, что во всех ее речах и статьях, какие он слышал или читал, не встретилось ни единого слова, с которым он бы не согласился. Да, она больше упирала на психическое разложение евреев и была более склонна доверять врагам Израиля — Финклер считал возможным жестко критиковать еврейское государство, не заводя при этом дружбы с арабами: как философ, он полагал, что человеческая природа дала трещину по обе стороны фронта, — но в остальном их оценки полностью совпадали. Что его раздражало и возбуждало одновременно, так это ее манера изложения, ее прыгающие интонации и манипулирование цитатами, когда она выдергивала из контекста отдельные подходившие ей фразы, игнорируя другие высказывания того же автора, не звучавшие с ней в унисон.

Опять же как философ, Финклер считал такую практику порочной. Если вы приводите чужую мысль как аргумент в споре, будьте добры привести ее во всей полноте, а не выдавайте шальные пули чужих мнений за прицельный огонь в свою поддержку. С ней приходилось все время быть начеку. Одно неосторожное замечание

— и завтра она использует его против тебя же по совершенно другому поводу. К примеру, ты страстно шепнешь ей глубокой ночью: «Я думаю только о тебе, я слышу только тебя, я вижу только тебя», а на следующем заседании СТЫДящихся она процитирует эти слова как доказательство твоей необъективности, потери концентрации и недостаточной приверженности общему делу.

Она казалась озлобленной на весь еврейский народ, как будто до нее дошли слухи о том, что евреи по вечерам неодобрительно отзываются о ней у себя в спальнях, и теперь она поставила себе целью отомстить им за это любыми средствами.

Отправляясь на мероприятие, Финклер надел черный костюм с красным галстуком. Обычно он выступал перед аудиторией в рубашке с открытым воротом, но сегодня от него требовались собранность и внушительность — как внешне, так и в речах. Не исключено также, что он инстинктивно защищал свое горло, по ошибке ассоциируя его с глоткой Тамары, которую ему так хотелось заткнуть.

Финклер и Тамара Краус расположились на сцене рядышком, по одну сторону стола. Он с удивлением отметил, насколько малая ее часть оказалась под столом, как коротки были ее ноги

и как миниатюрны ступни. Одновременно он видел, что она точно так же оценивающе поглядывает на его ноги, вероятно находя их чересчур длинными, а ступни — чрезмерно большими. По соседству с ней он чувствовал себя громоздким и нескладным. Оставалось надеяться, что его соседство заставило ее ощутить себя мелкой и незначительной.

По другую сторону стола уселись два представителя еврейского истеблишмента: члены благотворительных комитетов, попечители синагог, блюстители еврейских традиций и семейных ценностей, ревностные защитники Израиля — словом, злейшие враги Финклера. Они ранее не были знакомы, евреи-блюстители и евреи-бунтари, поскольку вращались в разных кругах. Один из них напомнил Финклеру его отца, когда тот бывал вне аптеки, посещая синагогу или обсуждая с другими евреями какие-то дела их общины. В нем чувствовались та же практическая сметка и та же неизбывная наивность, проистекающая из веры в то, что Господь по-прежнему питает пристрастие к своему избранному народу, то защищая его так, как Он не защищает никого другого, то наказывая его более жестоко, чем Он наказывает иных. Типич-

ный еврейский эгоцентризм. Такие люди глядят на вас с младенческой невинностью, заламывая непомерную цену при совершении сделки.

Тамара Краус повернулась к нему и прошептала:

— Я смотрю, они выставили самых истеричных типов, каких только смогли найти.

Ее презрение влилось ему в ухо, как горячее жидкое масло. Слово «истеричный» широко использовалось СТЫДящимися. Любой еврей, не желавший стыдиться, объявлялся склонным к истерии. Это обвинение восходило еще к средневековым суевериям о женоподобных евреях, у которых якобы даже были месячные. В современном понимании «истеричный еврей» был напрочь лишен мужества и пребывал в вечном страхе, так как ему повсюду мерещились злобные антисемиты.

— Что-что они выставили? — переспросил Финклер.

Он прекрасно разобрал ее предыдущую фразу, но хотел услышать это вновь.

— Самых истеричных.

— А, истеричных… Так они истеричные?

Он почувствовал, как все струны его тела предельно напряглись, — казалось, стоит ему

шевельнуть плечом, и пальцы согнутся, сами собой стягиваясь в кулак.

Она не успела ответить. Дебаты начались.

Разумеется, Финклер и Тамара Краус легко взяли верх. Финклер, в частности, заявил, что недопустимо впадать в лирику по поводу стремления одного народа обрести государственность и в то же самое время отказывать в этом праве другому народу. Иудаизм по своей сути — это нравственная религия, сказал он, но именно это делает его противоречивым, ибо — при всем уважении к Кьеркегору[114] — нельзя быть одновременно и нравственным, и религиозным. Сионизм поначалу дал иудаизму уникальный шанс преодолеть засилье религиозности. «Поступай с другими точно так же, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой». Но после военной победы еврейская нравственность вновь скатилась к иррациональному торжеству религии. И сегодня спасти евреев может только возвращение к нравственности.

Тамара смотрела на эту проблему под несколько иным углом. По ее словам, идеи сионизма были

---

[114] Примечания: 114

Датский философ, теолог и писатель Сёрен Кьеркегор (1813–1855) утверждал, что истинная нравственность доступна лишь истинно религиозному человеку.

преступны уже с момента их зарождения. Эту мысль она подкрепила рядом цитат, надергав их у авторов, чье мнение в действительности было прямо противоположным. Жертвами преступной политики сионистов стали как палестинцы, так и сами евреи. Причем не только израильтяне, но и евреи по всему миру, в том числе сидящие в этом зале. Она говорила сухо, без выражения, как будто защищая в суде клиента, в чью невиновность не очень-то верила сама. Все изменилось, когда она добралась до пунктика: «Что Запад именует терроризмом?» С этой минуты, как заметил сидящий рядом с ней Финклер, тело ее начало излучать жар, а губы набухли, как от поцелуев демона-любовника. В насилии есть нечто эротическое, вещала она завороженной публике. Ты вполне можешь испытывать сердечную привязанность к тем, кого ты убиваешь. Как и к тем, кто убивает тебя. Но поскольку евреи слишком любили немцев и слишком пассивно приняли свою смерть, они впоследствии отвергли эротическое начало, изгнали любовь из своих сердец и стали убивать людей с отвратительным, бездушным хладнокровием.

Финклер не мог понять, чего здесь больше: поэзии, психологии, политики или же пустословия.

Но ее рассуждения об убийствах привели его в замешательство. Не могла ли она странным образом догадаться, какую судьбу он уготовил ей в своих фантазиях?

Евреи-блюстители не годились ей и в подметки. Сказать по правде, они не одолели бы в споре даже такого клоуна, как Кугле. Да чего уж там: они ухитрились бы проиграть дебаты даже без оппонентов, будучи единственными выступающими. Они все время путались и противоречили сами себе. Финклер скучливо вздохнул, когда они начали изрекать банальности, которые он устал слышать еще от своего отца тридцать лет назад: о крошечных размерах Израиля, об исторических правах евреев на эту землю, о том, что лишь малую часть палестинцев можно считать коренным населением, об израильских мирных предложениях, с ходу отвергнутых арабами, о необходимости обеспечить безопасность Израиля в сегодняшнем мире перед лицом набирающего силу антисемитизма…

Почему они не наняли Финклера спичрайтером? А ведь он мог бы обеспечить им успех. Чтобы победить, ты должен, как минимум, иметь представление о том, что думает противная сторона, а они были в этом полными невеждами.

Здесь он имел в виду не просто победу в диспуте, но и обретение Царства Божия.

Это была излюбленная тема в его давних спорах с отцом: евреи, когда-то считавшие своим долгом напоить водой странника и пожелать ему доброго пути, для которых было непреложным правилом «относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе», ныне превратились в людей, не способных слышать никого, кроме самих себя. Ему претила отцовская клоунада перед посетителями, но у себя в аптеке отец, по крайней мере, был демократом и гуманистом; а когда он, надев черный сюртук и шляпу, рассуждал о политике по пути домой из синагоги, лицо его застывало безжизненной маской, как застывал и его разум.

— Они сражались с нами и проиграли, — говаривал отец. — Они могли сбросить нас в море, но они проиграли.

— Но это еще не значит, что нам не нужно подумать об участи побежденных, — возражал Финклер-младший. — У пророков не сказано, что мы должны проявлять сострадание только к достойным.

— Они получили то, что заслуживают. Мы дали им то, что они заслуживают, — твердил отец.

В конце концов Финклер выбросил свою ермолку и укоротил свое имя, вместо Сэмюэла-Самуила став просто Сэмом.

— Все те же старые песни… — прошептал он, обращаясь к Тамаре.

— Я же сразу сказала, что это истеричные типы, — так же шепотом ответила она.

Пальцы Финклера сжались еще сильнее, и он почувствовал, как кулаки втягиваются в рукава.

Вечер оживился лишь после того, как пошли вопросы из зала. В поддержку каждой из сторон выступали люди, громко кричавшие и приводившие частные случаи, которые они ошибочно принимали за универсальные доказательства. Одна нееврейка со скорбным лицом в исповедальной манере рассказала о том, как она была воспитана в почтении к «возвышенной еврейской этике, по выражению профессора Финклера» (который не был профессором и так не выражался, но поправлять ее не стал), но потом она посетила Святую землю и обнаружила там государство апартеида, управляемое расистами. По такому случаю у нее вопрос к господам на сцене, утверждавшим, что Израиль подвергается беспрецедентной травле: какая еще страна, кроме Израиля, определяет саму себя и предоставляет свое гражданство по

сугубо расовому принципу? И не потому ли вас подвергают беспрецедентной травле, что вы являетесь беспрецедентными расистами?

— Она может послужить нам примером, — сказала ему Тамара Краус своим шелестяще-шуршащим шепотом.

Это было все равно что слышать, как у тебя за спиной стягивает шелковое белье женщина, которую ты совсем не хочешь любить.

— Это почему? — спросил он.

— Она говорит с болью в душе.

Может статься, именно это замечание побудило Финклера опередить оппонентов, к которым был обращен вопрос. А может, он решил ответить за них, не желая еще раз выслушивать все те же затертые аргументы. Он и сам не знал, почему так поступил. Но все им сказанное было тоже сказано с болью в душе. Одно неясно: чья это была душа?

6

— Да как вы смеете?! — начал он.

Далее возникла пауза. Совсем не просто сделать так, чтобы твоя фраза повисла в тишине на заключительной стадии собрания, когда каждый хочет что-то сказать и далеко не каждый желает слушать других. Но Финклер, в прошлом

оксфордский преподаватель, а ныне публичный философ, поднаторел в ораторских приемах. Как бывший муж Тайлер, а ныне вдовец, как бывший гордый — а ныне уже не гордый — родитель и как потенциальный убийца Тамары Краус, он умел придать особую значимость своим словам.

Вопрос был неожиданным в его устах, поскольку адресовался он женщине со скорбным лицом, некогда восхищавшейся еврейской этикой, а теперь выражавшей обеспокоенность от лица всего гуманного общества. Неожиданным был и его резкий тон. Даже внезапный пистолетный выстрел не произвел бы большего эффекта.

Он выдержал паузу, позволяя передним рядам донести его слова до отдаленных слушателей, — четверть секунды, полсекунды, полторы секунды, целая вечность, — а потом продолжил подчеркнуто спокойным тоном, с педагогической обстоятельностью, в данном случае не менее эффектной, чем была его начальная фраза.

— Да как вы смеете, не будучи еврейкой, — ваше былое почтение к еврейской этике ничуть не меняет дела и даже, напротив, его усугубляет, — как вы смеете навязывать евреям правила жизни на их земле, когда именно вы, европейцы-неевреи, поставили их в такие условия, при которых

создание собственного еврейского государства стало для них жизненной необходимостью? Надо иметь особо извращенный склад ума, чтобы сначала посредством травли и прямого насилия изгнать этих людей из своей страны, а после считать себя вправе свысока указывать изгнанникам, как им следует обустраивать жизнь на новом месте. Я англичанин, и я люблю Англию, но разве это не расистская страна, если подойти к ней с той же меркой? Можете вы назвать мне страну, чья недавняя история не была бы омрачена расовыми предрассудками или вспышками национальной ненависти? Тогда что дает право потомственным расистам выискивать признаки расизма в других? Евреи будут готовы выслушивать поучения о гуманности только от таких стран, в которых сами они смогут чувствовать себя спокойно и безопасно. А до тех пор еврейское государство предоставляет убежище евреям со всего мира — да, евреям прежде всего, — и хотя его не назовешь таким уж справедливым, но и расистским его назвать тоже нельзя, если судить беспристрастно. Да, я могу понять палестинских арабов, когда они кричат о еврейском расизме, хотя у них самих богатая история преследований иноверцев, но такого права нет у вас, мадам, если

вы с душевной болью взялись представлять здесь нееврейский мир, чья ныне столь чувствительная совесть не мешала ему веками подвергать евреев жестоким гонениям…

Он умолк и огляделся. Взрыва рукоплесканий не последовало. А чего он ожидал? Некоторые аплодировали, но больше было таких, кто шикал и неодобрительно гудел. Не пользуйся он ранее обретенным авторитетом, наверняка раздались бы — он даже на это рассчитывал — крики: «Позор!» Демагогам приятны крики: «Позор!» — это тоже своего рода признание. Но в целом зал реагировал вяло — то были люди, запертые в клетке собственных убеждений, как попавшие в ловушку крысы.

Те, кто изначально разделял его мнение, продолжали его разделять. Те, кто его не разделял, остались при своем. Последних было явное большинство.

«К черту!» — подумал он. На данный момент в этих словах заключалась вся его философия. К черту!

Он повернулся к Тамаре Краус:

— А вы как думаете?

На лице ее блуждала странная улыбка, как будто она давно предвидела — а то и срежиссировала

— это его выступление.

— Весьма истеричная речь, — сказала она.

— Тогда, может, упадете в мои объятия и прокричите это пронзительным голосом? — предложил он со всей возможной сердечностью.

Глава 10

1

Постепенно Треслав пришел к выводу, что у него вполне могут найтись основания подозревать Финклера в каких-то шашнях с Хепзибой. Формулировка получилась очень размытой, но таковыми были и подозрения Треслава.

На самом деле никаких свидетельств против Финклера у него не было, но это не мешало Треславу его подозревать. Ни действия, ни слова Финклера или Хепзибы не намекали на какую-то особую связь между ними, однако у Треслава сложилось ощущение такой связи, а для ревности ощущение — это уже повод.

Конечно, его подозрения могли быть всего-навсего побочным эффектом любви. Когда ты очень сильно любишь женщину, тебе кажется, что все прочие мужчины не могут в нее не влюбиться. Но сейчас он подозревал не всех прочих мужчин, а одного только Финклера.

В последнее время Финклер заметно изменился. Он был уже не так самоуверен. Он больше не задирал нос. Когда он повторно пришел к ним на

ужин вместе с Либором, он держался скромнее обычного и не ввязывался в споры насчет «Изр-р-раи». Хепзиба сразу это отметила, а еще ранее через музейных коллег ей стало известно, что Финклер рассорился со СТЫДящимися соратниками по поводу академического бойкота. Насколько серьезным был этот разрыв, она не знала.

— Похоже, он не смог отказаться от заранее оплаченного лекционного тура в Иерусалим, Тель-Авив и Эйлат, — предположил Треслав.

— Джулиан! — упрекнула его Хепзиба.

(Ага!)

— Что — Джулиан?

— Ты это знаешь доподлинно?

Треслав признался, что доподлинно он этого не знает. Однако он хорошо знает своего друга.

— Иногда я в этом сомневаюсь, — сказала Хепзиба.

(Ага!!)

В отношениях с Треславом он тоже утратил былую задиристость, возможно отдавая должное переменам, происшедшим со старым другом под влиянием Хепзибы. А может, он просто сменил тактику, рассчитывая заполучить то, что теперь имел Треслав?

Правда, Хепзиба вроде бы не принадлежала

к его, Финклера, типу женщин, особенно если брать для сравнения Тайлер. Треслав знал, что у Финклера были любовницы, в том числе еврейки. Об этом ему рассказывала Тайлер. Однако он не знал, как они выглядят, и наверняка испытал бы шок при виде одного лишь монументального бюста Ронит Кравиц. В его представлении любовницы Финклера были еврейскими вариантами Тайлер (которую он тоже долгое время считал еврейкой): изящные, энергичные и резкие на поворотах, предпочитающие брючные костюмы накидкам и шалям. Женщины на каблуках-шпильках, разрезающие воздух отутюженными складками, а не медленно плывущие под парусами широких бесформенных покровов. Словом, ничего даже отдаленно напоминающего Хепзибу. Отсюда вытекало два предположения: либо Финклер нацелился на Хепзибу только затем, чтобы насолить Треславу, либо он открыл для себя доселе малознакомый ему женский тип и воспламенился не на шутку, как это произошло в случае с Треславом. Вопрос первостепенной важности был в том, что чувствовала сама Хепзиба. Не воспламенилась ли она заодно с Финклером?

Впервые он поднял этот вопрос, когда они завтракали в постели. В предыдущие пару дней

Хепзиба была необычно молчаливой (Треслав не знал, что она скрывала от него информацию о новом осквернении музея).

— Не пригласить ли нам Сэма на ужин в один из ближайших вечеров? — спросил он. — Вместе с Либором. Мне кажется, он очень одинок.

— Либор? Ну конечно он одинок.

— Я о Сэме.

Хепзиба отхлебнула из чашки и сказала:

— Как хочешь.

— Нет, пусть будет, как *ты* хочешь.

— Хорошо, мне нравится эта идея.

— Какая конкретно: идея ужина или идея приглашения Сэма?

— Поясни.

— Тебе нравится идея устроить званый ужин не важно с кем или тебе нравится, что именно Сэм придет к нам на ужин?

Она поставила чашку с чаем на тумбочку и перекатилась на его половину постели, вздымая мощную матрасную волну. Когда он был рядом с ней, все обретало вселенскую значимость: она определяла вращение земли, океанские приливы, движение облаков. Заниматься с ней любовью было все равно что выживать в грозовую бурю. В иные ночи он чувствовал себя готовым к тому,

чтобы сгинуть в этой буре навеки. Каждое утро тоже было многообещающим. Что-то нынче будет сказано. Что-то нынче произойдет. Каждый день рядом с ней был событием.

Это так не походило на сожительство с матерями его сыновей, чьи беременности он даже не заметил. Впрочем, они покинули Треслава еще до того, как сами это заметили.

Но в таком случае он должен был хотя бы заметить, что они его покинули.

— К чему ты клонишь? — спросила она, переместившись на ту малую часть постели, которая принадлежала Треславу.

— Я ни к чему не клоню. Просто спросил, как тебе нравится идея званого ужина.

— С Сэмом?

— А, так тебе больше нравится идея насчет Сэма?

— Джулиан, ты о чем?

— Я подумал: может, у тебя с ним роман?

— С *Сэмом?*

— Или пока только желание завести с ним роман.

— С *Сэмом?*

— Не зря же ты без конца повторяешь его имя.

— Джулиан, почему я должна заводить роман

или иметь желание завести его с кем-то еще, если у меня роман с тобой?

— Ну, одно другому не мешает.

— У тебя одно никогда не мешало другому?

— Мешало. Но я не такой, как все.

— Это так, — сказала она. — И я тоже не такая, как все, можешь мне поверить.

— Я верю.

Она повернула его лицо к себе:

— Я никогда не считала Сэма Финклера интересным или симпатичным. Я всю жизнь избегала еврейских мужчин его типа.

— И что это за тип?

— Высокомерный, бессердечный, самовлюбленный, амбициозный и уверенный в своей неотразимости.

— Однако это очень напоминает описания тех двоих, за которых ты выходила замуж.

— Так и есть. А между замужествами я избегала мужчин их типа. И своих мужей я начинала избегать, едва вступив с ними в брак.

— Человек обычно избегает того, чего он боится. Ты боишься Сэма?

Она громко засмеялась. Не слишком ли громко?

— Что ж, ему наверняка понравится мысль, что

я его боюсь, но это не так. Странный вопрос. Быть может, это ты боишься Сэма?

— Я? Почему я должен его бояться?

— По той же причине, что и я.

— Ты же сказала, что не боишься.

— А ты не очень-то мне поверил. У тебя с ним в школе не было связи?

— В смысле, секса? У меня с Сэмом?! Ты рехнулась?

— Не пугайся ты так. Между мальчишками такое бывает, разве нет?

— Лично я не знал ни одного такого мальчишки.

— И может быть, зря. Некоторые вещи лучше пройти и отбросить уже на ранней стадии. У обоих моих мужей это было в школе.

— Они трахались друг с другом?

— Да нет же, глупый. Они не были знакомы в школьные годы. У них это было с другими мальчишками.

— И оба твоих брака оказались несчастливыми.

— Но не по этой причине. Просто я все время ждала тебя.

— То есть нееврея?

Она обхватила его тяжелой рукой и притянула

к своей груди:

— Как нееврей, должна признаться, ты меня несколько разочаровал. Большинство знакомых мне неевреев не штудируют Маймонида и не заучивают ласкательные словечки на идише.

Он отдался на волю штормящего матрасного моря. Когда она обнимала его таким образом, он не видел ничего, но цвет его слепоты был цветом вздымающихся волн.

— Моя *нешомелех,* — пробормотал он, прижатый лицом к ее плоти.

Однако он еще не был готов закрыть эту тему и потому на следующий день, поедая омлет, приготовленный с помощью пяти кастрюль и сковородок, спросил:

— А правда, что между вами существует особая связь?

— Между кем?

— Между евреями.

— Это смотря какие евреи.

— Я хочу сказать: типа как у голубых. Вы можете сразу отличить еврея от нееврея?

— Не всегда. Я, например, редко ошибусь, приняв гоя за еврея, но вполне могу не распознать еврея при первом общении.

— А как ты это определяешь?

— Трудно сказать. Нет какого-то четкого критерия, тут всего понемногу: черты лица, мимика, жестикуляция, манера речи.

— То есть это расовые признаки?

— Я бы не назвала их расовыми.

— Религиозные?

— Нет, уж точно не религиозные.

— Тогда что?

Она не могла объяснить.

— Но связь все-таки существует?

— Я же сказала, не всегда.

— А с Сэмом?

— Что такое — с Сэмом?

— С ним у тебя существует связь?

Она устало вздохнула.

Она вздыхала и позднее, когда Треслав снова задавал этот вопрос — во второй и в третий раз. Правда, в третий раз причиной вздоха были не только его беспочвенные подозрения. Дело в том, что как раз накануне Сэм неожиданно явился к ней в музей. Прежде он ничего подобного не делал, и она не знала, чем объяснить этот визит. Создавалось впечатление, что Финклер материализовался из разговоров Треслава, из его настойчивых напоминаний.

В первую минуту она буквально разинула рот

от удивления, чем, должно быть, удивила и самого гостя.

— Какими судьбами? — спросила она, пожимая протянутую руку.

Правильный ответ был ей уже известен: появление Финклера было предопределено страхами ее возлюбленного.

— Я проезжал мимо и вдруг подумал: почему бы не заглянуть в музей? — сказал он. — Посмотреть, как идут дела. Джулиан здесь?

— Нет, он в последнее время не приходит. Ему здесь нечем заняться, пока мы в таком разобранном виде.

Финклер оглядел застекленные стенды, стенную роспись, ряды дисплеев с наушниками. На дальней стене он заметил увеличенный фотоснимок, кажется сэра Исайи Берлина вместе с Фрэнки Воаном.[115] Хотя эти двое вряд ли могли попасть в один кадр.

— А по-моему, все выглядит вполне собранным, — сказал он.

— Одна видимость. Еще ничего не подключено.

---

[115] Примечания: 115

Берлин Исайя (1909–1997) — британский философ и историк, один из основоположников либеральной политической философии. *Воан Фрэнки* (Фрэнк Абельсон, 1928–1999) — британский эстрадный певец.

— Значит, я сейчас не могу проследить свою генеалогию по базе данных?

— Я не знала, что вы этим интересуетесь.

Финклер пожал плечами в знак того, что и сам толком не знает пределов своим интересам.

— Могу я рассчитывать на небольшую экскурсию? — спросил он. — Или вы слишком заняты?

Она взглянула на часы:

— Разве что минут на десять. Но обещайте не воспринимать увиденное с таким сарказмом, как в прошлый раз, когда мы затронули эту тему. Еще раз напоминаю: это не музей холокоста.

Он улыбнулся, и Хепзиба отметила про себя, что он не так уж несимпатичен.

— А хоть бы и холокоста, — сказал он.

2

Когда Треслав сказал Хепзибе, что Финклер выглядит одиноким, он не стал уточнять, на чем основывалось это его впечатление. А основывалось оно, помимо собственного страха Треслава перед одиночеством, на эсэмэске от Альфредо следующего содержания: «видел твоего крейзанутого телеголовастика он шел снимать блядей удивлен что тебя с ним не было».

Треслав ответил: «откуда ты знаешь что он шел

снимать блядей?»

Альфредо потребовалось два дня, чтобы снизойти до пояснения: «у него язык свисал до пупа».

Треслав набрал текст: «ты не мой сын», но не отправил это послание. Он не хотел давать Альфредо повод пройтись насчет его отцовской состоятельности.

Что касается Финклера — оставляя в стороне подозрения, — то Треславу было его очень жаль, если низменные инсинуации Альфредо имели под собой основания, и жаль вдвойне, если они не соответствовали истине. Так или иначе, Финклер выглядел несчастным человеком, оставшимся без домашнего тепла, к которому хочется возвращаться, и без жены, о которой нужно заботиться.

Это воистину тяжко — потерять женщину, которую ты любил.

3

— Я думаю, это всего лишь твои фантазии, — сказал Либор.

Треслав пригласил его полакомиться сэндвичами с солониной в заново открывшемся

«Нош-баре»[116] на Уиндмилл-стрит. Много лет назад Либор приводил сюда Треслава и Финклера в процессе приобщения юнцов к тайным прелестям лондонской жизни. В ту пору сэндвич с солониной в Сохо символизировал для Треслава проникновение в запретный мир космополитического обжорства и разврата. У него возникало такое чувство, будто они перенеслись в эпоху заката Римской империи, пусть даже сэндвичи с солониной и не входили в меню древнеримских чревоугодников. А сейчас Треслав задумывался уже о другом: что, если это закат его собственной жизни?

Для Либора такой вопрос был куда более уместен. Старик тщательно отделял куски засоленной говядины от ломтей ржаного хлеба, который плохо переваривался его желудком, а отделив, потом так и не попробовал мясо. Он не попросил горчицы. Он отказался от маринованных огурчиков.

Он теперь уже не ел, а только перекладывал пищу с места на место.

---

[116] Примечания: 116

Эта закусочная была одной из достопримечательностей лондонского района Сохо со времени ее открытия в 1944 г. В конце 1980-х гг. «Нош-бар» закрылся и возобновил работу только в 2009 г., но ненадолго — до сентября 2010 г.

В былые годы он бы ежеминутно поглядывал в окно, на дефилирующих по улице живописных представителей богемы. Сейчас он смотрел на все как сквозь закрытые веки. «Похоже, я зря привел его сюда», — подумал Треслав.

Но эта встреча, если честно, задумывалась им не ради Либора и ностальгических воспоминаний. Она была в первую очередь нужна самому Треславу.

— С какой стати мне фантазировать? — спросил он. — Я счастлив. Я влюблен. И, как мне кажется, не безответно. Откуда в таком случае берутся эти страхи?

— Оттуда же, откуда всегда, — сказал Либор.

— Это слишком чешская мысль, чтобы я уловил ее с ходу. Ты можешь пояснить?

— Все наши страхи приходят оттуда, где таится ожидание конца времен.

— Это еще более по-чешски. Я вовсе не ожидаю конца времен.

Либор улыбнулся и накрыл его руку дрожащей старческой ладонью. Это движение, исключая старческую дрожь, напомнило ему аналогичный жест Хепзибы. Почему все норовят похлопать или погладить его по руке?

— Друг мой, все эти годы, сколько я тебя знаю,

ты ожидаешь конца времен. Ты готовишься к нему всю жизнь. И Малки заметила это в тебе уже при первом знакомстве. Она сказала, что тебе не нужно даже слушать Шуберта, поскольку ты и без того вполне созрел.

— Созрел для чего?

— Для прыжка в пламя. Разве не это подразумевается переездом к моей племяннице и чтением Маймонида?

— Я как-то не ассоциирую Хепзибу с пламенем.

— Неужели? Тогда о чем ты так тревожишься? Я думаю, ты получаешь то, зачем ты туда явился, — полный еврейский гешефт. Если ты считаешь, что от этого недалеко до катастрофы, я не стану утверждать, что ты не прав.

Он хотел было сказать: «Все это чушь, Либор». Но если ты вытащил старика из дому и угостил сэндвичем с солониной, который он не в состоянии переварить, не след говорить ему, что он несет чушь.

— Я не согласен с таким взглядом на ситуацию, — сказал он по возможности обтекаемо.

Либор пожал плечами. Нет так нет. У него уже не было сил спорить. Но он видел, что Треслав ждет продолжения.

— Грехопадение, потоп, Содом и Гоморра,

Страшный суд, Масада,[117] Освенцим… взгляни на еврея — и увидишь Армагеддон, — сказал он. — Мы рассказываем занятные истории о Сотворении, но разрушать нам удается еще лучше, чем творить. Мы находимся в начале конца времен. И всех ожидает расплата за соучастие. Одни мечтают поскорее сбросить нас в пламя, другие готовы лететь туда вместе с нами. Либо так, либо этак. Ты, судя по всему, склоняешься ко второму варианту.

— Ты говоришь совсем как твоя правнучатая племянница.

— Ничего удивительного. Мы же одна семья как-никак.

— А тебе не кажется, что такой подход отдает национальным эгоцентризмом, как сказал бы Сэм? Выходит, либо так, либо этак, но все равно без евреев никак.

Либор отодвинул в сторону свою тарелку и сказал:

— Выходит, никак.

Треслав посмотрел в окно. На противополож-

---

[117] Примечания: 117

Древняя крепость на вершине скалы близ Мертвого моря. Во время Иудейской войны 66–73 гг. Масада была последним оплотом евреев, восставших против римских властей. Когда падение крепости стало неминуемым, ее защитники совершили коллективное самоубийство.

ной стороне узкой улицы страхолюдная толстуха в мини-юбочке пыталась завлечь проходящих мужчин в заведение столь сомнительное, что войти туда решился бы только законченный отморозок или псих. Толстуха заметила Треслава в окне напротив и поманила его рукой. «Тащи сюда и своего приятеля, — говорил этот жест. — И свой сэндвич с солониной тащи до кучи». Треслав поспешил отвернуться.

— Стало быть, ты считаешь, — подхватил он предыдущую мысль собеседника, — что я выдумываю связь между Хепзибой и Сэмом, чтобы ускорить собственный конец?

Либор поднял руки в знак отрицания:

— Я выразился иначе. Но люди, ожидающие самого худшего, во всем видят только самое худшее.

— Но я ничего не *видел.*

— В том-то и дело.

Треслав наклонился вперед, положив локти на стол:

— Раз уж вы с Хепзибой одна семья, скажи откровенно: по-твоему, она способна на такое?

— Сойтись с Сэмом?

— Или с кем-то еще.

— Если она член моей семьи, это не делает ее

отличной от других женщин. Но я не согласен с утверждением, что непостоянство заложено в женской природе. Я сужу по своему опыту. Малки мне никогда не изменяла.

— Ты полностью в этом уверен?

— Конечно, я не могу быть полностью уверенным. Но если она не позволяла мне усомниться в ее супружеской верности, значит, она мне не изменяла. О верности не обязательно судить по делам; бывает достаточно желания заявить об этом, с одной стороны, и желания в это поверить — с другой.

— Такой подход, может, и применим в твоей Праге, но не за ее пределами.

— Однако мы с Малки жили не в Праге. Я хочу сказать, что какие-то отдельные ошибки не должны менять картину в целом. Главное — это взаимное стремление хранить верность.

— То есть главное, чтобы Хепзиба *стремилась* быть верной мне, пусть даже она при этом трахается с Сэмом?

— Надеюсь, она так не делает.

— Я тоже на это надеюсь.

— Правильнее будет сказать: я в этом очень сильно сомневаюсь. Вопрос в том, почему *ты* сомневаешься в ее верности, не имея к тому ни-

каких видимых поводов?

Треслав задумался над этим вопросом.

— Закажу-ка я еще сэндвич, — произнес он чуть погодя, словно сэндвич мог стимулировать его мыслительный процесс.

— Возьми мой, — предложил Либор.

Треслав покачал головой и подумал о Тайлер. «Возьми мою, — как будто намекнул ему Финклер, отправляясь налево. — Возьми мою, пока я занят с другой».

Он никогда не говорил Либору о своих свиданиях с Тайлер и совместных просмотрах телепремьер Финклера. Он не говорил об этом никому. Эта тайна принадлежала не ему одному, но и несчастной Тайлер. А также Финклеру, пусть он о ней и не ведал. Но сейчас Треслава так и подмывало рассказать об этом Либору. Сам по себе рассказ позволил бы ему кое-что прояснить, хотя что именно — он еще не знал. И он не мог узнать, пока не услышит собственный голос, излагающий эту историю. Либор уже очень стар, и он не болтлив. Тайна, которой суждено уйти в могилу вместе с Треславом, уйдет туда же и вместе с Либором, только гораздо раньше.

И под влиянием момента он выложил все начистоту.

Либор слушал его молча, а когда рассказ был окончен, он, к изумлению Треслава, заплакал. Не то чтобы залился слезами, нет — просто слезинка-другая блеснули в уголках стариковских глаз.

— Я очень сожалею, — сказал Треслав.

— Да уж, тут есть о чем сожалеть.

Треслав не знал, что сказать дальше. Он не ожидал такой реакции. Либор много чего видел и слышал, вращаясь в светских кругах и когда-то сам развлекал Треслава анекдотическими историями из серии «Сперва перепихнемся, а интервью потом». Мужчины и женщины в его голливудском мире делали это сплошь и рядом. «Не обязательно судить по делам», — говорил он Треславу буквально только что.

— Мне не следовало об этом рассказывать, — признал Треслав. — Похоже, я ошибся.

Либор пристально смотрел на свои руки.

— Да, твой рассказ был ошибкой, — произнес он, не поднимая глаз, как будто обращался совсем не к Треславу. — Возможно, даже большей ошибкой, чем твои действия. Я не хочу взваливать на себя тяжесть этого знания. Я предпочел бы помнить другую Тайлер. И другого тебя. О Сэме я не говорю, он сам способен о себе позаботиться. Лучше бы я не ведал о том, что ваша дружба омра-

чена изменой. Ты сделал этот мир еще печальнее, Джулиан, а он и без того очень печальное место, поверь мне. Это было жестоко с твоей стороны.

— Прости. Либор. Сам не знаю, что меня подтолкнуло.

— Нет уж, ты все прекрасно знаешь. Рассказывая такие вещи, мужчина всегда знает, зачем он это делает. Ты ведь втайне этим гордишься, верно?

— Горжусь? О господи, нет!

— Считаешь это своей победой?

— Да нет же, о господи!

— Как бы то ни было, ты доволен тем, что хоть здесь обставил Сэма. Разве не так?

Треслав решил подумать, прежде чем отвечать на сей раз. Нельзя же все время твердить «нет, о господи» с минимальными вариациями.

— Я не хотел его *обставить*, Либор. Тут нечто иное. Я хотел *приобщиться* к его миру. К их миру.

— От которого ты был отстранен, как тебе казалось?

— Да, — сказал Треслав, снова после паузы.

— Потому что они были такой блестящей парой?

— Да, пожалуй.

— Но ведь Сэм был твоим другом. Вы росли вместе. Вы регулярно с ним виделись. Он жил в том же мире, что и ты.

— Мы росли вместе, но его мир всегда отличался от моего. Такой вот парадокс.

— Потому что он умен? Потому что он известен? Потому что он еврей?

Прибыл сэндвич с солониной для Треслава, политый горчицей точно так же, как в старые времена. С парой тонко нарезанных огурчиков.

— Так сразу и не сообразишь, — сказал Треслав. — Впрочем, да — по все трем причинам.

— Значит, когда ты лежал в объятиях его жены, ты чувствовал себя таким же умным, таким же известным и таким же евреем, как он?

Треслав не стал говорить, что он никогда по-настоящему не лежал в объятиях Тайлер, как и она не лежала в его объятиях. Ему не хотелось углубляться в детали и сообщать Либору, что она занималась сексом, повернувшись к нему спиной.

— Что-то в этом роде, — сказал он.

— И какое из трех тебя особенно привлекало?

Треслав издал глубокий вздох, давая выход чувству вины и своим потаенным страхам:

— Так сразу и не скажешь.

— Тогда позволь мне сказать за тебя. Больше всего тебя привлекало еврейство.

Треслав прервал его, потянувшись через стол и схватив за руку.

— Прежде чем продолжить, — сказал он, — тебе следует знать, что Тайлер не была еврейкой. Раньше я считал ее еврейкой, но это оказалось не так.

— Ты был разочарован?

— Да, немного.

— И все равно я назову еврейство основным из трех. То же самое еврейство стало причиной твоих страхов насчет Хепзибы и Сэма.

— Что-то я не понял, — сказал Треслав.

Старик, похоже, снова говорил загадками.

— В чем ты подозреваешь Хепзибу и Сэма? В том, что первая изменяет тебе со вторым. Есть у тебя хоть какие-то доказательства? Никаких. Твои подозрения основываются только на том, что у этих двоих имеется нечто общее, чего нет у тебя. Они евреи, а ты нет, — стало быть, они трахаются за твоей спиной.

— Хватит, Либор!

— Как хочешь. Но лучшего объяснения своим страхам тебе не найти. Ты не первый гой, который обвиняет евреев в блудливости. Нас некогда

изображали с рогами и хвостом, как козлов или чертей. Мы плодились, как вши и тараканы. Мы оскверняли христианских женщин. Нацисты недаром…

— Либор, остановись! Это глупо и оскорбительно.

Старик откинулся на спинку стула и почесал голову. Когда-то он имел жену, которая делала это за него и смеялась, надраивая лысый череп, как кухарка драит старый котел. Но это было давно.

Оскорбительно? Он пожал плечами.

— Мне ужасно стыдно за все сказанное сегодня, — признался Треслав.

— Ага, ты стыдишься? Вот еще кое-что общее у вас с Сэмом.

— Либор, пожалей меня.

— Не я это начал, Джулиан. Ты пригласил меня сюда, чтобы обсудить свои страхи относительно Сэма и Хепзибы. Я спросил: на чем основаны твои подозрения? Ты не смог сказать ничего определенного. Я твой друг, и потому я стараюсь помочь тебе определиться. Ты приписываешь этим двоим какую-то особую сексуальную энергетику, и это тебя пугает. Ты думаешь, что у них возникнет непреодолимая тяга друг другу потому, что они евреи, и что они не станут противиться этой тяге,

поскольку им, беспринципным евреям, наплевать на гоя вроде тебя. Джулиан, ты антисемит.

— Я?!

— Не изображай изумление. Ты такой не один. Мы все антисемиты. И у нас нет другого выбора. Ни у тебя, ни у меня, ни у кого.

Он так и не съел ни кусочка сэндвича.

4

Они втроем отправились в театр — Хепзиба, Треслав и Финклер. У Треслава был день рождения, и Хепзиба предложила устроить выход в свет вместо домашних посиделок, каковыми и так оборачивался каждый их вечер. Они звали и Либора, но тому не понравилось название пьесы.

Оно не нравилось никому из них. Но, как сказал Финклер, если вы будете отказываться от похода в театр всякий раз, когда вам не нравится название пьесы, то этот поход может не состояться никогда. Кроме того, пьеса шла всего неделю, но уже наделала много шуму — этакий образчик агитпропа, по поводу которого читатели забрасывали газеты гневными или восторженными письмами.

— Ты уверен, что это не испортит тебе праздник? — спросила Хепзиба, спохватываясь в

последний момент.

— Я же не дитя малое, — ответил Треслав.

Он не стал добавлять, что его праздник и так уже испорчен, а валить все на пьесу было бы несправедливо.

Называлась она «Сыны Авраамовы» и была призвана показать страдания избранного народа с древнейших времен вплоть до наших дней, когда избранные решили переложить бремя страданий на кого-нибудь неизбранного. Финальная сцена представляла собой эффектно разыгранную живую картину разрушения и гибели, с клубами дыма, лязгом металла и музыкой Вагнера, под которую избранные исполняли дьявольскую пляску в замедленном ритме, подвывая и вскрикивая, омывая свои ступни и ладони в крови, густым кетчупом сочившейся из тел их жертв, в том числе детей.

Финклер, сидевший рядом с Хепзибой (Треслав находился по другую сторону от нее), просмотрел программку и был удивлен, не обнаружив имени Тамары Краус среди авторов или консультантов. По ходу спектакля у него было такое чувство, что Тамара присутствует здесь же — не рядом с ним непосредственно, ибо рядом с ним была Хепзиба, но где-то поблизости. Сама атмосфера на сцене и

в зале, казалось, была пропитана сладострастием ее расчетливой мести.

В последние секунды спектакля на полупрозрачный занавес-экран была спроецирована фотография массового захоронения в Освенциме, которую плавно сменила фотография руин в секторе Газа.

Типичный стиль Тамары Краус.

Зал аплодировал стоя. Ни Хепзиба, ни Треслав не поднялись со своих мест. Что до Финклера, то он поднялся и громко хохотал, поворачиваясь во все стороны, чтобы его видели все вокруг. Треслава удивила столь странная, диковато-гротескная реакция. Это что — Финклер съехал с катушек?

Среди публики находилось несколько СТЫДящихся евреев, но с Финклером они держались подчеркнуто холодно. Один лишь Мертон Кугле приблизился к нему в фойе и обменялся парой фраз.

— Ну как? — спросил он.

— Превосходно, — сказал Финклер. — Просто превосходно.

— Тогда почему ты смеялся?

— Это был не смех, Мертон. Это были конвульсии от горя и потрясения.

Кугле кивнул и вышел на улицу. «Небось по-

шлепал в супермаркет, чтобы стырить пару банок бойкотируемой израильской осетрины», — подумал Финклер.

Зрители покидали театр тихо и задумчиво. Такая тихая задумчивость предполагает основательное знание предмета раздумий. Насколько мог судить Финклер, в большинстве своем это были люди творческих профессий, а также учителя и медики. Среди них он опознал несколько завсегдатаев демонстраций на Трафальгарской площади («Нет резне!», «Остановите израильский геноцид!»). В иное время он бы задержался, чтобы пожать им руки сурово и многозначительно, как поздравляют друг друга люди, выжившие после массированного авианалета.

Финклер предложил посетить бар в подвале театра и выпить по случаю дня рождения Треслава. Это место напомнило обоим дни их студенчества. Разливное пиво редких сортов и восточные закуски: хумус, табуле, пита. Подвальные ниши с черными портьерами, где можно уединиться для приватной беседы. Финклер заплатил за выпивку, чокнулся с Треславом и Хепзибой, а затем погрузился в молчание. В течение следующих десяти минут никто из них не проронил ни слова. Треслав гадал: может, молчание этих

двоих свидетельствует о подавляемых сексуальных желаниях? Ранее он сильно удивился, когда Финклер принял их приглашение, то есть приглашение Хепзибы, посетить театр. Финклер наверняка предвидел, что они разойдутся во мнениях относительно этой пьесы и, возможно, даже поругаются. Так что он не мог ожидать ничего хорошего от этого вечера и потому, соглашаясь, должен был иметь еще какие-то скрытые мотивы. Искоса Треслав следил за их взглядами и движениями рук. Ничего особого он не увидел.

В конечном счете узы тягостного молчания были разорваны появлением нового человека.

— Привет! Не ожидал увидеть тебя здесь!

— Эйб!

Хепзиба поднялась ему навстречу, выпутываясь из подвернувшихся складок портьеры.

— Познакомьтесь: Джулиан, Сэм — а это мой бывший.

«Наверное, он сейчас пытается угадать, который из нас ее нынешний: Джулиан или Сэм?» — подумал Треслав.

Эйб пожал руки и присоединился к их компании. Это был красивый мужчина с тонкими чертами и хитроватым выражением лица, с нимбом вьющихся черных волос, в которых

проблескивали серебристые нити, с ястребиным носом и близко посаженными глазами. Если бы потребовалось одним словом дать определение его лицу, Треслав выбрал бы слово «пронзительное». Это было лицо пророка или философа — и Треслав не без удовольствия подумал, что в таком случае из них двоих ревновать следует Финклеру.

Ранее Хепзиба рассказывала ему о двух своих мужьях, Эйбе и Бене, но сейчас он не мог вспомнить, кто из них был юристом, а кто — актером. Сопоставив детали — место их встречи, внешность экс-мужа и его черную майку с короткими рукавами, — он решил, что Эйб должен быть актером.

— Эйб юрист, — с опозданием сообщила Хепзиба.

Треслав отметил, что она явно взволнованна, оказавшись в центре внимания сразу стольких мужчин. Ее прошлое, ее настоящее, ее будущее…

— Почему вы удивились, встретив здесь Хепзибу? — спросил Треслав, этим вопросом как бы заявляя на нее свои права, чем не стал бы утруждаться более уверенный в себе мужчина.

Эйб сиял, как раскаленные угли в камине.

— Это пьеса не ее типа, — сказал он.

— А разве у меня есть какой-то свой тип пьесы? — спросила Хепзиба. Весьма игриво, как не преминул отметить Треслав.

— Во всяком случае, не этот.

— Ты слышал о моем музее?

— Слухи доходили.

— Тогда тебя не должно удивлять, что я стараюсь быть в курсе культурных событий.

— Хоть и не обязательно быть в курсе событий столь низкого пошиба, — вставил Финклер.

— Ты хочешь сказать, что тебе эта пьеса не понравилась? — озадачился Треслав.

— Ну-ка, ну-ка, это интересно, — сказала Хепзиба.

«Ага, так вот зачем он это сказал; чтобы заинтересовать Хепзибу», — подумал Треслав.

Финклер повернулся к Эйбу и как бы между прочим пояснил:

— Мы с Джулианом знакомы со школьных времен, и он считает, что изучил все мои пристрастия и антипатии.

Треслав решил не давать ему спуску:

— Ты же СТЫДящийся еврей. Ты же Крутой СТЫДящийся Сэм. Тебе не может не понравиться эта пьеса. Она была написана как раз для тебя. Она могла бы быть написана тобой. Ты много раз

высказывался в том же духе.

— Может быть, в том же духе, но не в таких выражениях. Я никогда не проводил аналогий с нацистами. Кстати, разве я сказал, что пьеса мне не понравилась? Она мне очень даже понравилась. Но, на мой взгляд, в ней маловато музыкальных номеров и не хватает яркого хита вроде «Весны для Гитлера».[118] Нужна простенькая навязчивая мелодия, под которую хорошо притопывать. А вы видели, чтобы кто-нибудь притопывал под Вагнера?

— Я так понял, что для тебя это прежде всего вопрос вкуса? — спросил Треслав.

— А для тебя разве нет?

— Только не в музыкальном плане.

Финклер обнял его за плечи:

— Знаешь, сейчас мне не хочется обсуждать эту пьесу. Я предпочту просто выпить еще раз за твой день рождения. Эйб?

Тут выяснилось, что Эйб не пьет, по крайней мере этим вечером. По его словам, он в данный

---

[118] Примечания: 118

Аллюзия на американский фильм «Продюсеры» (1968; режиссер М. Брукс), герои которого затевают финансовую аферу, для чего им нужно поставить заведомо провальное шоу на Бродвее. Чтобы обеспечить этот провал, они выбирают для постановки откровенно пронацистскую пьесу «Весна для Гитлера» и переделывают ее в комический мюзикл, но вопреки их ожиданиям пьеса имеет огромный успех, воспринимаемая критиками и публикой как блестящая сатира.

момент выполнял работу.

— Вечно в трудах, — усмехнулась Хепзиба на правах экс-жены.

— Что за работа? — спросил Треслав.

— Собственно, работа состоит в том, чтобы просмотреть пьесу и оценить реакцию публики. Заказчик — один из соавторов.

— То есть ты должен прикинуть, стоит ли ему требовать с евреев возмещения ущерба? — сказала Хепзиба, беря его за локоть.

Треслав на миг как бы соприкоснулся с их семейным прошлым, и это ему совсем не понравилось. Как два бокала вина были годовой нормой для Хепзибы, так и в случае с кокетством, на взгляд Треслава, существовала норма — и за один этот вечер она свою годовую норму кокетства выбрала даже с лихвой.

— Если вам нужно знать мнение зрителей, я готов поделиться своим, — сказал он, но его фраза осталась неуслышанной, придясь на момент, когда эти двое обменивались какими-то репликами.

— Эйб всегда умел выпотрошить из ответчика все до последнего пенни, — сказала Хепзиба, поворачиваясь к Треславу.

— На сей раз ситуация иная, — сказал Эйб.

— Вот как? Значит, это евреи притянули его к суду, а не он их?

— Не евреи. И это не финансовый иск. Недавно он был уволен из университета: помимо сочинения пьес, он работает морским биологом. Его уволили, когда он находился под водой, что-то там исследуя, а теперь он требует восстановления на работе.

— Уволили из-за этой пьесы?

— Не совсем. Они сочли некорректными его высказывания о том, что Освенцим был скорее лагерем отдыха и здравницей, чем адом для находившихся там евреев.

— А раз нет ада, то нет и дьявола — такова идея?

— Меня его идеи не касаются. Но он заявил, что может документально доказать наличие в этих лагерях казино, борделей и лечебных процедур для страдающих ожирением. У него есть фотографии лагерных евреев, лежащих в шезлонгах перед бассейнами и кушающих клубничное мороженое, которое им подносят лагерные официантки.

Хепзиба засмеялась.

— Тогда, если вернуться к его пьесе, Газа тоже должна быть курортной зоной, — сказала она. —

Иначе выходит нестыковка. Нельзя же клеймить евреев сравнением с нацистами, если нацисты на самом деле были добродушными филантропами.

— Возможно, Сэм прав в том смысле, что эту пьесу следует рассматривать как легкую романтическую комедию, — заметил Треслав, но снова попал на чужие реплики и снова остался неуслышанным.

— Такой подход к аналогиям выглядит чересчур формалистским, — сказал Эйб, отвечая Хепзибе, а не Треславу.

Однако при этом он смотрел на Треслава, обращаясь к нему как мужчина к мужчине, как супруг к супругу: «Какие же они все-таки формалистки, эти наши жены!»

— А вы сами что думаете как еврей? — быстро спросил Треслав, пока его опять не перебили.

— Что ж, как юрист…

— Нет, что вы думаете *как еврей?*

— О пьесе? Или о моем клиенте?

— Обо всем. О пьесе, о клиенте и об освенцимском курорте.

Эйб продемонстрировал ему открытые ладони.

— Как еврей, я считаю, что на всякий аргумент найдется контраргумент, — сказал он.

— Вот почему из евреев выходят такие хоро-

шие юристы, — засмеялась Хепзиба, беря за руки обоих мужчин.

«Эти люди не знают, как постоять за себя, — подумал Треслав. — И потому их удел — быть битыми».

Он отправился в туалет. Его всегда раздражали туалеты, потому что там все иллюзии рассеивались, стоило лишь обратиться к себе, глядя в зеркало над раковиной.

— Они утратили чутье на оскорбления, — сказал Треслав своему зеркальному двойнику, умывая руки.

А по возвращении он застал всех троих за оживленной беседой. Сэм, Хепзиба и Эйб — этакий уютный финклерский кружок. «Или это я утратил чутье», — подумал Треслав.

Глава 11

1

«Как же они мне осточертели!» — думала Хепзиба спустя неделю, выйдя поутру из дому и направляясь в музей.

Если насчет Финклера она была еще не совсем уверена, то Эйб обхаживал ее самым недвусмысленным образом. Экс-муж два или три раза звонил ей после той случайной встречи в баре.

— Оставь меня в покое, — говорила она. — Я вполне счастлива.

— Я видел, что ты счастлива, и ты этого заслуживаешь, но разве твое счастье мешает тебе немного поболтать и выпить со своим бывшим?

— Я не пью.

— Но в тот вечер ты пила.

— То был особый случай. Меня публично обвинили в детоубийстве — как после такого не напиться?

— Тогда я тоже обвиню тебя в детоубийстве.

— Не шути на эту тему.

— Ладно, допустим, ты не пьешь. Но поговорить-то ты можешь?

— Мы сейчас говорим.

— Я хотел бы больше узнать про твой музей.

— Музей как музей. Я пришлю тебе буклет.

— Он посвящен холокосту?

«Черт, еще один туда же!» — подумала она.

Один туда, другой обратно: Финклер как раз перестал иронизировать по поводу музея. Он больше не наносил внезапных визитов, но умудрялся напоминать о себе чаще прежнего либо собственной персоной — объявляясь в местах, где она не ожидала его увидеть, — либо опосредованно — возникая на телеэкране или в разговорах третьих лиц, включая телефонную болтовню Эйба, между делом заметившего, что он был рад познакомиться с Сэмом Финклером и что ему, Эйбу, всегда нравились его передачи. Ей ни в коей мере не было свойственно сексуальное тщеславие — просторные накидки и шали были тому достаточным подтверждением, — но она сильно сомневалась в искренности интереса Финклера к ее работе. Подобные проявления любопытства были не в его стиле. Хорошо, что его насмешки сменились любезностью, но ей было трудно судить об истинных причинах этой любезности, тем более на фоне подозрений и предчувствий Треслава.

В результате она начала злиться на саму себя: вновь она утратила объективность восприятия и смотрела на мир глазами любимого мужчины.

Не исключено, что все эти раздражающие факторы являлись лишь прикрытием для более глубокого чувства, сочетавшего в себе гнев и грусть. Ее тревожил Джулиан, который все больше походил на человека, не знающего, что ему делать с самим собой. То же касалось и Либора. Она виделась с ним все реже, а при встречах он ее уже не смешил. Либор без его шуток не был Либором.

Все это усугублялось информацией, поступавшей к ней в офис: обвинения Израиля в апартеиде и этнических чистках, призывы общественных организаций по всему миру заклеймить военные преступления и бойкотировать Еврейское государство, нескончаемые нападки на евреев и деморализация среди последних — хоть и не поголовная (слава богу, что еще не поголовная), но все же весьма ощутимая. Хепзиба не была ревностной сионисткой и никогда не смотрела на Израиль как на свою историческую родину. Сент-Джонс-Вуд вполне устраивал ее как место жительства для евреев. Она мечтала лишь о том, чтобы Господь в щедрости своей даровал англий-

ским евреям клочок обетованной земли вдоль сент-джонс-вудской Хай-стрит. Однако сионизм не мог остаться за рамками экспозиции Музея англо-еврейской культуры, учитывая вклад, который внесли английские евреи в сионистское движение. Вопрос заключался в том, насколько полно следует, наряду с позитивом, представить и негативные стороны сионизма.

Между тем в акциях противников музея наступило временное затишье. Уже несколько недель дверные ручки не обвешивались беконом, а надписи с призывами к мести не появлялись на музейных стенах. Затишье наступило и на Ближнем Востоке или, по крайней мере, в ближневосточных репортажах британских массмедиа, что не давало свежих поводов для негодования. Да, «Сыны Авраамовы» возбудили читателей крупноформатных газет и завзятых театралов — в чьей среде это негодование тихо тлело всегда, разгораясь время от времени, — но в данный момент еврейская тема все же была не самой обсуждаемой в «образованных кругах общества». Однако это затишье казалось ей еще более зловещим, чем буря протестов. Достаточно было какой-нибудь военной операции против Газы, Ливана или даже Ирана, акта насилия или воз-

мездия, скачка котировок на Уолл-стрит или слуха о еврейских подковёрных кознях на Даунинг-стрит — и кампания могла возобновиться с еще большим размахом и еще большей яростью.

Она уже забыла, когда в последний раз спокойно спала, и дело было не только в наличии Треслава у нее под боком. Давно уже она не испытывала радостного подъема, идя по утрам на работу или встречаясь с друзьями. Тревога, как тонкая едкая пыль, лежала на всем, к чему она прикасалась, и на всех, кого она знала, — по крайней мере, на всех знакомых ей евреях. Они тоже смотрели с подозрением и неуверенностью — не столько по сторонам, сколько в свое неопределенное будущее, которое начинало обретать жутковатое сходство с очень даже определенным прошлым.

«Это что, паранойя?» — спрашивала она себя, и этот вопрос повторялся с раздражающей регулярностью. Он звучал в ее голове, когда она под зимним солнцем шла на работу мимо пустого стадиона (вот бы быть спортивным фанатом и не думать больше ни о чем), заранее боясь того, что может ждать ее по прибытии в музей. «Неужели у меня паранойя?» И понемногу ее шаг подстраивался под навязчивый ритм этого вопроса.

Ее пугала сама мысль о том, что музей постоянно находится под прицелом вандалов. А еще ее пугал собственный страх. Считалось, что этот еврейский страх ушел в прошлое под лозунгом: «Это не должно повториться». Она с трудом могла представить себя на месте депортируемой женщины с одного старинного фото — в простеньком платье, с тощим чемоданом и с полными ужаса глазами, — когда шла через Сент-Джонс-Вуд, позвякивая перстнями на пальцах и покачивая дамской сумочкой стоимостью в полторы тысячи фунтов. Но кто знает: возможно, когда-то та самая женщина жила так же благополучно и точно так же не могла себе представить подобное будущее?

Так что это было: паранойя или нет? Она не знала. И никто не знал. Известны утверждения, что параноик сам подсознательно провоцирует ситуации, которых он боится. Но как быть в ее случае? Разве можно спровоцировать ненависть только своим страхом перед ней? По этой логике выходит, что нацисты не были нацистами до тех пор, пока евреи не начали провоцировать их своими страхами, и только после этого, учуяв запах испуганных евреев, они устремились в магазины за коричневыми рубашками и тяжелыми сапогами.

Старинное *foetor Judaicus*.[119] Ему, по идее, должен сопутствовать запах серы, а также рога и хвост, как убедительные доказательства, что еврей знается с нечистой силой и что его законное место в аду. Один из стендов в ее музее содержал ссылку на *foetor Judaicus* наряду с другими христианскими суевериями относительно евреев, в целом призванными продемонстрировать, как далеко мы все ушли от мрачной средневековой ненависти.

Вот только ушли ли?

А что, если этот *foetor Judaicus* действительно существовал, но только без приписанной ему дьявольщины? Что, если запах, который чуяли средневековые христиане, не был связан с рогами-хвостами, а являлся специфическим запахом еврейского страха? Если это так — если есть люди, готовые убить тебя, потому что они чувствуют запах твоего страха, — нельзя ли отнести саму идею антисемитизма к разряду возбуждающих средств, с той разницей, что она трансформирует сексуальную энергию в отвращение и ненависть?

Все может быть. Лично ей было отвратительно само слово «антисемитизм». Оно отдавало чем-то

---

[119] Примечания: 119
Еврейское зловоние *(лат.)*.

медицинским, антисептическим — чем-то, что вы держите на дальней полке в шкафчике своей ванной комнаты. Она давно уже старалась его не употреблять, но в иных случаях без этого было трудно обойтись. «Антисемит, антисемит, антисемит» — это немузыкальное слово резало ей слух, оно вгоняло ее в депрессию.

Если и была какая-то вещь, которую она ни за что не простила бы антисемитам, так это то, что они вынуждали ее иногда произносить слово «антисемит».

Двое мужчин-мусульман, видимо остановившихся для беседы по пути в мечеть близ Риджентс-парка, посмотрели в ее сторону так, что ей стало не по себе. Или, может, им самим стало не по себе от ее взгляда? Она полезла в сумочку за ключами. Мужчины пошли своей дорогой. На другой стороне улицы парень лет девятнадцати болтал по мобильнику. Ей показалось, что он как-то неестественно держит телефон. Может, он только имитирует разговор, тем временем снимая ее на камеру?

Или он телефонным звонком активирует детонатор?

2

Треслав хотел повидаться с Финклером. Им было о чем поговорить. Прежде всего о Либоре: где он, как он себя чувствует?

И еще о той пьесе. Финклер мог сколь угодно фиглярствовать по этому поводу, но нужен был и настоящий ответ, желательно тоже в виде пьесы. «Сыны Исмаила», «Дети Иисуса» — что-нибудь этакое. Увы, Треслав не был литератором, а то он сам взялся бы за дело. К тому же он плохо знал предмет, хотя, как согласились они с Хепзибой, авторы «Сынов Авраамовых» знали его не лучше, однако их это нисколько не смутило. А вот Финклер мог бы состряпать пьесу за один присест. И в политике он поднаторел изрядно, конечно, если то, в чем он поднаторел, можно было назвать политикой.

— На него не рассчитывай, — сказала Хепзиба, каковые слова Треслав потом истолковывал так и сяк, но ни одно из толкований не шло во благо его душевному спокойствию.

Разумеется, их отношения с Хепзибой были еще одной причиной для разговора с Финклером. Треслав не хотел сам поднимать эту тему, но ее вполне мог поднять и Финклер. В любом случае

он рассчитывал угадать хоть что-нибудь по замечаниям вскользь или выражению его лица.

И наконец, о шлюхах. Он не собирался совать нос в чужие дела или навязываться с советами. Да он и не мог ничего посоветовать. Однако он считался другом Финклера, и если тому захочется излить душу…

Он позвонил и, когда Финклер взял трубку, сказал:

— Выходи поиграть.

Но Финклер был не в настроении.

— Я в последнее время утратил всю свою веселость, — сказал он.

На это у Треслава имелся стандартный ответ еще со школьных времен:

— Ничего, я найду немного для тебя.

— Мило с твоей стороны, только вряд ли ты знаешь, где ее искать. Давай перенесем это на другой день.

Он не сказал, что идет снимать блядей. Или что у него партия в покер. Или что вместе с веселостью он утратил все свои сбережения. Он также не сказал: «Передай от меня привет Хеп». Это что-нибудь значило?

Письмо от Альфредо касательно Финклера также не давало покоя Треславу. В том числе из-за

самого Альфредо. К чему эта злобность? К чему это стремление уязвить? Может, он хотел намекнуть, что сам тоже ищет утешения в продажной любви, будучи с детства лишен полноценного отцовского внимания? Типа: «При таком гнилом папаше мне только и кайфу осталось, что шастать на блядки».

Треслав мысленно пожелал ему подцепить сифилис. Но тут же взял пожелание обратно. «На себя посмотри: чем гоняться за еврейством, лучше бы занялся отцовством».

Он не понимал, как можно искать — и находить — утешение у шлюх. Он считал, что для полноценного секса нужно взаимное желание, как минимум. И Финклер, насколько он его знал, должен был считать точно так же. Одно из двух: либо съехавший с катушек Финклер сам не ведал, что творит, в частности подкатывая к Хепзибе, либо он уже подкатывал к ней, получил от ворот поворот и обратился к проституткам, как Треслав в сходных ситуациях обращался к итальянским операм.

Был, впрочем, и третий вариант: он подкатил к Хепзибе и получил свое, а потом уже обратился к проституткам либо с намерением «разбавить» чувство вины, либо от избытка самодовольства.

Это Треслав еще мог понять: пойти ко второй женщине в состоянии эйфории после свидания с первой.

Но только не к проституткам. И не после Хепзибы!

Он был бы рад не думать об этом — о своем друге, который, скорее всего, просто еще не выбрался из глубокой депрессии после смерти жены, и о Хепзибе, которая ужасно нервничала накануне открытия музея и которую не стоило дополнительно нервировать всякими адюльтерными измышлениями. Он был бы рад не думать о себе. Он всего лишь хотел быть счастливым — или *более* счастливым, если он уже был счастлив. И он хотел быть разумным — или *более* разумным, если он все еще был в здравом уме.

Он сам не очень-то верил собственным подозрениям. Ведь он не был ревнив по натуре. И он не впадал ни в бешеную ярость, ни в безысходную тоску, воображая связь Хепзибы с Финклером, с Эйбом или с кем-нибудь в музее — с архитектором, бригадиром, электриком, уборщиком, очищавшим от свиного жира дверные ручки, а то и с тем, кто эти ручки осквернял. Он не то чтобы ревновал, он чувствовал себя отверженным, а это не одно и то же. Ревность могла бы вызвать

у него гнев или даже усилить его влечение к Хепзибе, но он ощущал только одиночество и свою ненужность.

Это все равно что быть ребенком в обществе взрослых, которые тебя вроде бы любят, но никогда не слушают, что ты им говоришь. В лучшем случае рассеянно погладят по головке. Он не был «настоящим Маккоем»,[120] вот в чем дело. Он не только не стал евреем, но еще и превратился для евреев в объект насмешек.

«Настоящий Мак*гой*».

Взять хотя бы невероятно многочисленную родню Хепзибы. Всякий раз, когда она приводила его в гости к какой-нибудь троюродной сестре или двоюродной тетке, вечно окруженным племянниками и племянницами, а также детьми этих племянников и племянниц, вся эта толпа таращилась на Треслава так, словно он еще недавно бегал голышом по бразильским джунглям и не умел членораздельно говорить, а потом его поймали и привезли к ним, чтобы продемонстрировать всю сложность семейных

[120] Примечания: 120

«The real McCoy» — термин, используемый в Британии и США для обозначения чего-то подлинного или высококачественного. Считается, что это выражение возникло в Шотландии в середине XIX в. применительно к одному из сортов виски.

отношений в цивилизованном мире, — хотя рассчитывать на его благодарность за эту ценную информацию не стоит, ибо гою все равно не под силу понять схему родственных связей сложнее чем «единственный ребенок плюс разведенные родители-наркоманы».

В том же духе проходила и трапеза: его потчевали так, будто он не ел по-человечески как минимум лет двадцать — со времени своей пропажи в джунглях — и не ведал иной еды, кроме корешков и кокосов.

— Осторожно, это жжется! — кричали они хором, когда он мазал хреновым соусом кусочек говяжьего языка, хотя остротой этот соус не превосходил бананово-персиковое пюре, которым мазал свою рожицу сидевший напротив малыш.

Далее следовало предупреждение:

— Вам это может не понравиться. Это говяжий язык. Не всем годится в пищу говяжий язык.

Не всем годится? Это в смысле: годится только нормальным людям?

Он понимал, что никто не хочет его обидеть. Как раз напротив. А Хепзиба находила все это очень забавным и, улучив момент, ерошила ему волосы. Однако его страшно напрягали эти сцены. И ведь никто из родственников, откры-

вая перед ним дверь, ни разу не сказал просто: «Заходи, Джулиан, мы рады тебя видеть. Сегодня мы не будем приобщать тебя к нашей пище и к нашим правилам поведения, потому что твое нееврейство касается нас ничуть не больше, чем тебя касается наше еврейство».

Он всегда был для них диковиной вроде дикаря, которого можно прельстить стеклянными бусами или зеркальцем. Он старался не раздражаться и воспринимать это с юмором, но получалось не очень. Всякий раз он давал себе слово при следующем визите держаться непринужденнее, однако этого ему не позволяли. Они не позволяли ему чувствовать себя в своей тарелке.

И однажды он не выдержал…

3

Инцидент с намалеванным лицом.

Как-то раз, еще в студенческую пору, Треслав встретил очень красивую девчонку-хиппи — этакое патлатое дитя природы и марихуаны в подобии детской ночнушки, растянутой под ее недетские формы. То была «тематическая вечеринка» в Восточном Суссексе,[121] участники

[121] Примечания: 121
Графство на юге Англии.

которой изображали собственных родителей такими, какими они были в их возрасте. Вообще-то, главной целью их поездки в те края было не веселье: они выполняли задания по экологии, входившие в учебную программу.

Хотя Треслав посещал семинар «Защита окружающей среды», лично у него не было задания по экологии, но он радовался, что задания есть у других, ведь благодаря этому и состоялась такая славная гулянка.

Летний день клонился к вечеру, воздух был чист и свеж. Они сидели на полу веранды, для удобства разбросав повсюду подушки, и говорили каждому из присутствующих, что они о нем думают. При этом редко кто изливал свои чувства не в самых превосходных степенях. На деревьях в саду горели свечи, играла музыка, все целовались, вырезали фигуры из развешанных на ветвях листов цветной бумаги и рисовали портреты друг друга.

Треслав не имел особого таланта к изобразительным искусствам, а как портретист он и вовсе никуда не годился. И вот, когда он, дымя косячком, сидел на садовой скамейке, к нему приблизилась красивая девчонка-хиппи. Сквозь ее детскую ночнушку просвечивала отнюдь не

детская грудь.

— Дерни, — сказал он, протягивая ей косяк.

— Нарисуй меня, — сказала девчонка, протягивая ему коробку с красками и кисть.

— Не могу, — сказал он. — Я не умею рисовать.

— Мы все умеем рисовать, — сказала она, садясь перед ним на корточки. — Просто дай волю кисти, и все само получится.

— Кисть не сможет все сделать одна, а я ей совсем не помощник.

— Нарисуй меня так, как ты меня видишь, — потребовала девчонка, прикрывая глаза и откидывая назад волосы.

И Треслав намалевал лицо. Получился клоун, но не печально-изящный клоун вроде Пьеро, а рыжий балаганный урод с большим красным носом и черно-белыми разводами вокруг глаз и рта. Грубая аляповатая пародия на клоуна.

Девчонка разрыдалась, увидев, что он с ней сотворил. Хозяин коттеджа, на чьей территории все это происходило, заявил, что Треслав должен немедленно уйти. Все вокруг уставились на них, включая Финклера, который в тот уикэнд выбрался из Оксфорда и был завлечен Треславом на вечеринку. Теперь Финклер держал в объятиях девицу, чье лицо он перед тем успешно изобра-

зил смелыми мазками в стиле Шагала.

— Что я такого сделал? — растерянно спросил Треслав.

— Ты сделал из меня мерзкую дуру, — сказала девчонка.

Меньше всего на свете Треслав хотел сделать из нее мерзкую дуру. Он успел уже влюбиться в эту девчонку, пока рисовал ее портрет. Но он дал волю кисти, а уж та без его ведома постаралась изобразить красную блямбу носа, огромный белый рот и всю прочую мерзость.

— Ты меня подло оскорбил и унизил! — вопила девчонка и сморкалась в свою ночнушку.

Тушь размазывалась по ее лицу, смешиваясь с румянами и пудрой, в результате чего она стала выглядеть еще страшнее, чем ее портрет, намалеванный Треславом. Она это поняла и в результате закатила форменную истерику.

Треслав оглянулся на Финклера в поисках поддержки. Но Финклер покачал головой с таким видом, словно его терпение и без того уже подверглось чересчур жестоким испытаниям и ему, то есть терпению, настал предел. Он еще крепче прижал к груди свою девицу, как будто оберегая ее от омерзительного зрелища, каковое представлял собой Треслав.

— Вали отсюда! — повторил хозяин.

Треслав очень долго не мог оправиться после того инцидента. Он чувствовал себя заклейменным как человек, не способный нормально общаться с другими людьми, особенно с женщинами. Впоследствии он с большой осторожностью принимал приглашения на вечеринки. И всегда испуганно вздрагивал — как иные вздрагивают при виде пауков, — когда видел набор красок или людей, развлечения ради рисующих друг друга.

Разумеется, ему приходило в голову, что женщина, напавшая на него у витрины Гивье, могла быть той самой девчонкой, чье лицо он так бездарно намалевал. Ему много чего приходило в голову по этому поводу. Но если нападавшей была та самая девчонка, она должна была сильно измениться с годами — как внешне, так и характером.

Сложно было представить, чтобы она четверть века вынашивала обиду и отслеживала перемещения Треслава по лондонским улицам. Однако реакция человека на тяжелую психическую травму непредсказуема. Вдруг он этим дурацким портретом превратил бездумно-радостную девчонку в мстительное и злобное чудовище?

Приобщаясь к миру финклеров, он перестал

вспоминать эту историю. Что было, то прошло. Но инцидент с намалеванным лицом неожиданно напомнил о себе, когда Хепзиба затащила его на день рождения кого-то из ее родственников. Обычно дети в этих семьях обращали мало внимания на Треслава, но так случилось, что одна маленькая девочка — какая-то седьмая вода на киселе относительно Хепзибы — вдруг им заинтересовалась.

— Ты муж Хепзибы? — спросила она.

— Ну, так сказать, — ответил он.

— Так сказать, «да» или, так сказать, «нет»?

Треслав не умел разговаривать с детьми. Каждый раз возникала проблема, как к ним обращаться: притворяясь таким же маленьким или притворяясь глубоким старцем. В данном случае, поскольку эта финклерская девочка предположительно была умна не по годам, он выбрал «старческий вариант».

— Так сказать, и да и нет. Я ее муж перед Богом, но не перед людьми.

— А мой папа говорит, что Бога нет, — сказала девочка.

Треслав окончательно растерялся.

— Что ж, на нет и суда нет, — только и смог сказать он.

— Ты забавный, — сказала маленькая девочка.

Она с ним чуть ли не флиртовала. Впечатление преждевременной зрелости усиливалось из-за ее одежды вполне взрослого покроя. Он еще ранее отметил эту особенность: финклерские мамы наряжали своих совсем маленьких дочерей, как взрослых, словно они были уже девицами на выданье.

— В каком смысле забавный? — спросил он.

— Забавный в *другом* смысле.

— Понятно, — сказал он, ничего не поняв.

Может, под словом «другой» подразумевалось, что он не финклер? То есть это было очевидно даже для ребенка?

В этот момент к ним приблизилась Хепзиба с детским набором красок.

— Вы двое, похоже, неплохо поладили, — сказала она.

— Она сразу поняла, что я не *unserer,* — шепотом сказал ей Треслав. — Она увидела во мне *anderer.* Жуткая проницательность для ее возраста.

Словом *unserer* — «один из нас» — в семье Хепзибы было принято называть евреев, тогда как *anderer* означал «одного из них». Чужака. Врага. Джулиана Треслава.

— Глупости, — так же шепотом ответила Хе-

пзиба.

— Чего вы там шепчетесь? — спросила девочка. — Папа говорит, что шептаться неприлично.

«Ну да, шептаться неприлично, — подумал Треслав, — зато прилично в семь лет быть отпетой атеисткой».

— Да, я знаю, — сказала Хепзиба. — А сейчас, если ты попросишь Джулиана хорошенько, он нарисует твой портрет.

— Джулиан Хорошенько, — обратилась к нему девочка, веселясь собственной шутке, — ты нарисуешь мой портрет?

— Нет, — сказал Треслав.

Девочка разинула рот от изумления.

— Джулиан! — упрекнула его Хепзиба.

— Я не могу.

— Почему ты не можешь?

— Не могу, и все тут.

— Это потому, что она не признала тебя *unserer?*

— Не говори ерунды. Просто я не рисую *ли*ца.

— Сделай исключение ради меня. Смотри, как она расстроилась.

— Мне очень жаль, если ты расстроилась, — сказал Треслав маленькой девочке. — Зато это поможет тебе привыкнуть к мысли, что мы не

всегда получаем желаемое.

— Джулиан, — сказала Хепзиба, — это всего лишь портрет. Она же не просит купить ей новый дом.

— Она вообще ничего не просила. Это была *твоя* просьба.

— Так, значит, это *мне* ты хочешь преподать урок про получение желаемого?

— Я никому не преподаю никакие уроки. Я просто не рисую портреты.

— Даже если твой отказ огорчит сразу двух прекрасных дам?

— Только без жеманства, Хеп.

— А ты не упрямься. Нарисуй ее мордашку, всего-то дел.

— Сколько раз я должен повторять «нет»? Я не рисую *ли*ца, и точка.

За сим он ускользнул из комнаты и сразу же покинул дом, не попрощавшись с хозяевами, что было расценено Хепзибой как глупый каприз, недостойный мужчины. Через несколько часов она вернулась домой и застала его лежащим в постели, лицом к стене.

Хепзиба не любила и не допускала долгие паузы.

— И что все это значит? — с порога спросила

она.

— Это значит, что я не рисую *ли*ца.

Насколько она поняла, под этим подразумевалось: «Я не член твоей семьи».

— Отлично, — сказала она. — Тогда, может быть, ты перестанешь фантазировать про то, какие мы все расчудесные?

Насколько он понял, слово «мы» подразумевало финклеров.

Он не обещал, что перестанет фантазировать. И не стал рассказывать про давний инцидент с намалеванным лицом. Однако с него уже было довольно всех этих детей, вечеринок, портретов, семей и финклеров.

Он откусил больше, чем мог проглотить.

4

И при всем том он был в большей степени финклером, чем сами финклеры; он понимал их даже лучше, чем они понимали сами себя. Он не рискнул бы заявить, что они в нем нуждаются, — но разве это было не так? Они действительно в нем нуждались.

Покидая тем вечером театр, он кипел от ярости. Ему было обидно за Хепзибу. И за Либора. И за Финклера, как бы сам Финклер ни относился —

или делал вид, что относится, — к этой ядовитой пьесе. Ему было обидно даже за Эйба, чей клиент назвал холокост курортом и остался без работы, пока нырял с аквалангом в Средиземном море.

Кто-то должен был испытывать эти чувства за них, потому что их собственных чувств было недостаточно. Он заметил, что Хепзиба очень расстроена, но старается отвлечься и думать о чем-нибудь другом. Финклер обратил все это в шутку. А Либор не хотел ничего видеть и слышать. Оставался только он, Джулиан Треслав, сын меланхоличного и нелюдимого торговца сигарами, украдкой игравшего на скрипке; Джулиан Треслав, бывший сотрудник Би-би-си, бывший фестивальный администратор, бывший любитель костлявых депрессивных девиц, непутевый отец голубоватого нарезчика сэндвичей и циничного тапера-антисемита; Джулиан Треслав, финклерофил и потенциальный финклер, хотя сами финклеры, с их этнорелигиозным сепаратизмом, или как это называются, не желали признавать его своим.

Очень сложно болеть душой за людей, обвиняемых в дурном обращении с другими людьми, если при этом они обращаются с тобой точно так же дурно, как с теми другими. Очень сложно, но

все-таки можно. Истина — как в политике, так и в искусстве — превыше личных обид и разочарований. «Сыны Авраамовы» и другие произведения этого сорта были издевательством над истиной, потому что их авторы даже не пытались взглянуть на ситуацию с противоположной стороны. Они самодовольно заявляли о своей правоте, подменяя искусство откровенной пропагандой, дабы возбудить чувства толпы. А Треслав очень не хотел чувствовать себя частью толпы, следовательно, дело было и в нем самом, а не только в обиде за друзей. Впервые он пожалел, что больше не ведет ночные программы на «Радио-3». Он бы с наслаждением разобрал по косточкам «Сынов», как для краткости именовала эту пьесу медиабратия.

Это стало бы его вкладом в борьбу за объективность информации.

«Значит, по-вашему, сионизм должен быть вне критики? Вы отрицаете то, что мы все собственными глазами видим на телеэкране?» — гневно спросило бы его начальство после выхода программы в эфир; как будто он, Джулиан Треслав, сын меланхоличного и так далее вдруг заделался проповедником сионистских идей; как будто всю правду можно уместить в десятисекундном

ролике вечерних теленовостей; как будто человечество не способно бороться с одним злом, не порождая при этом другое.

Он видел, к чему это все ведет: завершением будет очередной холокост. Он мог это видеть, потому что смотрел со стороны, тогда как они — его друзья и его любимая женщина — просто не решались это замечать. Евреев снова загонят в рамки, позволяя им преуспевать только в тех сферах, где они преуспевали издавна: в концертных залах и банковских офисах. «Пошустрили — и капец», как выразились бы его сыновья. Ничего большего евреям не позволят. Напоследок можно дать безнадежный арьергардный бой превосходящим силам противника, но рассчитывать на победу и на выгодный мир не стоит. Этого не допустят ни мусульмане, веками воспринимавшие евреев как фальшивых и малодушных «семитских братьев», которых нужно держать в строгой узде, ни христиане, всегда их ненавидевшие либо просто считавшие их досадной помехой.

Таков был вывод, к которому пришел Треслав, проведя около года «в шкуре финклера», правда не признанного таковым: у них не было ни единого шанса.

Как и у него.

Раз так, он все же имел с ними нечто общее. *Schtuck.*

Слово *schtuck*[122] часто и с выражением произносил его отец, чья речь, как правило, не отличалась выразительностью. Вспомнив об этом много лет спустя, Треслав решил, что это слово было взято отцом из идиша и, следовательно, таким образом прорывалась наружу отцова еврейская сущность. Оно выглядело и звучало, как слово из идиша, и — судя по звучанию — подразумевало нечто чавкающее, как жирная грязь под ногами. Однако этого слова не оказалось ни в одном из музейных словарей идиша. И вновь ему не удалось найти еврейскую зацепку в своей наследственности. Зато хоть в чем-то он был евреям сродни — вместе с ними он был по уши в этом самом *schtuck.*

5

В последние месяцы жизни Малки самым тяжелым временем для обоих супругов бывали утренние часы.

---

[122] Примечания: 122

В английском сленге это слово соответствует русскому «влип» в выражениях «я крепко влип» и т. п. Считается, что оно образовано как искажение от *stuck* — перфектной формы глагола *stick* (прилипать, застревать).

Они не желали мириться с неизбежным и не искали утешения в религии, полагая такое утешение притворством. В предрассветных сумерках он лежал рядом с ней, поглаживая ее волосы и не зная, спит она или бодрствует. Но он чувствовал, что в этот час, спящая либо нет, она была готова смириться, отказаться от иллюзий и принять свой уход — в иной мир или просто в никуда.

Посреди ночи, когда боль немного отпускала, она могла улыбаться, глядя ему в глаза, или шептать на ухо — но то были не слова любви, а грубые шутки и даже непристойности. Она хотела его рассмешить, ведь прежде они так часто смеялись вместе. Поначалу главным источником веселья был он, и смех стал его самым ценным подарком любимой. Умение ее развеселить было причиной — одной из причин — того, что она отдала ему предпочтение перед Горовицем. Смех никогда не мешал ей проявлять нежные чувства. Она могла нахохотаться вволю и тут же, не переводя дыхания, сказать ему что-нибудь ласковое. А теперь она хотела, чтобы смех стал ее последним подарком любимому.

В этом чередовании грубости и нежности, между сном и явью, между светом и тьмой, они находили — *она* находила — свой *modus*

mortis.[123]

Среди ночи все было еще терпимо. Тогда это была не безнадежная покорность судьбе, а только признание реальности смерти наряду с реальностью жизни. Да, она умирала, но они оба все еще жили. Он гасил свет и ложился рядом, прислушиваясь к ее дыханию и ощущая ее живой, пусть даже и умирающей.

Но по утрам к ней возвращался ужас — не только ужасная боль и понимание того, как ужасно она выглядит, но и ужас *знания.*

Если бы он только мог избавить ее от этого знания! Ради этого он был готов отдать собственную жизнь, но это лишь взвалило бы на нее тяжесть других, по ее словам еще больших, мук. Хуже всего было видеть момент ее пробуждения, когда она вспоминала то, о чем, возможно, успевала позабыть во сне. Он представлял себе эту мельчайшую единицу времени, миллиардную долю секунды, в которую она с ужасом осознавала всю близость и неотвратимость конца. Ни смех, ни утешающие непристойности не слетали с ее губ в первые минуты по пробуждении. В эти минуты горе не объединяло их с Либором. Она лежала

---

[123] Примечания: 123

Образ смерти *(лат.),* по аналогии с *modus vivendi* — «образ жизни».

совсем одна, не желая его слышать, не замечая его присутствия, устремив застывший взгляд в потолок спальни, словно где-то там пролегал маршрут, по которому ей предстояло уйти — и обратиться в ничто.

Утро подстерегало ее и наносило удар. И не важно, какие там смутные надежды появлялись у нее накануне ночью, — утро уничтожало все.

Так же точно утро подстерегало Либора — и до, и после ее смерти. С той разницей, что раньше оно дожидалось пробуждения Малки, а теперь наносило удар, когда пробуждался он.

Он хотел бы быть верующим. А еще лучше, чтобы они оба были верующими, — впрочем, хватило бы и кого-то одного из них, а уж он бы протащил другого за собой в лучший мир. Но и вера имела уязвимые места: она не могла полностью избавить человека от сомнений. Как может быть иначе? Допустим, ты в какой-то миг сумел постичь нечто важное, увидеть свет во мраке ночи, узреть Лик Божий или, если повезет, познать *Шхину*[124] — ему всегда нравилась идея Божественного просветления как таковая, — но этот миг пройдет, и наступит новый день, и все

---

[124] Примечания: 124
Божественное присутствие *(ивр.).*

закончится. Он мог понять, почему люди верят, но не понимал тех, кто цепляется за эту веру как за последнюю соломинку.

Ночью он целовал ее глаза и сам пытался заснуть с надеждой в душе. Но все становилось только хуже, ибо любой намек на облегчение, успокоение или примирение — он затруднялся подобрать правильное слово — не доживал до следующего утра. И не было просвета. И не было выхода. День начинался с ужасного пробуждения, и каждый раз этот ужас обрушивался на нее и на него, как впервые.

6

Тайлер ушла из жизни гораздо быстрее, чем Малки. Это был ее стиль: она все решала и делала быстро (в том числе изменяя мужу). И так же решительно она разобралась с собственной смертью, приведя в порядок нужные дела, оставив нужные инструкции и вытребовав с Финклера нужные обещания. Она попрощалась с детьми, постаравшись обойтись без драматических эффектов, и пожала руку Финклеру, как при завершении сделки, которая оказалась не такой уж удачной, но и не провальной, если на то пошло. А потом она умерла.

Когда это произошло, Финклеру захотелось встряхнуть ее за плечи и спросить: «И это все?»

Однако это было еще не все: с течением времени он стал узнавать о разных вещах, которые она собиралась с ним обсудить, или о вопросах, так и оставшихся незаданными из нежелания огорчать его или огорчаться самой. Еще ранее в рассеянных по дому тайниках ему случалось натыкаться на перевязанные ленточками пачки его писем к ней или подборки семейных фото, но затем появились находки, в которых уже не было ничего сентиментального; они касались серьезных и зачастую спорных тем, как, например, ее обращение в иудаизм. Среди прочего он обнаружил подборку собственных статей, испещренных комментариями Тайлер (о каковых он знать не знал), а также запись его выступления в «Дисках необитаемого острова» — того самого выступления, в котором он объявил всему свету о своем стыде и которое Тайлер поклялась никогда-никогда, во веки веков, ему не простить.

Особенно его заинтересовала коробка с надписью: «Моему мужу: открыть, когда я уйду». Сперва он подумал, что Тайлер могла приготовить ее задолго до своей болезни и в таком случае подразумевался не уход в небытие, а банальный распад

семьи («Неужели она всерьез собиралась меня бросить?»). Под крышкой лежали старые фотографии Финклера: славный еврейский мальчик празднует свою бар-мицву, славный еврейский жених сочетается браком с Тайлер, славный еврейский отец на бар-мицвах его сыновей. Эти снимки как будто спрашивали голосом Тайлер: «Какого черта, Шмуэль? Почему ты участвовал в этих церемониях, если тебе с самого начала было насрать на все это?» Под фотографиями лежали вырезки со статьями о еврейской вере и сионизме; некоторые статьи были написаны им (и также исчерканы ее пометками), а остальные — разными журналистами и учеными. А в самом низу коробки он нашел короткий машинописный текст, вложенный в пластиковую папочку, как домашняя работа школьника; автором сей рукописи была Тайлер Финклер, его жена.

Эта находка заставила Финклера расплакаться, сложившись пополам и уткнувшись лицом в колени.

Он всегда считал свою супругу чересчур придирчивой ко второстепенным деталям вроде пунктуации, чтобы стать хорошей писательницей. Сам Финклер был не ахти каким стилистом, но он умел строить фразы так, чтобы взгляд чи-

тателя скользил по ним без заминок. Когда-то рецензент одной из первых книг Финклера по философии самосовершенствования заметил, что чтение его трудов напоминает беседу в поезде со случайным попутчиком, который может оказаться как гением, так и недоумком. Финклер не был уверен, что это замечание — комплимент, но решил считать его таковым. Рукопись Тайлер не смогла бы вызвать столь широкий разброс мнений. Чтение ее напоминало беседу в поезде, бесспорно, с здравомыслящим человеком, который зарабатывает на жизнь составлением текстов для поздравительных открыток. Мишенью ее критики, как выяснилось, был ранний бестселлер Финклера «Сократический флирт: Философский метод улучшения сексуальной жизни».

У Тайлер имелся весьма нестандартный взгляд на характер ее благоверного, и она сочла нужным изложить это в письменном виде. Выходило так, что Финклер был даже «слишком евреем». Его проблема заключалась не в недостаточной еврейскости мышления и темперамента, а как раз напротив. И это касалось не только его, но и всех СТЫДящихся евреев (применительно к ним Тайлер использовала термин из идиша —

shande, первым значением которого, в отличие от английского *shame,* было не «стыд», а «позор» и «бесчестье»; соответственно, в ее понимании, они не столько «стыдились», сколько «позорились»). Но даже в такой компании Финклер, по ее мнению, выделялся как редкостный амбициозный мудозвон.

«Мой супруг воображает, что он перепрыгнул еврейскую ограду, возведенную вокруг него отцом, — писала Тайлер, как будто обращаясь к адвокату по делам о разводе, хотя послание было адресовано Финклеру. — Но на самом деле он видит все вокруг, включая не любимых им евреев, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с еврейской точки зрения. И куда бы он ни посмотрел — будь то Иерусалим, Стамфорд-Хилл[125] или Элстри,[126] — он видит евреев, живущих ничуть не лучше, чем люди других национальностей. А поскольку они не чрезвычайно хороши — рассуждает он, следуя своей экстремистской еврейской логике, — это значит, что они чрезвычайно плохи! Презирая евреев-обывателей назло своему отцу,

---

[125] Примечания: 125

Лондонский район, в котором проживает одна из крупнейших в мире хасидских общин.

[126] Примечания: 126

Городок к северу от Лондона.

мой супруг заносчиво следует принципу: либо евреи существуют для того, чтобы нести „свет для язычников“ (Ис. 42: б), либо им незачем вообще существовать на свете».

Читая этот отрывок, Финклер еще раз всплакнул. Но не из-за упреков и обвинений жены, а из-за трогательной, ученической добросовестности, с какой она относилась к цитатам. Он представил себе, как она трудится над своим сочинением, сверяясь с библейским текстом, чтобы уточнить, правильно ли процитирован пророк Исаия. Потом он представил ее маленькой девочкой в воскресной школе: как она читает в Библии про евреев, мусоля карандаш и не ведая, что однажды станет женой еврея и сама превратится в еврейку, пусть и не в глазах ортодоксов вроде Финклера-старшего. А может, и не в глазах его сына.

Финклер никогда не принимал всерьез ее стремление «объевреиться». Он не считал нужным жениться на еврейке, полагая, что в нем самом еврейства вполне хватит на двоих. «Отлично», — сказал он, узнав о ее намерении и подумав, что она имеет в виду еврейскую свадьбу, и только. И какая женщина не хочет еврейской свадьбы? Отлично, пусть будет так.

Обсудив этот вопрос с раввинами, она сообщила Финклеру, что намерена принять иудаизм в реформистской версии.[127] Он кивнул, не слушая, словно речь шла о какой-то автобусной турпоездке. Она сказала, что этот процесс займет около года, а то и больше, поскольку ей надо будет начинать с нуля. «Отлично, — сказал он. — Пусть будет год или больше, если тебе это нужно». Он согласился с такой готовностью не потому, что ее занятия оставляли ему больше времени на любовниц. В ту пору они еще не сочетались браком — она не хотела выходить замуж до принятия еврейской веры, — так что тема любовниц была неактуальна. Как человек щепетильный, Финклер не стал бы заводить любовниц до того, как обзаведется женой. «Другая женщина» — возможно, но «любовница» — нет. Будучи философом, он любил точные определения. Так что его безразличие к словам Тайлер не объяснялось какими-то своекорыстными мотивами. Он просто-напросто отнесся к ее желанию изучать еврейские обычаи и религию как к пустой блажи, которая скоро пройдет.

---

[127] Примечания: 127

Реформистский иудаизм (реформизм) — более либеральная, «модернизированная» версия иудаизма, возникшая в Германии в начале XIX в. и ныне распространенная в Европе и Америке.

Раз в неделю на протяжении четырнадцати месяцев Тайлер посещала уроки. Она осваивала иврит, занималась толкованием библейских текстов, узнавала, какую пищу нельзя есть, какую одежду нельзя носить и какие слова нельзя употреблять в разговоре, училась быть еврейской домохозяйкой и еврейской матерью. Затем она предстала перед советом раввинов, совершила ритуальное омовение (на чем настояла сама) — и вот пожалуйста! — Финклер обрел еврейскую невесту. На протяжении всего этого года с лишним, когда она каждую неделю приходила с занятий и рассказывала, чему ее в этот раз учили, он пропускал все это мимо ушей. Его собственная жизнь интересовала Финклера куда больше. Рассеянно кивая, он дожидался конца ее рассказа и сразу же переходил к обсуждению своих издательских проектов. Он тогда еще не написал ни одной книги, но уже подыскивал издателя, встречался с полезными людьми, заводил знакомства, обращал на себя внимание. Ей требуется Моисей, чтобы привести ее в Землю обетованную? Отлично, он будет ее Моисеем. Она должна лишь следовать за ним.

Он так мало интересовался ее занятиями, что она вполне могла завести интрижку с каким-

нибудь раввином под самым носом Финклера. Такое случалось — раввины тоже люди из плоти и крови. А занятия с молодыми ученицами… Финклер не хуже других знал, что представляют собой такие занятия.

Если бы это случилось, он не стал бы возмущаться и устраивать сцены. Сейчас, после ее смерти, ему хотелось, чтобы она смогла прожить более интересную и яркую жизнь, чем та, которую он ей создал. Ничто не делает мужа более великодушным и благородным, чем вдовство, думал он. Кстати, неплохая тема для статьи.

Вероятно, она услышала о предназначении евреев быть «светом для язычников» в ходе тех самых подготовительных занятий. Уж не тот ли раввин — который, как он теперь надеялся, был в нее влюблен и тайком водил ее в кошерные рестораны, чтобы научить правильно есть кугель из лапши, — уж не он ли научил ее тщательно расставлять кавычки и скобки при употреблении цитат?

Бедная Тайлер.

(Тайлер Финклер, 49: 3) — возраст, в котором она умерла, и количество детей, которых она оставила без матери.

Эти мысли разрывали ему сердце. Но продол-

жать чтение он не собирался. Меньше всего ему хотелось вспоминать о еврейских уроках своей жены. Он засунул рукопись обратно в коробку, поцеловал ее напоследок и убрал с глаз долой на нижнюю полку платяного шкафа, где хранились ее туфли.

Желание снова взглянуть на рукопись возникло у него лишь в тот вечер, когда он вернулся домой из театра, посмотрев «Сынов Авраамовых» вместе с Хепзибой и Треславом. Почему — он не знал. Может, потому, что ему было так одиноко без нее и отчаянно хотелось услышать ее голос. А может, ему просто нужно было чем-то занять себя, чтобы не садиться опять за онлайн-покер.

Перечитывая начало, он уже не почувствовал такого раздражения, как в первый раз. Иногда мужу требуется время, чтобы оценить слова жены и признать их заслуживающими внимания.

Далее в тексте Тайлер приводила парадокс. (Подумать только — Тайлер приводит парадоксы! Ее муж и не подозревал в ней склонности к подобным вещам!)

Ее парадокс заключался в следующем.

«ПОЗОРящиеся евреи, с которыми мой муж проводит вечера (когда он не проводит их со своей любовницей), обвиняют израильтян и тех,

кого они именуют „попутчиками сионистов“, в приписывании себе особого морального статуса, который якобы позволяет им плевать с высокой горки на всех остальных; однако сами обвинители приписывают себе точно такой же особый статус, — мол, им, как евреям, лучше знать, кто прав, а кто виноват. (Вспомни, Шмуэль, как ты говорил нашим детям, когда они получали нагоняй всего лишь за то, что ничем не превосходят своих сверстников: „Я предъявляю к вам более высокие требования“. Почему? Почему ты, именно ты предъявляешь повышенные требования к евреям?)»

Ее «мудрый» супруг не раз говорил, что Израйиль — даже название этой страны он не мог произносить без издевательского вкрапления «й» — был основан в результате грубой экспроприации. «А какое государство было основано иным способом?» — спрашивала Тайлер, упоминая американских индейцев и австралийских аборигенов.

Финклер улыбнулся, представив себе Тайлер, с ее бриллиантами и мехами, пекущейся о судьбе каких-то аборигенов.

Таков ее взгляд на эти вещи…

А вот это уже нахальство! Таков ее взгляд, на-

до же! Это заявляет Тайлер Галлахер, внучка ирландских жестянщиков, в восьмилетием возрасте получившая приз в католической школе за рисунок Младенца Иисуса, тянущего пухлые ручонки к рождественским дарам, которые принесли ему волхвы. И вдруг оказывается, что эта самая Тайлер имеет собственный взгляд на еврейский вопрос.

Однако свой взгляд у нее был, как бы это ни возмущало ее супруга.

«Переживая погром за погромом, евреи склоняли голову и терпели. Бог избрал их, они были Его народом. И они верили, что Бог обязательно им поможет. Но холокост — да-да, Шмуэль, пошло-поехало, опять холокост, холокост — изменил это НАВСЕГДА. Евреи наконец-то пробудились и поняли, что ради выживания им нужно позаботиться о себе без оглядки на помощь свыше. А это подразумевало обретение ими собственной страны. Вообще-то, историческая родина у них была всегда, но назвать ее своей собственной они не могли — тут мы не будем вдаваться в детали, „мистер Палестина“. Короче говоря, им была позарез нужна своя страна, а когда рассеянный по миру народ обретает собственную страну, он становится уже не таким, каким был до этого.

Он становится похожим на все другие народы! И только такие, как ты и твои ПОЗОРящиеся приятели, изо всех сил стараются помешать своему народу стать в один ряд с другими, потому что в вашем понимании, Шмуэль, они по сей день обязаны цепляться за свою избранность, надеяться на Бога (в которого ты не веришь!) и являть собой пример для всего остального мира.

Объясни мне, своей бедной, необразованной, почти еврейской жене, почему ты, мудак обрезанный, не можешь оставить в покое евреев, живущих в стране, которую ты называешь Ханааном? Быть может, ты так торопишься вылезти на люди со своей критикой из опасения, что кто-то сделает это раньше и пойдет гораздо дальше тебя? Не напоминает ли это извращенный патриотизм, под лозунгом которого выжигается собственная земля, чтобы она не досталась врагам в цветущем виде?

Ответь мне, пожалуйста, Шмуэль, какого хрена ты лезешь не в свое дело? Тебя все равно не будут судить вместе с израильтянами, даже если бы ты вздумал к ним присоседиться. У тебя есть *своя* страна, а у них своя — и этот факт вроде бы предполагает отсутствие предвзятости как в их поддержке, так и в их критике. Сегодня они — са-

мые обыкновенные ублюдки, в чем-то правые, а в чем-то нет, как и все прочие люди.

Ведь даже ты, мой лживый, мой возлюбленный супруг, не всегда и не во всем бываешь не прав».

На сей раз он не спешил убирать с глаз долой ее сочинение, а дочитав до конца, еще долго сидел за столом, глядя на машинописные строки. Бедная, бедная Тайлер. Эти слова, в понимании Финклера, означали также «бедный, бедный я». Ему очень ее не хватало. Они часто препирались по поводу и без повода, но все же это было полноценное общение. И в пылу спора он ни разу не поднял на нее руку, как и она на него. Им случалось и вполне спокойно обсуждать самые разные вещи, и тогда обоим было в радость слышать друг друга, хоть они сами об этом и не задумывались. Сейчас он был бы счастлив вновь услышать ее голос. Чего бы он только не отдал за возможность снова выйти в их садик (ныне запущенный) и, сунув палец в петлю зеленой бечевки, натянуть ее в указанном женой направлении!

Они прожили вместе достаточно долго, чтобы их брачный союз можно было причислить к разряду счастливых, как у Либора с Малки, и, хоть до уровня семейного счастья последних им было далеко, все же они находились на верном пути. И

они вырастили троих умных детей, пускай умны эти трое были по-разному и в неравной степени.

Он снова пустил слезу. Было хорошо плакать, не задумываясь о конкретной причине. Получался плач сразу обо всех и обо всем.

Когда Тайлер назвала его патриотом, сжигающим то, что он не хочет оставлять врагам, ему это понравилось. Он не считал, что Тайлер права в его случае, но ему понравилось само определение. Не из таковских ли была Тамара Краус? Да и все СТЫДящиеся евреи — не пытались ли они уничтожить то, что любили, из нежелания отдавать это в чужие руки?

Версия Тайлер была ничуть не хуже любой другой. Так или иначе, надо было чем-то объяснить столь страстную, исступленную ненависть этих людей. Назвать это «ненавистью к себе» было нельзя. Люди, ненавидящие себя, обычно угрюмы и одиноки, а СТЫДящиеся старались держаться вместе и подбадривать друг друга, словно солдаты накануне генеральной баталии. Это вполне подпадало под определение Тайлер как очередная реинкарнация еврейского трайбализма. Враг был тот же, что всегда, и этим врагом были *все прочие.* На сей раз в извечной войне изменилась только тактика. Новейший тактический прием

заключался в следующем: истребляй своих прежде, чем это успеет сделать враг.

Финклеру неоднократно случалось возвращаться домой после собраний СТЫДящихся с чувством, аналогичным тому, которое он испытывал в юности, возвращаясь с отцом из синагоги: окружавший его мир казался слишком еврейским, слишком древним, слишком замкнутым в каком-то первобытно-общинном смысле — дремуче-застойным, обращенным в прошлое.

Он был горе-мыслителем, не способным разобраться даже в собственных мыслях. Сейчас он отчетливо понимал лишь немногое: что некогда он любил, а потом потерял любимую жену и что он так и не сумел избавиться от тяготившей его еврейскости путем присоединения к группе евреев, возбужденно рассуждающих о неправильности еврейства. Если на то пошло, нет ничего более еврейского, чем возбужденные рассуждения о еврействе.

Он допоздна засиделся перед телевизором только для того, чтобы держаться подальше от компьютера. С покером пора было завязывать.

Хотя покер до той поры исправно выполнял

свое назначение. Т. С. Элиот писал Одену,[128] что он каждую ночь раскладывает пасьянсы, потому что это занятие ближе всего к состоянию смерти.

Пасьянс, покер — велика ли разница?

[128] Примечания: 128

Оден Уистен Хью (1907–1973) — английский поэт, в 1946 г. принявший гражданство США.

Глава 12

1

Общее мнение было таковым: у Мейера Абрамски начисто съехала крыша. Он имел семерых детей, и его жена ожидала восьмого. Жизнь шла своим чередом вплоть до того дня, когда израильская армия объявила, что их семья должна собрать вещи и покинуть поселение, которое он, уповая на Бога, основал вместе с соседями шестнадцать лет назад. В те годы он прибыл из Бруклина с молодой женой обустраивать Землю обетованную. И вот как с ним поступили теперь! Власти пообещали ему помочь с переездом и при этом учесть интересное положение его супруги. Выбора не было: поселение подлежит ликвидации и все жители должны его покинуть. Такова воля Обамы.

Семья решила, что тихо и по доброй воле они отсюда не уйдут. Такой уход граничил бы с кощунством. Это была их земля. Им не надо было ее с кем-то делить, им не надо было заключать какие-то соглашения — эта земля принадлежала им. Мейер Абрамски мог сослаться на стих Торы,

где прямо так и сказано. Сам Господь завещал эту землю его предкам. А если читать внимательно, то в Торе можно найти упоминание и о доме Мейера. Вот оно, это упоминание, — вот здесь, где страница протерта от бесчисленных тыканий пальцем.

Пригрозив забаррикадироваться с семьей в доме и стрелять во всякого, кто попытается их выселить, — и не важно, что это будут собратья-евреи; настоящие собратья-евреи не стали бы гнать их со священной земли, — Мейер Абрамски очень скоро увидел свое имя в газетах. Там шкали, что у него «синдром осажденной крепости». А чего еще стоило ожидать в такой ситуации? Этот самый синдром был не только у Мейера Абрамски — в осаде находился весь еврейский народ.

Он так и не осуществил свою угрозу стрелять в израильских солдат, занимавшихся выселением. Вместо этого он забрался в автобус и расстрелял арабскую семью: мужа, жену и их маленького ребенка. Одна, две, три пули. Одна, две, три жертвы. Такова воля Господа.

2

Трудно сказать, читал ли об этом случае Либор и могло ли это чтение как-то повлиять на его

действия. Хотя это маловероятно, поскольку он вот уже несколько недель как перестал заглядывать в газеты.

Конечно, он мог купить газету для чтения в поезде по пути в Истборн, но опять же неизвестно, купил ли. А если купил, то не мог не заметить фото Мейера Абрамски на первой странице. Но к тому моменту Либор уже принял собственное решение. Иначе с какой стати он сел бы в поезд до Истборна?

Так вышло, что в поезде его попутчиком, сидящим напротив, оказался Альфредо, сын Треслава. Это выяснилось уже позднее и побудило Треслава составить в уме цепочку случайностей, следуя вдоль которой он в конце обнаружил свою вину. Не будь он таким плохим отцом и не разорви он отношения с Альфредо, последний вполне мог бы познакомиться с Либором на каком-нибудь из ужинов у Хепзибы, и тогда Альфредо узнал бы его при встрече в поезде, после чего…

Так что винить следовало Треслава.

Альфредо ехал в Истборн, со смокингом в дорожной сумке. Вечером ему предстояло исполнять «С днем рожденья тебя» и прочую расхожую дребедень по заказам посетителей лучшего истборнского отеля.

Старикашку, сидевшего напротив него, он сперва принял за азиата. На вид ему было лет сто, не меньше. Альфредо без особого почтения относился к старикам. Такие вещи, вероятно, формируются под влиянием отцов, а своего отца Альфредо не жаловал. Впоследствии на вопрос, не казался ли старик печальным и подавленным, Альфредо повторил, что на вид ему было лет сто — разве может человек в этом возрасте не выглядеть печальным и подавленным? Никаких разговоров со стариком он не вел, только однажды предложил ему мятную жвачку (от которой тот отказался) и спросил, куда он направляется.

— В Истборн, — ответил старик.

— Это понятно, что в Истборн, а там куда? К родственникам или в отель?

Альфредо надеялся, что не в тот самый отель, где ему предстоит играть, поскольку это заведение и без того уже было забито старперами.

— Никуда, — сказал старик.

По прибытии в Истборн старик сел в такси, и тут уже ему пришлось уточнить дальнейший маршрут.

— Блядомес! — сказал он.

— Должно быть, вы про белый мыс? — спросил

догадливый таксист. — Бичи-Хэд?[129]

— А я что говорю? Бледномаз!

— Где вас там высадить — может, у паба?

— Блядомес!

Таксист — сам имевший пожилого отца и потому хорошо знавший, какими раздражительными бывают старцы, — выразил готовность подождать Либора на стоянке или дать ему номер своего телефона, чтобы он мог вызвать такси, когда потребуется.

— И еще там ходят автобусы, — добавил таксист.

— Мне это ни к чему, — сказал старик.

— И все же возьмите на всякий случай… — сказал водитель, протягивая ему карточку.

Либор опустил карточку в карман, не взглянув на нее.

3

Он выпил виски в пабе с темным плиточным полом, сидя за круглым столиком с видом на море. Столик очень походил на тот, за которым когда-то давно он сидел вместе с Малки, приехав

---

[129] Примечания: 129

Высокий (162 м) меловой утес на южном побережье Англии, близ Истборна; одно из самых популярных в мире мест для самоубийц.

в эти места для проверки своей решимости одновременно уйти из жизни. А может, они тогда сидели за соседним столиком, это не столь уж важно, в конце концов. И вид отсюда в тот день был точно такой же: скалистая береговая линия загибалась к западу, море казалось бесцветным, — во всяком случае, оно не имело какого-то определенного цвета, за исключением серебристой полосы вдоль горизонта.

Проглотив еще одну порцию виски, он покинул паб и начал медленно взбираться по склону, покачиваясь под порывами ветра в одном ритме с деревьями и кустами. День был пасмурным, и меловые утесы над морем окрасились в грязновато-серые тона.

Помнится, в тот раз он сказал Малки:

— Чтобы сделать это, потребуется толика отваги.

Малки какое-то время молча обдумывала его слова.

— Лучше будет сделать это в темноте, — сказала она наконец, когда они рука об руку спускались обратно к пабу. — Я дождусь темноты и просто пойду вперед, не останавливаясь.

Он миновал пирамидку из камней — точно такую мог сложить когда-то библейский Иаков

или Исаак — и плиту, на которой были вырезаны строки из псалма: «Паче шума вод многих, сильных волн морских, силен в вышних Господь».

Ему показалось, что число деревянных крестов вокруг уменьшилось по сравнению с его прошлым визитом. А ведь их, по идее, должно становиться все больше. Вероятно, кресты понемногу удаляют, выдержав приличествующую паузу.

Интересно, какая пауза считается приличествующей в таких случаях?

А вот и букетик цветов, привязанный к ограждению из колючей проволоки. С ценником из «Маркса и Спенсера»[130] — «4 фунта 99 пенсов». «Эти на памяти не разорятся», — подумал он.

Место было отнюдь не безлюдным. Подъехавший автобус выгрузил компанию пенсионеров. Люди на мысу выгуливали собак и запускали воздушных змеев. Некоторые провожали его взглядом. Бегущая трусцой парочка поприветствовала его дружным «хелло!». Но в целом здесь было тихо; ветер сдувал людские голоса с обрыва над морем. В какой-то миг ему послышалось овечье блеяние, а может, это кричали чайки. И

---

[130] Примечания: 130
Крупнейшая в Британии сеть торговых заведений.

он вспомнил свой дом.

Однажды Малки шутливо заметила, что ее любимому потребуется слишком много времени, чтобы долететь с вершины утеса до уровня моря. Но этим словам не суждено было подтвердиться на практике. При всей ее вере в то, что она вышла замуж за человека исключительного, Либор не умел летать и не был непотопляемым. Он камнем устремился вниз, к линии прибоя, — как и любой другой человек, шагнувший за край.

4

Известие о том, что его сын ехал вместе с Либором в истборнском поезде, Треслав получил от матери Альфредо, который увидел лицо Либора в выпуске теленовостей — «ветеран журналистики бросился с утеса Бичи-Хэд, это уже третье самоубийство здесь с начала месяца» — и опознал в нем столетнего старца из поезда. Альфредо сказал матери, а та не поленилась связаться с Треславом после того, как прочла в газете имя самоубийцы и вспомнила, что с этим человеком дружил отец ее ребенка.

— Тут случилось одно странное совпадение, — сообщила она тем би-би-сишным голосом, каким

обычно рассуждала о «притоке свежих идей» или о психической ущербности Треслава.

— Какое именно?

— Альфредо и твой друг вместе ехали в поезде.

— Да, это совпадение. Но что в нем такого странного?

— Странно, что два человека из твоего прошлого оказались на соседних сиденьях.

— Либора я не отношу к прошлому.

— Но ты ведь не можешь по-другому, Джулиан. Едва встретив человека, ты уже заносишь его в свое прошлое.

— Да пошла ты! — сказал Треслав и дал отбой.

Так что о смерти Либора он узнал не от нее. Если бы известие дошло до него этим путем — через Альфредо и Джозефину, — он мог бы сгоряча дойти до рукоприкладства. Ему было противно даже слышать их имена одновременно с именем Либора или вспоминать об их существовании в том же мире, в котором жил его старый друг. Наверняка этот поганый мальчишка втянул старика в разговор и наплел ему каких-нибудь гадостей. В этих новых вагонах люди сидят друг напротив друга и поневоле начинают интересоваться попутчиками, а если таковым оказывается одинокий мужчина, едущий в Истборн, это уже

наводит на определенные мысли…

То же самое касалось и таксиста. Ну какой нормальный человек под вечер отвезет явно находящегося в депрессии старика к месту, излюбленному самоубийцами, и преспокойно его там оставит? Справедливости ради надо заметить, что таксист все же забеспокоился и сообщил в полицию о подозрительном пассажире, но осенило его только через час после расставания с Либором, когда все было уже кончено. Как следствие, Треслава дополнительно мучила мысль о том, что Либор провел последний час жизни в обществе этого кретина Альфредо, вертящего на пальце свою пижонскую шляпу, и олуха-таксиста с его занудной болтовней о погоде.

Однако он был не в том положении, чтобы винить кого-то другого. В случившемся был прежде всего виноват он сам. В последние месяцы он совсем забросил Либора, думая только о собственных проблемах. А когда он все же собрался с ним пообщаться, то не нашел ничего лучше, кроме как забивать стариковскую голову своими ревнивыми бреднями. Любой человек, имеющий хоть крупицу такта и благоразумия, не станет рассуждать о каких-то сексуальных переживаниях, общаясь со стариком, недавно потерявшим

любовь всей его жизни. Это было грубо и неприлично. И более того — жестоко, если вспомнить, как он вывалил на Либора историю своих отношений с Тайлер. Ему бы следовало унести эту историю в могилу, как, по всей вероятности, сделала Тайлер. А теперь и Либор.

Не исключено, что неожиданные откровения Треслава поспособствовали тому, что Либор решил свести счеты с жизнью, — мало ему было собственных горестей, так теперь еще к ним добавились мысли о гнусном предательстве его давнего друга. Треслав помнил, как потемнело лицо старика, слушавшего его бахвальство — ибо это было именно бахвальство, назовем вещи своими именами, — о вечерах, проведенных в разврате с женой Финклера; он помнил, как по мере рассказа угасал свет в стариковских глазах. Для Либора это было уже слишком. Треслав запятнал, осквернил, разрушил светлую историю многолетней дружбы трех мужчин; он превратил их взаимное доверие — каковы бы ни были различия и споры между ними — в пустышку, в фикцию.

Ложь переливала через край. Возможно, своим поступком Треслав уничтожил не только романтику их дружбы, но и саму идею романтики как

таковую. Когда гибнет одна дорогая сердцу иллюзия, очередь за остальными. Неужели греховная связь Треслава и Тайлер отравила все и вся в их отношениях?

Разумеется, эта новость сама по себе не могла подтолкнуть Либора к смерти. Но кто возьмется утверждать, что она не ослабила в нем желание жить?

Треслав хотел бы поведать все это Хепзибе и попросить в ее объятиях отпущения грехов, но тогда ему пришлось бы рассказать и о Тайлер, а на это он пойти не мог.

Хепзиба и без того тяжело переживала случившееся. Она с детства знала Либора и именно через него познакомилась с Треславом, но как раз в силу последнего обстоятельства Либор с недавних пор стал значить для нее гораздо больше, чем значил до того. Они всегда хорошо относились друг к другу, но правнучатые племянницы редко поддерживают тесные отношения с двоюродными прадедами. Однако в период ее сожительства с Треславом давняя взаимная симпатия переросла в глубокую привязанность, так что ей уже стало казаться, будто Либор постоянно находится где-то рядом, самим фактом своего существования придавая их связи «добропорядочный» семейный

статус. Как и Треслав, она казнила себя за то, что позволила иным делам отвлечь ее внимание от старика, о котором она обязана была заботиться.

А между тем «иные дела» не давали ей покоя. Жестокий и бессмысленный расстрел в автобусе арабской семьи привел в ужас всех ее еврейских знакомых, причем ужасались они как самому преступлению, так и его вероятным последствиям. После этого случая СМИ дружно принялись изображать евреев кровожадными монстрами, расходясь разве только в трактовке истории сионизма: одни комментаторы утверждали, что кровожадность была свойственна евреям еще в момент захвата чужой земли для создания своего государства, другие же считали, что эта кровожадность накапливалась в их душах постепенно, по мере ожесточения конфликта. В то же время никто из евреев почему-то не радовался смерти этой арабской семьи — ни публично, ни в домашнем кругу; еврейские женщины не оглашали воздух ликующими криками, а еврейские мужчины не плясали перед синагогами, славя Всевышнего. Все помнили заповедь: «не убий». Что бы там ни утверждали ненавистники, клеймящие израильтян как расистов и агрессоров, заповедь «не убий» была отчетливо вписана в

еврейские сердца.

Хотя это не мешало израильским солдатам стрелять в арабов.

Но Мейер Абрамски не был солдатом. И Хепзиба ни в коей мере ему не сочувствовала. Оставалось только сожалеть о том, что он был забит камнями на месте преступления. Она предпочла бы увидеть его перед еврейским судом, который признает его тысячу раз виновным, вынеся вердикт: «Он не один из нас».

А уж потом пусть его забьют камнями те, чьи моральные законы он столь жестоко попрал.

Теперь же этому убийце наверняка поставят памятник. Поселенцам нужны свои герои-мученики. Вообще, кто они такие, эти поселенцы? Откуда они так внезапно взялись? Они были чужды ей по образованию и воспитанию. Они не имели ничего общего с тем еврейством, которое она признавала своим. Они были порождены всеобщим безумием и принадлежали к той же породе людей, что террористы-самоубийцы и всякие истеричные предсказатели скорого конца света. То были вовсе не дети Авраамовы, чье имя они только позорили. Но вот проблема: попробуйте-ка выйти на улицы и площади Лондона, чтобы объяснить все это демонстрантам с плака-

тами, призывающими покарать единственную страну в мире, большинство населения которой составляют евреи, и выражающими досаду, если новый день не принес им новые оправдания для такой карательной акции.

Само собой, оживились и противники музея. Ее электронная почта была переполнена бранью и угрозами. В одно из музейных окон влетел кирпич. Пожилой еврей-ортодокс был избит на автобусной остановке в Хэмпстеде. Вновь на стенах синагог появились граффити — звезда Давида, перечеркнутая свастикой. Интернет безумствовал. Она уже боялась читать газеты.

Это что-нибудь означало или не означало ничего?

Тем временем завершалось расследование по факту смерти Либора. И все, кто его любил, искали в своих сердцах ответы на неизбежные вопросы.

Хепзиба уже определилась со своими ответами. Она считала, что Либор отправился на прогулку в сумерках — несомненно, это была печальная прогулка в одиночестве, но всего лишь прогулка и ничего более — и по неосторожности сорвался с обрыва. Люди не всегда падают с обрывов намеренно.

Стало быть, Либор просто сорвался.

5

— Труднее всего, — говорил Финклер Треславу, — не дать недругам навесить на тебя ярлык. Пусть я больше не принадлежу к СТЫДящимся евреям, это еще не значит, что я отказался от своего права на стыд.

— А зачем вообще привлекать сюда стыд?

— Ты рассуждаешь, как моя покойная жена.

— В самом деле? — спросил Треслав и пригнул голову, чувствуя, что краснеет.

По счастью, Финклер этого не заметил:

— Она тоже часто спрашивала: «На кой тебе это нужно? Что оно тебе даст?» А оно дает мне надежду на лучшее — для себя и для всех.

— Не слишком ли заносчиво?

— Ха! Ты снова повторяешь мою жену. Ты что, болтал с ней на эту тему? Вопрос, понятно, риторический. Так вот, я не вижу заносчивости в том, чтобы воспринимать содеянное этим бесноватым Абрамски как личное горе. Если смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, то акт человекоубийства делает со мной то же самое.

— Ну тогда умаляйся как частица всего человечества. Заносчивость в том, что ты умаляешься

только как еврей.

Финклер положил руку на плечо друга.

— Так ведь и расплачиваться за это мне придется как еврею, — сказал он, — что бы ты ни думал на сей счет.

Тут он слабо улыбнулся, только сейчас заметив на голове Треслава ермолку. Двое мужчин беседовали, отойдя в сторону от могилы, рядом с которой остались только родственники Либора. Похоронная церемония уже завершилась, но Хепзиба и несколько членов семьи задержались, чтобы еще раз попрощаться с покойным, теперь уже без могильщиков и раввинов. Когда они уйдут, настанет очередь Треслава и Финклера.

Они предпочли бы не упоминать Абрамски — этот нравственный урод вообще не стоил упоминания. Но сейчас они цеплялись за любую тему, лишь бы только не заговорить о Либоре, потому что оба боялись сорваться. Особенно это касалось Треслава, который избегал даже смотреть в сторону, где сейчас покоился Либор — в его представлении все такой же теплый, все такой же понимающий и скорбящий. По соседству со свежим холмиком находилась могила Малки. Ему была невыносима мысль о том, что они лежат здесь бок о бок, навеки умолкшие, и не

будет больше ни смеха, ни музыки, ни крепких словечек «для защиты от пафоса».

А как будет с ним и Хепзибой? Позволят ли ему лежать рядом с ней на еврейском кладбище? Они уже наводили справки, и им сказали, что это будет зависеть от того, где захочет покоиться сама Хепзиба: если рядом со своими родителями на ортодоксальном кладбище, то Треслава туда, скорее всего, не допустят, ну а если… Как однажды заметила Тайлер: «Связавшись с евреями, будь готов ко всяческим осложнениям». Жаль, что ее уже нет, а то можно было бы обратиться к ней за консультацией как к знатоку «еврейских осложнений».

Либор и Малки хотели быть погребенными в одной могиле, друг над другом, но этому нашлись возражения, как они всегда находились всему — и при жизни, и после смерти. Причем никто не мог толком объяснить, обусловлен этот отказ религиозными правилами или же дело просто в скалистом грунте, из-за которого трудно выкопать могилу необходимой глубины. Когда-то Малки шутила, что им двоим предстоит борьба «за право оказаться наверху», но в конце концов они демократично расположились рядышком, как на двуспальной кровати.

Хепзиба чуть заметно кивнула им в знак того, что она и другие родственники уже уходят. Попутно Треслав отметил, что ей очень идет траурный наряд с вуалью и черной накидкой — этакая величавая викторианская вдова. Он жестом показал, что они с Финклером побудут здесь еще недолго. Двое мужчин взялись за руки, направляясь к могиле. Треслав был благодарен другу за эту поддержку, поскольку чувствовал слабость в коленях. Он плохо переносил кладбищенскую атмосферу — слишком уж ярко виделся ему здесь трагический финал любви.

Если бы у него хватило духу оглядеться вокруг, он непременно отметил бы скучное однообразие этого места. Надгробия на еврейских кладбищах не отличаются оригинальностью и скульптурными изысками, тем самым как бы намекая, что прибывшим сюда на упокой уже нечего показать и нечем удивить живых. Однако Треслав этого не отметил, будучи не в силах поднять взгляд от земли.

Двое мужчин молча застыли перед могилой, сами похожие на надгробные камни.

— Вот «на какую низменную потребу можем

мы пойти»,[131] — наконец промолвил Финклер.

— Извини, я не настроен играть словами, — сказал Треслав. — Не сейчас.

— Справедливо. Но это был не игривый намек.

— Знаю, — сказал Треслав, — и не обвиняю тебя в непочтительности. Уверен, ты любил старика так же сильно, как я.

Снова установилось молчание. А потом Финклер задал вопрос:

— Могли мы это предотвратить?

Треслав был озадачен, поскольку вопросы такого типа обычно задавал он сам.

— Мы могли за ним присматривать.

— А он бы нам это позволил?

— Если бы мы действовали аккуратно, он бы ничего не заметил.

— Странно, — задумчиво произнес Финклер, — у меня уже было такое чувство, будто он нас покинул.

— Он так и сделал.

— Нет, я почувствовал это гораздо раньше.

— Когда именно?

— Сразу после ухода Малки. У тебя не было ощущения, будто с ее смертью он тоже как бы

---

[131] Примечания: 131
«Гамлет», акт V, сцена 1 (пер. М. Лозинского).

перестал жить?

Треслав постарался вспомнить.

— Нет, такого ощущения не было, — сказал он.

В его представлении смерть любимой женщины была только началом. Он был создан для того, чтобы скорбеть, и нередко воображал себя согбенным старцем, из года в год посещающим места, связанные с памятью о любимой. Что касается Либора, то сразу после смерти Малки он показался ему даже несколько более живым, чем он выглядел в период ее болезни. Будь на его месте Треслав, он представлял бы собой куда более жалкое зрелище.

— Однако нечто подобное мне показалось позднее, примерно в то время, когда я сошелся с Хепзибой, — сказал он.

— Ну и кто из нас зазнается? — спросил Финклер. — По-твоему, только сведя вас вместе, он счел наконец-то выполненным свое земное предназначение?

Интересно, что скажет Финклер насчет его зазнайства, если узнает о той истории с Тайлер, которую Треслав считал одной из причин самоубийства Либора? Но Финклер об этом не узнает. Или ему это уже давным-давно известно?

— Нет, я имел в виду другое. Я к тому, что мы

с Хепзибой вроде как начали все заново, а это могло навести Либора на мысль, что для него новое начало уже невозможно.

«Черт, и зачем я это говорю? — подумал он. — Звучит так, будто я оправдываюсь».

— В таком случае он стал бы чаще видеться со мной, — сказал Финклер. — Я мог бы составить ему компанию как еще один вдовец без перспектив начать все заново.

— Чего уж там, тебе еще не поздно.

— Ты просто не в состоянии этого понять. Ты не можешь встать на одну доску с нами. Сколько раз ты начинал заново и останавливался в самом начале? Ты не был вдовцом, ты даже не был разведен. И сейчас ты начал с чистого листа: новая женщина, новая религия. Мы с Либором были мертвецами, обитавшими в лоне мертвой веры. И ты позаимствовал наши души. Удачи тебе. Нам все равно не было в них нужды. Но только не воображай, будто мы трое были хоть в чем-то едины. Мы не были тремя мушкетерами. Мы двое умерли, чтобы жил ты, Джулиан. Боюсь, это слишком христианская мысль для такого места. Что скажешь?

— Что я могу сказать, кроме того, что ты никакой не мертвец.

Или он все же мертвец? Сэм Ходячий Труп. Треслав не решался поднять глаза и посмотреть на своего друга. Он ни разу не взглянул на него с момента прихода на кладбище. Он вообще никого и ничего здесь не видел, за исключением Хепзибы — ее он упустить из виду не мог.

— А что касается нас двоих… — Финклер не завершил свою фразу, заметив поблизости третьего человека.

К могиле подошла женщина и встала у ее дальнего конца, видимо из нежелания мешать их беседе. Постояв немного, она наклонилась, взяла горсть земли и высыпала ее между пальцами на могильный холмик.

Мужчины по-прежнему молчали.

— Извините, — сказала она. — Я приду сюда попозже.

— Нет-нет, останьтесь, — сказал Финклер. — Мы сами через минуту уходим.

Когда женщина склонилась к земле, Треслав успел ее разглядеть. Она была в возрасте, но выглядела бодрой и держалась с достоинством. Одета строго и элегантно, голова покрыта легким платком. «Явно не впервые на еврейском кладбище и на еврейских похоронах», — подумал он. Она не казалась подавленной даже перед лицом

смерти.

— Вы родственница? — спросил Финклер, намереваясь в таком случае сообщить, что семья покойного только что отбыла, но если она хочет к ним присоединиться…

Женщина легко распрямилась и покачала головой:

— Нет, я просто старый друг.

— Мы тоже, — сказал Треслав.

— Сегодня очень печальный день, — сказала она.

В глазах ее не было слез. В отличие от Треслава. Насколько сухими были глаза Финклера, он судить не мог.

— Большое горе, — сказал Треслав.

Финклер кивнул в знак согласия.

Все трое оставили могилу и двинулись по дорожке к выходу с кладбища.

— Меня зовут Эмми Оппенштейн, — сказала женщина.

Они тоже представились. Рукопожатий не было, и Треславу это понравилось. У евреев одна и та же церемония — в данном случае знакомство — могла выглядеть по-разному в зависимости от обстановки. Его это несколько нервировало и в то же время радовало. Разве плохо, когда раз на

раз не приходится? «Чем эта ночь отличается от других ночей?» Или надо сказать «отличалась»? Эти правила распространялись на все случаи жизни, вплоть до самой могилы.

— Когда вы с ним в последний раз общались? — спросила Эмми Оппенштейн.

Ее интересовало состояние Либора незадолго до смерти. Сама она не видела его уже несколько месяцев, хотя за это время несколько раз говорила с ним по телефону.

— А прежде вы с ним часто виделись? — спросил Треслав, начиная испытывать обиду за Малки.

— Вовсе нет. Прежде мы с ним встречались примерно раз в полвека.

— Ого!

— Я связалась с ним после долгого перерыва, потому что мне нужна была его помощь. Очень надеюсь, что я не была слишком настойчива и не создала ему лишних проблем.

— Он ни разу об этом не упоминал, — сказал Треслав.

Он мог бы добавить, что Либор ни разу не упоминал и об этой женщине, но это прозвучало бы невежливо.

— И вы получили от него помощь? — поинте-

ресовался Финклер.

Она замешкалась с ответом:

— Я получила удовольствие от общения с ним, но не его помощь. У него не было сил и желания мне помогать.

— На него это не похоже.

— Не похоже, согласна. Хотя, конечно, спустя столько лет мне сложно судить о его характере. Я полагаю, он сам очень переживал из-за своего отказа. У меня даже возникло ощущение, будто он сознательно стремится причинить себе боль. И мне не по себе от мысли, что я таким образом стала причиной его самоистязания.

— Нам всем не по себе из-за того же, — сказал Финклер.

— Правда? Как это грустно. Впрочем, для близких друзей это вполне естественные чувства. Я так давно прервала с ним отношения, что не имею — да и *не имела* — полного права называться его другом. Но когда мне потребовалась помощь, я обратилась к нему.

И она рассказала им, какую помощь хотела получить от Либора; рассказала о своих страхах и о той волне ненависти, что вновь надвигается на евреев; о ненависти, заражающей привычный ей мир, в котором когда-то ценилось умение

обдумывать свои слова и поступки, прежде чем их произносить или совершать; а также о своем внуке, искалеченном и ослепленном каким-то типом, которого она иначе как террористом назвать не могла.

Оба слушателя были взволнованы и расстроены ее рассказом. Либор тоже был сначала расстроен, заметила она, но при последней встрече предпочел просто отвернуться от всего этого. «Таков уж порядок вещей, — сказал он ей. — Такова участь евреев. Так что смени пластинку».

— Либор это сказал? — удивился Треслав.

Она кивнула.

— Тогда дела его были еще хуже, чем я думал, — признал он.

Ему было трудно что-либо добавить. Слезы застилали глаза, в горле стоял ком.

Финклер также не мог найти слов. Он вспомнил все их споры на эту тему, и сейчас его ничуть не радовало, что Либор под конец сдал-таки свои позиции. Иные споры лучше не выигрывать.

При расставании Финклер и Эмми Оппенштейн пожелали друг другу долгих лет жизни. Хепзиба говорила Треславу об этом обычае: на похоронах евреи желают друг другу долгих лет, тем самым утверждая продолжение жизни перед лицом

смерти.

Треслав повернулся к Эмми Оппенштейн.

— Желаю вам долгих лет, — сказал он, наконец-то поднимая глаза.

6

Треслав, регулярно видевший сны, этой ночью обнаружил себя в комнате умирающего. Здесь темно и душно, однако пахнет не смертным ложем, а едой. Точнее, отбивными из молодого барашка, залежавшимися и остывшими. Сладковатый запах бараньего жира наполняет помещение. Это странно, поскольку Либор говорил, что не ест баранину с детских лет, когда он подружился с ягненком, щипавшим траву на лужайке позади его богемского дома. «Бе-е-е», — говорил ягненок маленькому Либору. «Бе-е-е», — отвечал ему Либор. А если ты дружил с ягненком, ты уже никогда не сможешь есть ему подобных, объяснил Либор. То же самое касается других животных.

«Интересно, чем же тогда питался святой Фран-

циск?»[132] — во сне думает Треслав.

Судя по всему, он пришел сюда, чтобы попрощаться с Либором, но боится к нему приблизиться. Он боится увидеть смерть.

И тут, к его великому ужасу, слабый голос зовет его со стороны постели:

— Джулиан, Джулиан, подойди… на пару слов…

Однако этот голос принадлежит не Либору. Это голос Финклера — он различает его явственно, хотя тот говорит с большим трудом.

Треслав уже догадывается о его следующей фразе. Финклер хочет продолжить их давнюю школьную игру. «Если меня в своем хранил ты сердце, — сейчас скажет он, — то отстранись на время от блаженства…»[133] Тогда Треслав ему ответит: «А где мне найти это блаженство, чтобы от него отстраниться?»

Он подходит к постели.

— Наклонись поближе, — говорит Финклер. Голос его неожиданно крепнет.

---

[132] Примечания: 132

По преданию, святой Франциск Ассизский (1182–1226) был другом всякому живому существу — читал проповеди птицам, приручал волков и т. п.

[133] Примечания: 133

«Гамлет», акт V, сцена 2 (пер. М. Лозинского).

Треслав выполняет его просьбу. Когда он наклоняется достаточно близко, чтобы ощутить дыхание Финклера, тот, рывком приподнявшись, смачно и яростно плюет ему в лицо смесью слюны, кислого вина, бараньего жира и блевотины.

— Это тебе за Тайлер, — говорит он.

Отныне Треслав знает, к чему ведут его сны. И ему даже не надо спрашивать себя, что это: обыкновенный ночной кошмар или же воплощение его тайных страхов?

Это и то и другое.

При этом тайные страхи отражают, по крайней мере отчасти, его тайные желания.

А разве любой наш страх не является отражением наших желаний?

Теперь он снова каждое утро просыпался с ощущением горькой утраты и задним числом искал поводы для расстройства в спортивных новостях: один теннисист со смутно знакомым ему именем проиграл другому теннисисту, чье имя он никогда не слышал; английская сборная по крикету была разгромлена где-то в Южной Азии; футбольный матч, не важно кого с кем, завершился скандалом из-за чудовищной судейской ошибки; у игрока в гольф — вот уж вид спорта

абсолютно ему чуждый — вдруг сдали нервы на последней лунке.

Спорт не являлся отдушиной, куда он мог перенаправить свои горести; спорт был *воплощением* этих горестей. Обманутые надежды спортсменов становились *его* обманутыми надеждами.

Поначалу он воспринял это как типично еврейскую черту — подсознательную тягу к страданиям и невзгодам (нечто подобное он подметил у некоторых еврейских друзей Хепзибы, болеющих за «Тотнем-Хотспер»[134]), — но чем дальше, тем меньше он был в этом уверен.

Треслав всегда боялся рассветов: они выводили его из душевного равновесия.

— Тебя устроил бы только рассвет, наступающий в середине дня, — пошутила Хепзиба, когда с некоторым опозданием обнаружила у него эту фобию.

Сама она, напротив, любила встречать рассветы и в первые месяцы их совместной жизни нередко будила Треслава, чтобы вместе полюбоваться восходящим солнцем. Одним из преимуществ своего высокого этажа она считала возможность

[134] Примечания: 134

Английский футбольный клуб Премьер-лиги, базирующийся на севере Лондона.

прямо из спальни выйти на лоджию и наблюдать рассветную панораму Лондона. Когда она рано утром трясла его за плечо, Треслав просыпался и героически шел за ней любоваться чудесным видом, принимая это как одно из испытаний, которыми проверяется сила его любви. Она же полагала рассвет «их стихией», символом сотворения нового Треслава — счастливого человека и без пяти минут еврея. До тех пор пока по утрам занималась заря, все было хорошо в их маленьком мире. А заодно и в окружающем большом мире.

Что ж, заря продолжала заниматься, однако не все ладно было в их мире. Он любил ее как прежде. Он в ней нисколько не разочаровался и надеялся, что она не разочаровалась в нем. Однако Либор был мертв. Финклер периодически умирал в его снах и заживо разлагался наяву, насколько можно было судить по его виду. А он, Треслав, так и не стал евреем. По идее, этому следовало радоваться: времена были не самые подходящие для того, чтобы становиться евреем. Собственно, этих самых подходящих времен не было никогда — ни тысячу, ни две тысячи лет назад. Но он надеялся, что это время окажется подходящим хотя бы для него одного, отдельно взятого новоявленного еврея.

Однако в реальности невозможно даже представить существование одного-единственного счастливого еврея в виде безмятежного островка посреди моря испуганных или стыдящихся. Тем более если этот счастливчик на самом деле гой.

В последнее время он рано вставал уже не потому, что его поднимала с постели Хепзиба для любования прекрасными тихими зорями, а потому, что больше не мог спать. Так что приходилось любоваться поневоле. Занимавшаяся заря была и вправду прекрасной, вот только глагол «заниматься» вызывал у него странные ассоциации. Хотелось спросить: а чем она, то есть заря, в действительности *занимается* там, за горизонтом, когда над Лондоном тает ночная мгла и тонкая кровавая полоска просачивается между крышами старых и сквозь стеклянные коробки новых зданий, как будто с той стороны на город надвигается некая вражья сила, поддерживаемая изнутри пятой колонной местных путчистов и саботажников. В иные утра заря походила на целое море крови, заливавшее городские улицы. А чуть выше небо расцвечивалось густо-синими и бордовыми пятнами, напоминавшими синяки и кровоподтеки после жестоких побоев. Вот так, жестоко выбитый из ночи, и начинался новый

день.

Треслав, кутаясь в халат, мерил шагами лоджию и прихлебывал слишком горячий чай.

Было в этом что-то постыдное, вот только непонятно что. Может, сам факт твоего существования как малой частички вот этой природы? Или твоя неспособность выйти из-под власти кровавого прилива после всех попыток, предпринятых твоими предками за последние сто тысяч лет? Или постыдным был сам этот город, создающий иллюзию бездумно-суетливой цивилизованности и стоящий на своем с тупым упрямством двоечника, не желающего учить урок? Которое из этих постыдных явлений поглотило Либора, словно он и не существовал на свете, а очень скоро поглотит и всех остальных? Кого следует винить?

А может, этим постыдным явлением был собственно Джулиан Треслав, похожий на всех понемногу, но ни на кого конкретно? Он пил свой чай, обжигая язык. С другой стороны, нужна ли в данном случае конкретика? Позор был всеобщим. Сама по себе принадлежность к человеческому племени была позором. Жизнь была позорна и бессмысленна, в этом уступая пальму первенства только смерти.

Хепзиба слышала, как он выходил на лоджию,

но не следовала за ним. Теперь ее уже не привлекала возможность вместе наблюдать рассвет. Живя рядом с человеком изо дня в день, ты не можешь не почувствовать, когда он начинает тяготиться жизнью.

Конечно, она задумывалась о том, нет ли здесь ее вины — не столько в чем-то ею сделанном, сколько в том, что она сделать не смогла. Треслав был одним из множества мужчин, нуждавшихся в спасении. Она не могла понять: то ли к ней всегда тянулись только такие мужчины — потерянные, запутавшиеся, опустошенные, то ли все мужчины сейчас были такими, а прочие их виды уже повывелись?

В любом случае она устала с ними всеми возиться. За кого они ее принимали — за Америку, за Новый Свет? «У широко распахнутой двери бездомных и замученных приемли…»[135] На свою беду, она казалась достаточно сильной и уверенной в себе, чтобы дать им приют. Она представлялась им надежной и вместительной гаванью.

---

[135] Примечания: 135

Строки из стихотворения «Новый Колосс» (пер. В. Кормана) американской поэтессы Эммы Лазарус (1849–1887). Бронзовая доска с этим стихотворением размещена на пьедестале статуи Свободы в Нью-Йорке.

Что касается Треслава, то он ошибся в своих ожиданиях. Она его не спасла. Быть может, его вообще нельзя было спасти.

Она знала, что эти его душевные терзания во многом связаны с Либором, в смерти которого Треслав — по неизвестным ей причинам — винил себя. И ему очень не хватало общения с Либором. Посему она не лезла к нему с вопросами типа: «Что с тобой, милый?» — полагая, что ему лучше какое-то время побыть одному. Да и ей не помешало бы уединение. Она ведь тоже горевала, сожалела и задавалась вопросами.

Кроме того, был еще музей…

С приближением даты открытия она тревожилась все сильнее. Не потому, что отделка здания еще не была завершена, — это пустяк, а потому, что обстановка была самой неподходящей для этого. Как раз сейчас люди менее всего хотели слышать какие-то новости о евреях. Есть время открывать двери, и есть время держать их на запоре. Будь ее воля, Хепзиба сейчас не только заперла бы двери, но еще и забаррикадировала бы все входы и оконные проемы музея.

Оставалось надеяться на то, что окружающий мир вдруг чудесным образом изменит свое отношение к евреям и порыв свежего ветра унесет

прочь миазмы, отравлявшие их существование в последнее время.

Так что она жила надеждой. Опустив голову, глядя в землю, скрестив пальцы.

7

Но не в ее характере было пассивно ожидать развития событий. Она снова и снова поднимала этот вопрос перед устроителями и спонсорами, настаивая на том, что время открытия выбрано крайне неудачно. Перенос мероприятия на более поздний срок, конечно, поставит их в неловкое положение, но подобные вещи случались не раз, и ничего такого уж страшного в этом нет. Можно сослаться на незавершенность строительных работ, на финансовые проблемы, на чью-нибудь болезнь — на *ее* болезнь, в конце концов.

И это не будет ложью. Ее душевное состояние действительно оставляло желать лучшего. Она читала слишком много материалов, дурно отражавшихся на ее психике, — о новых разоблачениях всемирного еврейского заговора; о еврейском следе в организации терактов 11 сентября; о евреях, намеренно банкротящих банки; о евреях, затопивших мир порнографией; о евреях, тайно торгующих человеческими органами, и

о евреях, сфальсифицировавших собственный холокост.

Опять этот чертов холокост! Она начала относиться к слову «холокост» примерно так же, как относилась к «антисемитам»: проклиная тех, кто вынуждал ее слишком часто пускать это слово в ход. А что было делать, если другие провоцировали ее к этому? «Да заткнитесь вы со своим паршивым холокостом, — говорили они евреям, — иначе мы откажемся признавать, что он вообще когда-либо был». В таких условиях она, конечно, не могла заткнуться и назло им говорила о холокосте.

Ныне холокост мог быть предметом торга. Недавно она случайно встретила своего «бывшего» — но не Эйба-юриста, а Бена-актера, богохульника, болтуна и враля (забавно: стоило только наткнуться на одного экс-мужа, как тут же подвернулся и другой, такой же ненадежный и ненужный) — и выслушала от него совершенно дикую историю о том, как он сошелся с одной девицей, отрицающей холокост, и был вынужден прямо в постели торговаться с ней из-за цифры погибших. Он соглашался снизить эту цифру на миллион, если она сделает ему то-то и так-то, но требовал надбавить миллион, когда она хотела

получить удовольствие на свой манер.

— Я был похож на этого, как его там…

— Дай подсказку.

— Тот, у которого был список.

— Ко-Ко?[136]

— Кстати, я не рассказывал тебе, как однажды играл роль микадо в Японии?

— Тысячу раз.

— Неужели так часто? Черт побери, я унижен! Однако я имел в виду другого человека, у которого был список.

— Шиндлер?[137]

— Ну да, точно! Шиндлер. Только в моем случае я торговался из-за мертвых евреев.

— Это гнусность, Бен, — сказала она. — Это самая гнусная шутка, точнее, это *две* самые гнусные шутки, какие я слышала в своей жизни.

— А кто тут шутит? Теперь это просто выход из положения. Холокост превратился в товар, ко-

---

[136] Примечания: 136

Герой английской комической оперы У. Гилберта и А. Салливена «Микадо, или Город Титипу» (1885) — «верховный лорд-палач» вымышленного японского города Титипу, который в I акте зачитывает список жителей города, подлежащих казни.

[137] Примечания: 137

Шиндлер Оскар (1908–1974) — немецкий промышленник, который во время холокоста спас ок. 1200 евреев, выторговывая их у нацистов и внося в список рабочих своих заводов. Этой истории посвящен фильм С. Спилберга «Список Шиндлера» (1993).

торый можно использовать как угодно. Недавно какой-то испанский мэр запретил отмечать День памяти жертв холокоста в своем городе из-за событий в Газе, как будто одно как-то связано с другим.

— Я слышала об этом. Подразумевалось, что память убитых в Бухенвальде будут чтить лишь тогда, когда живые в Тель-Авиве научатся правильно себя вести. Однако я тебе не верю.

— Чему именно ты не веришь?

— Тому, что ты сошелся с девицей, отрицающей холокост. Это слишком безнравственно даже для тебя.

— Я поступил так из соображений благородной мести: ведь я собирался затрахать ее до смерти.

— А ты не мог просто ее задушить, без траханья?

— Я же еврей, я помню заповеди.

— На таких, как она, еврейские заповеди не распространяются. Более того, ты *обязан* был это сделать. Одиннадцатая заповедь гласит: «Сверни шею всякому отрицающему, ибо отрицание омерзительно».

— Возможно, ты права. Но я еще надеялся наставить ее на путь истинный. Это как со шлюхами: иногда вдруг возникает желание вытащить

какую-нибудь из бездны порока. Ты же меня знаешь…

— Всегда такой добрый и отзывчивый.

Он ее поцеловал, и Хепзиба не стала его отталкивать.

— Добрый и отзывчивый, это факт, — сказал он.

— Ну и как, удалось?

— Что удалось?

— Наставить ее на истинный путь?

— Нет, но зато я сумел поднять цифру на три миллиона.

— И что тебе пришлось вытворять ради этого?

— Лучше не спрашивай.

Она не стала пересказывать эту историю своим музейным боссам. С евреями трудно угадать, какая шутка покажется им смешной, а какая — нет.

Что до музея, то дату его открытия они оставили без изменений. Не следует менять свои планы из-за страха. Только не в двадцать первом веке. И только не в Сент-Джонс-Вуде.

Глава 13

1

Иной раз поутру постыдность этого мира и собственное убожество ощущались им особенно остро, и тогда — не желая, чтобы Хепзиба видела его в таком состоянии, — Треслав одевался, выходил на улицу и шел через парк к дому Либора. Он по-прежнему называл это место «домом Либора». Нет, он не фантазировал и не надеялся увидеть в окне своего друга, но этот дом до сих пор хранил какую-то частицу Либора, как, быть может, частица униженного Треслава все еще бродила по квартире Хепзибы, которую он только что покинул.

В этот ранний час Риджентс-парк принадлежал бегунам от инфаркта, собачникам и гусям. У каждого вида местных птиц было свое время. Ранним утром наступал «час гусей» — они выбирались из прудов на сушу и ковыряли землю клювами в поисках чего им там было нужно. Потом приходило время цапель, за которыми следовали лебеди, а после них утки. Неплохо бы людям научиться подобным образом распределять время своей

жизни, думал Треслав. Не драться из-за какого-то клочка земли, а просто выделить каждому определенную часть суток для владения этой землей: мусульманам — утро, христианам — день, иудеям — вечер. Или в другом порядке, не важно в каком, — главное, чтобы у всех было свое время.

Этот парк был самым просторным местом для размышлений в Лондоне — даже просторнее Хэмпстедского, где любители уединенно поразмыслить частенько чуть не сталкивались лбами, тем самым нарушая «мыслительное уединение» друг друга. Здесь же Треславу порой казалось, что он единственный размышляющий человек во всем парке, то есть единственный, кто занят только размышлениями и ничем более, а не размышляющий на бегу или размышляющий, гуляя с собакой. Он мог послать мысль с одного конца парка в другой и по приходе на тот конец вновь подхватить эту самую мысль, в лучшем виде переданную по цепочке парковыми деревьями, как телеграфные столбы передают по цепочке наши голоса. Мысли, оставленные им в этом парке, обнаруживались на прежнем месте, когда он возвращался туда через день или два.

Он не думал о чем-либо конкретном, сосредоточенно и целенаправленно; он просто мыслил

— и, значит, существовал.

Ну и что получалось в итоге всех этих утренних раздумий?

Ничего.

Ноль.

Gornisht.

Когда он только-только обосновался у Хепзибы, ему представлялась совсем иная картина: поутру они вдвоем доходят до берега пруда и полчаса сидят на скамеечке, наблюдая за цаплями, беседуя о евреях и природе — почему в Библии так редко встречаются описания пейзажей, почему даже райский сад с его богатейшей растительностью описан в самых общих словах, и тому подобном — и дожидаясь появления Либора. Потом, расцеловавшись с ними обоими, Хепзиба отправляется в свой музей, а Треслав и Либор неспешно гуляют по аллеям, рука об руку, как два старых австро-венгерских аристократа, обмениваясь анекдотами на идише (которым Треслав к тому времени овладеет в совершенстве). Сделав круг по парку, они возвращаются на ту же скамеечку, и Либор объясняет ему, почему евреи так хорошо осваиваются в городской среде. Треслав прожил в Лондоне всю жизнь, но не сроднился с этим городом в той степени, в какой это удалось

Либору, который чувствовал себя на лондонских улицах так же вольготно, как лебеди на прудах Риджентс-парка. А ведь он родился далеко отсюда и до сих пор коверкал английские слова. Треслав не просто хотел уяснить природу такой приспособляемости, он хотел сам овладеть этим искусством.

Увы, разные обстоятельства не позволили красивой картине воплотиться в жизнь. Хепзиба была занята, Треслав был забывчив, погода капризничала, а Либор сперва не хотел, потом не мог, а потом и вовсе исчез из жизни Треслава, подобно бестелесному призраку. А ведь он, Треслав, так об этом мечтал! И в мечтах это представлялось ему новым образом жизни — не каким-то переходным этапом на пути к новой жизни, а именно *образом* этой жизни, в самом центре которой будут прогулки с Хепзибой и Либором по их собственной версии райского сада: еврей с одной стороны, еврейка — с другой и почти-что-еврей посредине.

Теперь эта симметрия была нарушена. Собственно говоря, никого, кроме самого Треслава, эта его идея не интересовала. Из них троих он один мучительно искал выход (или вход), тогда как Либор свой выход уже нашел, а Хепзиба бы-

ла вполне довольна жизнью до того, как в этой жизни появился Треслав с его навязчивым стремлением подогнать ее под свой идеал женщины.

Так что сейчас каждая его прогулка в парке была напоминанием о несостоявшейся новой жизни. Всякий обративший на него внимание в такие минуты — правда, на него никто не обращал внимания, ибо собачники интересуются только тем, что находится на другом конце поводка, а бегунов интересует только их собственный пульс, — сразу сказал бы, что этот человек о чем-то глубоко скорбит.

Чего они не могли знать, так это истинной глубины его скорби.

Он и сам не мог бы сказать, что побудило его в тот день изменить привычный маршрут и после паломничества к дому Либора снова отправиться в парк. До того он, как всегда, простоял полчаса в подворотне через улицу от дома Либора, глядя на окна его квартиры и представляя себе Малки, исполняющую Шуберта, бесчисленные дружеские ужины, тяжеловесную бидермейерскую мебель, домашние тапочки с инициалами Либора, его споры с Финклером об Изр-р-раи, первую встречу с Хепзибой («друзья зовут меня Джуно»). С этой квартирой у него были связаны только

светлые воспоминания — и даже ограбление, случившееся в нескольких сотнях ярдов отсюда, в конечном счете обернулось удачей: именно с него начала разматываться ниточка, приведшая его к Хепзибе.

Обычно после стояния перед домом он быстро проходил мимо здания Би-би-си — об этом крысятнике у него не сохранилось ни единого светлого воспоминания, — ненадолго задерживался перед витриной «Ж. П. Гивье», вдыхал сигарный запах, до сих пор сохраняемый кирпичной кладкой дома, где прежде находилась лавка его отца, в соседнем кафетерии меланхолически выпивал чашечку кофе (спешить некуда, вот в чем проблема, вновь у него есть только ожидание) и возвращался домой на такси. Но в этот день погода разгулялась впервые за несколько недель, сияло солнце, лишь изредка закрываемое пушистыми облаками, и он решил перекусить сэндвичами с солониной — этакий «искупительный ланч» — в том самом баре, где он оскорбил слух Либора своими откровениями, а затем вернуться домой пешком через парк. Уже было далеко за полдень, когда он устало опустился на парковую скамейку и, к своему стыду, задремал, словно какой-нибудь бродяга. Проснувшись с болью в затекшей шее,

он огляделся и вспомнил, что намеренно выбрал кружной путь через наименее ухоженную часть парка. Обычно он избегал сюда заглядывать, находя это место каким-то нелондонским или неправильно-лондонским. Здесь пахло бедой, хотя ничего дурного на его памяти в парке не случалось, разве что бразильские мальчишки, играя в футбол с польскими сверстниками, поднимут несусветный гвалт.

Вот и сейчас причиной его пробуждения стали, по-видимому, детские крики. Неподалеку он увидел толпу школьников — вперемежку белых и черных, девочек и мальчиков, — вопивших что-то неразборчивое, однако это был не общий галдеж, а повторение каких-то слов, скорее всего дразнилка. При этом объект их насмешек он разглядеть не смог.

Его это не касалось, тем более что в наши дни редко какой взрослый рискнет связываться с толпой школьников, среди которых всегда найдется хотя бы один хулиган, вооруженный мачете. Однако, встав со скамьи, он сделал несколько шагов в их сторону, притворяясь, что идет по своим делам.

«Это будет большой ошибкой», — сказал он себе, но не остановился.

2

Приблизившись, он увидел в центре круга, образованного школьниками, долговязого юнца лет пятнадцати, с довольно смазливым лицом иберийского типа. На нем был черный костюм, рубашка с бахромой и черная шляпа, из-под которой выглядывали короткие иссиня-черные пейсы. Типичный еврей-сефард. Святой жизни человек, хоть и юный возрастом.

Волна отвращения захлестнула Треслава, — возможно, та же самая волна, что захлестнула и окружающих детей. Слова, которые они выкрикивали, дразня юнца, были:

— Это жид! Это жид!

Как будто они сделали удивительное открытие. Смотрите на эту диковину, смотрите, что мы нашли: оно покинуло свою нору и забралось в наши края!

Оно.

Непохоже, чтобы эти ученики были способны устроить линчевание. Не из престижной школы, насколько мог судить Треслав, но и не из самой худшей. В руках мальчишек не было опасных предметов. Девчонки не сквернословили. Значит, серьезной угрозы не было: они не станут

забивать юнца до смерти, а только прогонят его прочь, как прогоняют обратно в воду выползшую на пляж непонятную морскую тварь.

— Это жид!

Юный святоша затравленно озирался, но не казался особо напуганным. Видимо, он тоже понимал, что его не собираются убивать. Однако этой травле надо было положить конец. Треслав неуверенно огляделся по сторонам и встретился глазами с женщиной примерно его возраста, державшей на поводке собаку. «Это надо прекратить», — говорил ее взгляд. Треслав согласно кивнул.

— Эй, что тут происходит? — крикнула женщина.

— Эй! — крикнул Треслав.

Школьники прикинули расклад сил. Возможно, на их решение больше всего повлияла собака. А может, им только не хватало повода, чтобы как-то выйти из этой ситуации.

— Да мы просто шутим, — сказал кто-то из ребят.

— А ну, брысь! — крикнула женщина, выдвигая вперед своего пса.

Это был всего лишь терьер с туповато-озадаченной мордой — этакий высокородный оболтус

а-ля Берти Вустер,[138] — но собака есть собака.

— Сама ты брысь! — огрызнулась одна из девчонок.

— Сучка! — ругнулся ближайший парень, отступая назад.

— Эй! — снова подал голос Треслав.

— Мы только хотели подружиться, — сказала еще одна девчонка.

Фраза прозвучала как упрек, словно из-за этих взрослых, лезущих не в свое дело, юный еврей лишился возможности приобрести кучу добрых друзей.

Толпа начала расходиться — не все сразу, а постепенно, разбиваясь на мелкие группы, как уходит вода при отливе, огибая прибрежные камни. «Непонятная тварь» удалилась последней, при этом не поблагодарив ни женщину, ни Треслава, ни даже собаку. «Возможно, их вера не позволяет им благодарить в таких случаях», — подумал Треслав. На долю секунды перехватив взгляд красивых угольно-черных глаз, он не заметил в них гнева. Да и особого страха в них как будто не было. «Я привык» — вот все, что они выражали.

---

[138] Примечания: 138

Герой многих произведений П. Г. Вудхауса (1881–1975), бездельник-аристократ, вечно попадающий в нелепые истории.

— Ты в порядке? — спросил Треслав ему вслед.

Юнец, не оборачиваясь, пожал плечами. Это движение получилось едва ли не вызывающим. «Все ведь обошлось, и нечего теперь суетиться», — подразумевало оно. В этом движении чувствовалась гордость человека, особо хранимого Богом, и в то же время отчужденность. «Для него я нечистое существо», — подумал Треслав.

Он растерянно посмотрел на женщину. Та ответила таким же взглядом. Поди пойми этих сопляков.

Треслав вернулся на скамью, где дремал до этого, и только тут заметил, что его бьет дрожь. В голове вертелись слова: «Это жид!»

А еще чуть погодя начали формироваться вопросы: «К чему этот нелепый наряд? Зачем самому напрашиваться на оскорбления? И разве так трудно поблагодарить за помощь? А что означал этот взгляд, словно я для него *оно* — как он сам для тех школьников?»

Тут он заметил, что одна из школьниц не убежала вместе с остальными. Она стояла на газоне и оглядывалась. У Треслава возникла ужасная мысль: уж не собирается ли она его подцепить? Предложить ему кой-какие услуги за наличный расчет? Он, должно быть, смотрелся подходящим

для обработки клиентом: сидит на скамеечке и весь трясется.

Не глядя на него, девчонка наклонилась и начала снимать туфли. И в этот миг он ее опознал. Это была девчонка из его повторяющегося сна, точнее, повторявшегося до встречи с Хепзибой, — та самая школьница, на бегу снимающая туфли, в плиссированной юбке, белой блузке, голубом джемпере и галстуке (аккуратно завязанном), то ли растерянная и беззащитная, то ли исполненная твердой решимости. Девчонка из сна, бегущая не то к нему, не то куда-то мимо.

— Зачем ты снимаешь туфли? — спросил он.

Девчонка посмотрела на него с таким видом, словно всем, кроме полных идиотов, должно быть ясно, почему она снимает туфли, — чтобы соскоблить с подошвы всякое дерьмо вроде Треслава.

— Маньяк! — вынесла она определение и умчалась прочь по высокой траве.

Это маньяк.

Стало быть, ничего личного — просто констатация. *Это жид. Это маньяк.*

Из-за этого не стоит умирать.

Другой вопрос: а стоит ли жить ради этого?

3

Уже был вечер, когда он вернулся домой. Перед тем он изрядно выпил, ибо испытывал в этом необходимость.

По счастью, в баре, где он пил, на глаза ему не попалась какая-нибудь бледная худосочная нееврейка с водянистым взором Офелии, иначе он мог не сдержаться, увлечь ее обратно в парк и утопиться вместе с ней в пруду.

В квартире было до странности тихо. Никаких признаков Хепзибы. Он начал ее искать. Ее нет на кухне, ее нет в ванной, ее нет в гостиной, она не встает с дивана перед телевизором с вопросом, куда он запропастился, и не выходит из спальни в своем восточном халате и с цветком розы в зубах. Однако он чувствовал запах ее духов. Дверца платяного шкафа была приоткрыта, а на полу валялось несколько пар туфель. Значит, она куда-то ушла.

И только тут он вспомнил — это было как удар камнем в висок. Открытие музея! Оно назначено как раз на сегодняшний вечер! Спуск на воду. Начало большого плавания (Хепзиба терпеть не могла подобные выражения). Боже правый! Они собирались быть на месте в полшестого, а

с четверти седьмого начинался прием гостей. Все должно пройти быстро и без лишней помпы: собрались, отметили и разошлись, привлекая к себе минимум внимания. Даже приглашения выглядели скромно и были разосланы в последний момент. Обычно — как заметил Треслав, бывая с ней на разных семейных мероприятиях, — евреи любили рассылать приглашения и делали это за несколько месяцев до события, используя преувеличенно восторженные фразы, вытисненные золотым готическим шрифтом на толстой глянцевой бумаге. Приглашаем вас в гости! заранее подумайте о подарках! заранее позаботьтесь о нарядах! прямо сейчас начинайте сбрасывать лишний вес, чтобы влезть в вечернее платье! — все это подразумевалось, если и не писалось открытым текстом. Но сейчас Хепзиба намеренно сделала приглашения маленькими и невзрачными — кто их заметит и пожелает прийти, тот придет.

Треслав не обещал ей появиться в музее вовремя. В этом просто не было нужды. Он никогда и никуда не опаздывал. Большую часть времени он проводил в ее квартире, а если назначалась какая-то встреча, он об этом не забывал.

Так почему же сейчас он опоздал и почему

забыл о договоренности?

Он знал, что скажет Хепзиба. Она скажет, что он *хотел* забыть, а почему он этого хотел, тут уж ему виднее. Возможно, потому, что он ее разлюбил. Потому что он без всяких оснований ревновал ее к своему другу. Потому что в глубине души он начал испытывать неприязнь к ее музейному проекту.

Она не оставила записки. Значит, она была в высшей степени раздражена и рассержена. Он ушел, не сказав ей ни слова; она ответила тем же.

Может, между ними уже все кончено? Если так, то дело тут в Либоре. Иные события так меняют вашу жизнь, что после них уже невозможно вернуться на круги своя. Либор свел их вместе, а после его смерти их уже ничто не соединяло. Не исключено, что таково было его изначальное намерение. «Я вас свел, я вас и разведу». Треслав понимал, что им двигало. Либор внезапно узнал, что его старый друг — подлец, развратник и фанфарон. Он загадил семейное гнездо Финклера и, без сомнения, сделает то же самое с семьей Либора, поскольку Хепзиба — это его семья. Чего он хотел от них, этот гой-кукушка? Он присосался к ним, чтобы подпитываться их трагедией, потому

что его собственная жизнь была сплошным фарсом. Проваливай, Джулиан! Катись туда, откуда прибыл, и оставь нас в покое!

Треслав сидел на краю постели, покачивая головой и соглашаясь с этим приговором. Его жизнь действительно была сплошным фарсом. Все в ней было нелепо и пошло. И он действительно пытался присосаться к чужой трагедии, поскольку ничего такого в его собственной жизни не было и не намечалось. Он не хотел навредить или оскорбить — совсем наоборот, — однако воровство есть воровство, как ни крути.

«Это жид!» — со смехом кричали школьники, и Треслав воспринял эту дразнилку как личное оскорбление. Его это больно ранило. Хотя, если подумать, что ему за дело до детских разборок с каким-то там евреем, кроме того что он, как взрослый, обязан отодрать за уши мелких *мемзеров?* Почему, поднявшись уже позднее с парковой скамейки, он чувствовал себя как побитый пес и отправился искать утешения в вине? Какое горе и какую обиду он спешил утопить в бокале?

Видно, снова пришло время прощаться. Почему бы и нет? Чего-чего, а расставаний в его жизни было предостаточно, к этим вещам он привык. Одним больше, одним меньше.

Он увидел перед собой несколько путей, и его опьянила возможность выбора, притом что он был пьян и без того. Он мог сей момент бросить все, выйти за дверь и никогда больше сюда не возвращаться. Он также мог продуманно отобрать и упаковать свои вещи, а затем вызвать такси и уехать в свою хэмпстедскую квартиру, которая находилась совсем не в Хэмпстеде. А еще он мог быстро переодеться и поспешить в музей: «Извини за опоздание, дорогая. Надеюсь, тут еще осталась кошерная закусь?»

Засим последовал прилив воодушевления, характерный для людей, бесцельно прожигающих жизнь и вдруг узревших перспективу перемен. Весь мир был открыт перед ним, и он мог выбрать любой из путей. Самым предпочтительным был немедленный уход, без всяких сборов, что подразумевало некий смелый порыв и выглядело по-своему достойно. Он подарит Хепзибе свое отсутствие, а себе самому подарит свободу. «Вперед! — сказал он себе. — Иди вперед и не оглядывайся». Для пущей бодрости он бы потряс в воздухе кулаком, если бы принадлежал к тому типу мужчин, что сотрясают кулаками воздух.

Но тут его взгляд упал на разбросанные по полу туфли Хепзибы, и сердце его растаяло. Он любил

эту женщину. Благодаря ей он обрел гармонию со вселенной. Возможно, она никогда не простит ему вторжение в ее жизнь, но он обязан ей предоставленным шансом начать все сначала.

Он наскоро принял душ, надел черный костюм и выбежал из квартиры.

Темнота на улице обернулась для него потрясением. Он взглянул на часы: без пятнадцати девять! Как такое могло случиться? Когда он вернулся домой, было только начало восьмого. На что могло уйти столько времени? Неужели он так долго просидел на постели, переходя от идеи бегства к мыслям о любви и возвращении? Похоже на то. Других объяснений не было. Разве что он, сам того не заметив, снова задремал — второй раз за день. Он не мог за себя ручаться. Он не контролировал свою жизнь. Да он, собственно, и не жил своей жизнью.

До музея было всего десять минут ходьбы, однако в пути его подстерегали неисчислимые опасности. Фонарные столбы угрожающе кренились, готовые размозжить его череп. То и дело ему виделись болезненные столкновения с деревьями и тумбами почтовых ящиков. На шоссе было слишком много машин, и все они ехали слишком быстро. Автобусы тяжело взбирались на косогор,

а легковушки выскакивали из-за них наугад, ловя момент для обгона по встречной. Все его тело ныло в предчувствии жестокого столкновения.

Проходя мимо стен «битловской» студии, он постарался не смотреть на размашистую арабскую надпись.

До музея он дошел к девяти часам. Окна в здании светились, а перед входом собралось около дюжины людей. Хотя слово «собраться» в данном случае было вряд ли уместным. Оно предполагало какие-то общие цели и намерения, тогда как эти люди не выглядели сплоченной группой. Треслав был внутренне готов увидеть плакаты «Смерть юдеям!», а равно изображения евреев, пожирающих палестинских младенцев, и звезды Давида в сочетании со свастикой. Подобные вещи никого уже не удивляли, их можно было встретить на страницах — а то и на обложках — вполне респектабельных журналов. В последние недели демонстранты регулярно появлялись на Трафальгарской площади и перед посольством Израиля — живая шрапнель как дополнение к обстрелу крупным медиакалибром, — и Треслав не удивился бы, увидев их здесь поджидающими кого-нибудь из видных еврейских гостей музея (посол, парламентарий или иной столп обще-

ства), чтобы бросить им в глаза: «Остановите бойню!», «Позор агрессорам!», «Смерть юдеям!» Однако сейчас все было тихо и спокойно. Похоже, отсутствовали даже СТЫДящиеся евреи с их выражением братской несолидарности.

А есть ли здесь Финклер? Не прячется ли он в этой маленькой толпе, ожидая подходящего момента? Или он попал внутрь здания вместе с Хепзибой, поскольку ее верный спутник вдруг взял и сгинул без следа?

Это было сугубо финклерское мероприятие, и Сэм имел больше прав находиться внутри, чем тот же Треслав.

Финклера среди людей на улице не оказалось. Мельком оглядев их, Треслав решил, что это всего лишь те же гости, вышедшие покурить или подышать свежим воздухом.

Он обогнул их и подошел ко входу, где стояли два охранника, попросившие предъявить приглашение. У него не было приглашения. Он стал объяснять, что приглашение ему не требуется, поскольку он относится не к приглашенной, а к приглашающей стороне.

Вход строго по приглашениям, сказали ему. Нет приглашения — нет и банкета. Он возразил, что это никакой не банкет, а официальный

прием. Вот еще знаток нашелся! Нарываемся на неприятности? Да нет же, он свой! Он может подробно описать все музейные экспозиции, только спросите. Он близкий друг Хепзибы Вейзенбаум, директора музея. Может, они сообщат ей, что он стоит здесь, перед входом?

Охранники отрицательно качали головой. Треслав подумал: а вдруг она дала распоряжение его не пускать? Или стражи учуяли исходящий от него запах спиртного?

— Да ладно вам, парни… — сказал он и попытался протиснуться между ними — этак бочком, не слишком напирая.

Тот из двоих, что был покрупнее, схватил его за локоть.

— Однако! — сказал Треслав. — Это уже физическое насилие.

Он обернулся в надежде на поддержку: может, кто-нибудь его узнает и подтвердит, что он имеет право быть внутри. Но то, что он увидел, оказалось сумасшедшими глазами полуседого еврея в шарфе цветов ООП — того самого байкера, которого он ежедневно наблюдал воинственно гарцующим на железном коне перед синагогой близ дома Хепзибы. «Вот оно что! — подумал Треслав. — Вот оно, значит, как!» Выходит, эти

люди перед музеем — не курильщики или прохлаждающиеся из числа гостей. Это молчаливый протест. Вот и женщина с фотографией убитой арабской семьи: муж, жена и маленький ребенок. Рядом с ней мужчина держит горящую свечу. Они и сами, возможно, арабы, но не все из этой группы. Взять хотя бы мотоциклиста, он-то уж точно не араб.

— Что такое? — спрашивает Треслав.

Никто ему не отвечает. Никому не нужны проблемы. Охранник, хвативший его за руку, снова приближается.

— Я вынужден попросить вас удалиться, сэр, — говорит он.

— А вы евреи? — интересуется Треслав.

— Сэр? — переспрашивает охранник.

— Я задал вопрос по существу, — продолжает Треслав. — Если вы евреи, то я не понимаю, почему вы позволяете устраивать здесь такую демонстрацию. Это не посольство. А если вы не евреи, я хочу знать, что вы тогда здесь делаете?

— Это не демонстрация, — говорит мужчина со свечой. — Мы просто тут стоим.

— Просто стоите, понятно, — говорит Треслав. — Но почему вы стоите именно тут? Это еврейский музей, научное учреждение. Это вам

не гребаный Западный берег. Здесь никто ни с кем не воюет.

Кто-то хватает его сзади, один или двое, — он не знает кто. Возможно, это охранники, а может, и не они. Треслав заранее знает, чем это должно закончиться. И он ничуть не испуган. Тот мальчишка-сефард не боялся, не будет бояться и он. Треслав вспоминает выражение его лица: мальчишка к этому привык. «Это жид!» Нужен выход из ситуации. Ему видится девчонка, завязывающая шнурки. «Маньяк!»

Он брыкается и машет руками. Ему не важно, кого он бьет и кто бьет его. Хотя он будет рад, если достанется на орехи тому предателю с палестинским шарфом. У него нет желания бить арабов. Он слышит крики. Хорошо бы кто-нибудь из них приплющил его лицом к стене со словами: «Ах ты, жид!» И он геройски умрет евреем. Если уж надо за что-то умирать, так пусть он умрет за еврейство. «Ах ты, жид!» — и ножом по горлу. По крайней мере такая смерть лучше той дерьмовой жизни, которую он вел до сих пор.

Что-то врезается ему в ребра, но это не нож. Это кулак. Он отвечает ударом на удар. Он сражается, не видя своих противников и не зная их числа. Потом он спотыкается, теряет равновесие и пада-

ет ничком. Его ослепляет свет фар. Сильный удар в плечо. Он закрывает глаза.

Открыв их через какое-то время, он видит над собой байкера с палестинским шарфом.

— Вы целы? — спрашивает байкер.

Треслава удивляют дружелюбные нотки в его голосе. Скорее, можно было ожидать, что байкер станет изрыгать дым и пламя, как его мотоцикл.

— Вы знаете, где находитесь? — Это похоже на стандартный вопрос врача. Чем не образчик безумца: добрый доктор-еврей в шарфе палестинской расцветки.

Треслав молча таращится на байкера, пытаясь сообразить, узнал ли тот в лежащем на земле человеке любознательного типа, выглядывавшего с лоджии Хепзибы? Учитывая, что они сейчас находятся рядом с местом ее работы, связь проследить несложно.

Но если байкер и узнает Треслава, то не подает виду.

— Вы можете назвать свое имя? — спрашивает он все так же профессионально-участливо.

— Брэд Питт, — отвечает Треслав. — А ваше?

— Сидней, — говорит байкер и проявляет дежурную заботу о пациенте, снимая палестинский шарф и подсовывая его под голову Треслава. —

Вам повезло, что у него оказались хорошие тормоза.

— У кого? — спрашивает Треслав, но не может разобрать ответ.

Чем быть обязанным этому Сиднею, из какого-то извращенного самоотречения носящему цвета своих врагов, Треслав предпочел бы иметь дело с неисправными тормозами.

А что, если тот мальчишка-сефард тоже предпочел бы терпеть издевательства чужаков, чем быть обязанным Треславу и женщине с собакой?

«Странная штука неблагодарность», — думает Треслав, снова закрывая глаза. У него выдался трудный день.

Травмы оказались неопасными, однако его задержали в больнице до утра — на всякий случай. Хепзиба пришла его проведать, но он в то время спал.

— Не будите его, — сказала она медсестре.

При этом она была уверена, что Треслав только притворяется спящим, не желая с ней общаться, что он теперь воспринимает ее как составную часть опротивевшего ему мира и что он хочет выйти из игры, как это сделал Либор незадолго до своей смерти. В тот момент она была не права, но это уже не имело значения. То, в чем она не права

сегодня, может стать правдой уже через день.

Эпилог

Поскольку Либор не имел детей, Хепзиба и Финклер решили взять на себя чтение поминального кадиша. Треслав, будучи гоем, не мог участвовать в этом обряде.

— Я не пойду в синагогу, — сказала Хепзиба. — Не хочу ввязываться в эти нудные разборки: кто может, а кто не может читать поминальную молитву, где и как нужно при этом сидеть, что в этом случае позволено и что не позволено женщинам. И в каждой синагоге свой подход, смотря какое направление иудаизма там исповедуют. Наша религия создает нам массу затруднений. Лучше я буду молиться дома.

Так она и делает.

За тех, кто умер, и за тех, кто умер *для нее.*

За Либора — сколько хватит слез.

За Джулиана — потому что она не может так просто изгнать Джулиана из своего сердца, и горькие слезы находятся для него в таких сокровенных уголках, где, казалось, не может быть слез. Она и прежде плакала о мужчинах, которых любила. Расставания — вот что причиняло ей

боль. Но с Джулианом все иначе: она не уверена, были ли они вместе *по-настоящему* и можно ли это считать расставанием? Может, она была для него только экспериментом? А может, и он для нее был тем же самым, не более?

Он говорил ей, что она — его судьба. Но кому, скажите, охота быть чьей-то судьбой?

У Сэма Финклера с поминовением все сложнее и проще одновременно. Он должен ходить в ближайшую синагогу и читать молитву, которую когда-то читал его отец. «Исгадал выискадаш…» — слова древнего языка, посвященные памяти усопших. «Да возвысится и освятится Его великое имя…» Это нужно делать три раза в день. Если покойный не был близким родственником, поминовение длится не одиннадцать месяцев, а только тридцать дней. Однако Финклер продолжает читать кадиш и по истечении тридцати дней. Никто не может ему этого запретить. И не исключено, что он продолжит чтение после одиннадцати месяцев, хотя по правилам он должен остановиться, чтобы дать шанс на попадание в рай душам неоплаканных мертвецов. Впрочем, он не думает, что лишенные доступа в рай пострадают именно из-за его молитвенного усердия.

По его мнению, кадиш прекрасен тем, что в

эту молитву не нужно вставлять имена и в ней можно разом поминать многих людей.

Теперь он оплакивает и Тайлер, чего раньше сделать не мог. Наверное, смерть Либора что-то высвободила в его душе.

Он был плохим мужем для Тайлер и плохим другом для Либора, мир праху их.

«Исгадал выискадаш…» Эта молитва столь всеохватна, что он может молиться сразу за весь еврейский народ.

Но и еврейским народом он не ограничивается. Он скорбит по самым разным поводам, между прочим поминая и Треслава, хотя тот жив-здоров не хуже прежнего и снова подрабатывает двойником по вызову.

А Сэмюэл Финклер отныне держит равнение на Хепзибу, с которой он в последнее время часто общается. Это от нее передалось ему ощущение какой-то незавершенности — не доведенного до конца дела, которое при иных обстоятельствах могло бы и вовсе не начаться. Оказалось, что Финклер никогда по-настоящему не знал Треслава, как не знала его и Хепзиба. Чем не еще один печальный повод?

И скорби его нет предела.